

В.Г.
КОРОЛЕНКО

Владимир Галактионович Короленко

**Том 6. История моего
современника. Книга 2**
(Собрание сочинений в десяти томах #6)

Шестой том составляет вторая книга «Истории моего современника».

«История моего современника» — крупнейшее произведение В. Г. Короленко, над которым он работал с 1905 по 1921 год. Писалось оно со значительными перерывами и осталось незавершенным, так как каждый раз те или иные политические события отвлекали Короленко от этого труда.

<http://ruslit.traumlibrary.net>

Содержание

История моего современника. Книга 2	0005
От автора	0005
Часть первая Первые студенческие годы .	0006
Часть вторая Студенческие годы	0136
Часть третья В Петровской академии	0242
Часть четвертая Вологда, Кронштадт, Петербург	0316
Часть пятая Ссылочные скитания	0506
Комментарии	0592

**Владимир Галактионович
Короленко
Собрание сочинений в
десяти томах
Том 6. История моего
современника. Книга 2**

История моего современника. Книга 2

От автора

Много лет прошло с тех пор, как читатель первого тома «Истории моего современника» расстался с его героем, и много событий залегло между этим новым прошлым и настоящим. В этом отдалении от предмета рассказа есть свои неудобства, но есть также и хорошие стороны. В туманных далях исчезает, быть может, много подробностей, которые когда-то выступали на первый план, в более близкой перспективе. Но зато самая перспектива расширяется. То, что сохраняется в памяти, выступает на более широком горизонте, в новых отношениях.

Первый том я закончил в 1905 году, при первых взрывах русской революции. Теперь, когда она достигла своих поворотных пунктов, я с особенным интересом обращаю взгляд воспоминания на далекий путь прошлого, «пыльный и туманный», на котором

виднеется фигура «моего современника». Быть может, и читатель захочет взглянуть с некоторым участием на эту уже знакомую фигуру и при этом подумает, сколько было предчувствий у этого поколения, чья сознательная жизнь начиналась среди борьбы с ушедшим наконец строем, а заканчивается среди обломков этого строя, застилающих горизонт будущего. И сколько еще это будущее должно захватить из крушения старых ошибок и трудно искоренимых привычек!

Часть первая

Первые студенческие годы

I. В розовом тумане

Это настроение началось для меня еще в Ровно, в то утро, когда почталион подал мне пакет со штемпелем Технологического института, адресованный на мое имя. С бьющимся сердцем я вскрыл его и вынул печатный бланк с вписанной наверху моей фамилией. Директор Технологического института Ермаков извещал такого-то, что он принят на первый курс и обязан явиться к пятнадцато-

му августа.

Когда после этого я оглянулся кругом, то мне показалось, что за эти несколько минут прошли целые сутки: до прихода почталиона было вчера, теперь наступило новое сегодня. Я точно проспал ночь и проснулся не только другим, но немножко и в другом мире... Это ощущение исходило от плотной серой бумаги с печатным текстом и подписью Ермакова. И когда я неся после этого по улицам, то мне казалось, что и дома, и заборы, и встречные обыватели тоже смотрели на меня иначе. Ведь в самом деле и они в первый раз с сотворения мира видят... *студента такого-то.*

С «извещением» я не расставался несколько дней. Порой наедине я вынимал его и перечитывал каждый раз с новым удовольствием, точно это был не сухой официальный бланк, а поэма. И в самом деле — поэма: разрыв со старым миром, призыв к чему-то новому, желанному и светлому... Зовет «директор Ермаков». С этой фамилией связывалось в моем воображении что-то очень твердое, почти гранитное (вероятно, от сибирского Ермака) и вместе — недостижимо возвышенное и умное.

И этот Ермаков ждет меня к пятнадцатому августа. Я нужен ему для выполнения его высокого назначения...

Настроение было глупое, и я, конечно, сознавал, что оно глупо: самая подпись Ермакова была печатная. Такие извещения сам он даже не подписывает, а их сотнями рассылает канцелярия. Я знал это, но это знание не изменяло настроения. *Знал* я по-умному, а *чувствовал* по-глупому. В то самое время как я внушал себе эти трезвые истины, рот у меня невольно раскрывался до ушей. И я должен был отворачиваться, чтобы люди не видели этой идиотской улыбки и не угадали бы по ней, что меня зовет Ермаков, которому я лично необходим к пятнадцатому августа...

С юношеским эгоизмом, я как-то совсем не принимал участия в заботах матери о моем снаряжении. Она закладывала где-то свою пенсионную книжку, продавала какие-то вещи, просила, где могла, займы и, наконец, сколотила что-то около двухсот рублей. После этого происходили долгие совещания с портным Шимком.

Портной Шимко был небольшого роста ко-

ренастый еврей, с широким лицом, на котором тонкие губы и заостренный нос производили впечатление почти угрюмого комизма. Пока был жив отец, мы всегда смеялись над Шимком, изоощряя свое остроумие над его наружностью и его предполагаемыми плутнями. Когда отец умер и мать осталась без средств, он явился к ней, критически обследовал состояние наших костюмов и сказал серьезно:

— Ну, пора шить одну шинель и два мундира.

— Ты знаешь, Шимко, что у меня теперь нет денег, и что еще будет, я не знаю, — грустно ответила мать.

— Ну, — возразил Шимко, — у вас нет денег, но есть дети... Разве это не деньги?..

И он опять работал на нас, не заикаясь о сроках уплаты и никогда не торгуясь, как это бывало прежде.

Теперь он развернул свою деятельность у нас на квартире. Осведомившись, желаю ли я, чтобы он шил «по самой последней моде», и узнав, что последнюю моду я презираю, он даже крякнул от удовольствия и дал полную во-

лю своей творческой фантазии. Он мочил и парил материалы, снимал мерки, кроил, примерял, шил, и наконец из его рук я вышел экипированным не особенно щеголевато, но зато дешево. Он сшил мне летний костюм из какой-то очень прочной и жесткой материи с желтыми миниатюрными букетцами по коричневому полю. Кроме того, он сшил еще пальто. Мне смутно казалось, что прочная материя с букетами дает идею скорее об обивке мебели, чем о костюме для столицы, а пальто походит на испанский плащ или альмавиву...

Но на этот счет я был неприхотлив и беззаботен. Оставив в стороне моду, я чувствовал себя одетым с иголки, «довольно просто, но со вкусом».

Увы! впоследствии этот полет творческой фантазии честного Шимка доставил мне немало горьких и неприятных минут...

На каникулы приехал Сучков, уже год проживший в столице, и, конечно, я закидал его вопросами. Он почему-то был скуп на рассказы, но все же я узнал, что институт — это совсем не то, что гимназия, профессора нимало не похожи на учителей, а студенты — не гим-

назисты. Полная свобода... Никто не следит за посещением лекций... И есть среди студентов замечательные личности. Иного примешь за профессора. А какие споры! О каких предметах! Нужно много прочитать и подготовиться, чтобы только понять, о чем идет речь...

Вскользь и как бы мимоходом он сообщил мне, что остался по разным причинам на первом курсе, и, значит, мы опять будем идти вместе.

В середине этих каникул мне исполнилось восемнадцать лет, но мне казалось, что я далеко перерос окружающий меня мирок. Вот он весь тут, точно на плоской тарелке, волнующийся в пределах от тюрьмы до почты, знакомый, прозаический и постылый. В один из последних моих вечеров, когда я прощальным взглядом смотрел на гуляющую по шоссе улице публику, — передо мной вдруг вынырнуло из сумерек лицо чиновника Михаловского, которого я считал когда-то «известным поэтом». В зубах у него была большая сигара, и ее огонек, вспыхнув, осветил удивительно неинтересное, плоское лицо, с выпуклыми, ничего не выражающими глаза-

ми. Как еще недавно этот человек казался мне окруженным поэтическим ореолом. И как много других казались высшими существами только потому, что они были взрослые, а я был мальчик. Теперь я вырос, а тесный мирок сузился и умалился... Прежние умники казались или глупыми, или слишком обыкновенными... Кого теперь поставить на высоту, перед кем или перед чем преклониться? Где здесь люди, которые знают и могут указать высшее в жизни, к чему стремится молодая душа?.. Кто из них хотя бы только думает об этом высшем, ищет его, тоскует, мечтает... Никто, никто!

Во мне сложилось заносчивое убеждение, что я едва ли не самый умный в этом городе. Мерка у меня была такая: я могу понять всех людей, мелькающих передо мною в этом потоке, колышущемся, как вода в тарелке, от шлагбаума до почты и обратно. Я знаю все, что они знают, из того, что нужно знать всякому. А они и не догадываются, какие мысли о них и какие мечты бродят в моей голове.

Я был глуп. Впоследствии, когда сам я стал умнее, я легко находил людей выше себя в са-

мых глухих закоулках жизни. Но в ту минуту я, кажется, мерял все одною только меркой «литературного развития».

Впрочем, нужно сказать, что по отношению к другому миру, который ждал меня там, за рубежом пятнадцатого августа, я не был заносчив. Наоборот, я готовился к нему с искренним убеждением, что перед ним я мал, тускл и ничтожен. Правда, во мне жила надежда, что и там, в этом светлом потоке могучей и полной жизни, я пойду тоже вперед, выравниюсь с одними, стану обгонять других... Но если бы кто-нибудь пожелал убедить меня, что между этим мирком, который я покидал, и тем заманчивым миром, куда стремился, нет качественного различия, что «великое студенчество» есть только простая сумма из единиц, по большей части таких же тусклых и так же мало интересных, как и я в данную минуту, — я бы не поверил и даже, вероятно, обиделся бы за свою мечту...

II. Дорогой я знакомлюсь с «светлой личностью»

Мать и один из ее братьев, живший недавно, провожали меня до Бердичева, от-

куда начинался железнодорожный путь. Он лежал на Киев, Курск, Орел, Тулу и Москву.

Третий звонок. Я горячо обнялся с матерью, которая затем спрятала заплаканное лицо на груди дяди, и сел в вагон. Резкий свисток, испугнувший непривычную публику, потом толчок, от которого в вагоне упало несколько человек. Потом оттолчка, лязг, громыхание (тогда в поездах все еще не было слажено, как теперь) — и вокзал с платформой поплыл назад. Фигуры матери и дяди исчезли. Я сел на свое место и постарался скрыть от соседей невольные слезы...

Прямых сообщений тогда не было, каждая дорога действовала самостоятельно. Поезд из Киева на Курск ушел раньше, чем наш пришел в Киев, и в ожидании следующего мне пришлось переночевать в «Софийском подворье». Наутро я вышел из своего номера и остановился на площади, ошеломленный и растерянный от шума и движения большого города. В таком положении меня застали две ровенские «учительши»: Завилейская и Комарова. Они радушно поздоровались и пригласили меня пройти вместе с ними осмотреть со-

бор, а после того позвали к себе, в номерах того же подворья, пить чай. Мне очень хотелось принять это милое приглашение, но из застенчивости я отказался, о чем очень жалел в то самое время, как отказывался. Прежде чем расстаться со мной, эти молодые дамы осмотрели меня критическим взглядом, и одна сказала:

— Слушайте. Когда приедете в Петербург, закажите себе другой костюм... Этот, знаете, для столицы не годится.

— Да-да, — подхватила другая. — Сшейте себе приличную пару... И тоже пальто. А то у вас какая-то мантилья. Теперь носят узкие, в обтяжку... И много короче.

— Шляпу можете оставить... Она идет к вашим курчавым волосам.

Они ушли, весело переговариваясь и радушно кивая мне головами. А я остался с жуткой тоской одиночества в сердце и неприятным сознанием, что мой «немодный, но простой и изящный» костюм привлекает ироническое внимание...

Следующее утро опять застигло меня в вагоне между Киевом и Курском. С вечера я как-

то незаметно заснул, и теперь взгляд мой прежде всего упал на выразительную надпись на стене вагона: «Остерегайтесь воров». О том же предостерегали меня усиленно мать и дядя, и, проснувшись, я прежде всего схватился за сумку. Она была тут, но я сразу почувствовал себя окруженным вероятными заговорщиками, старающимися проникнуть в мою сокровищницу. Я сел на скамейку и оглянулся кругом «пытливо-проницательным» взглядом: конечно, я сразу угадаю, от кого именно следует ждать здесь опасности...

Поезд стоял у какой-то станции и был весь пронизан веселыми лучами солнца. Народу было не очень много, большинство еще спало враспяжку на скамьях, на верхних полках, иные прямо на полу, под скамьями. С одного конца вагона неся живой и нервный говор на еврейском жаргоне. Ближе, у окна, за спинкой следующей скамьи сидели двое молодых людей и о чем-то тихо разговаривали, почти соткнувшись головами...

Один из них был одет в рыжее, полинялое пальто. Когда я зашевелился на своем месте, он повернул в мою сторону лицо, широкое,

несколько утраватое, с маленькими зеленоватыми глазами, и потом заговорил с товарищем еще тише. «Вот этого нужно остерегаться», — решил я про себя и только после того взглянул на своего ближайшего соседа.

Это был господин в сером пальто и клеенчатой фуражке, какие тогда были в большом ходу. Он, кажется, сел на этой станции и, по видимому, смотрел на меня, пока я просыпался. Возраста он был неопределенного. Сначала показался мне совсем юношей, но затем я увидел, что это впечатление ошибочно: морщины около глаз, желтизна и одутловатость лица говорили не то о солидных годах, не то о преждевременном увядании. Его маленькие карие глазки ходили по всей моей фигуре с выражением вкрадчивой ласки, как будто он собирался сейчас же заговорить со мною и выразить мне чувство невольной симпатии. Я, пожалуй, готов был, с своей стороны, выказать полную взаимность, но в это время взгляд мой остановился на новой и более интересной фигуре.

Это был молодой офицер в золотых очках и в серой шинели из простого солдатского

сукна. Солдатские шинели с офицерскими погонами были тогда в ходу у либерально настроенной военной молодежи милютинской школы. Таких фигур с демократически-военным отпечатком было тогда немало, и вообще среди офицерства было более «интеллигенции». В глухих местечках они часто заведовали прекрасно составленными «батальонными библиотеками» и даже «руководили чтением» местной молодежи.

Лицо у офицера было серьезное и симпатичное. На крючке около него висела шашка, а на небольшом чемоданчике лежала пачка газет. Он только что отложил один прочитанный номер и закурил папиросу, пропуская дым в открытое окно...

Около него было свободное место, и я подумал, как хорошо было бы устроиться в близком соседстве с этим приятным офицером. Но мне мешала застенчивость: это мое внезапное переселение может показаться странным, пожалуй, даже подозрительным.

Пока я колебался, дверь вагона открылась, и к нам вошел новый пассажир. Это был господин средних лет, одетый с изящной просто-

той, в золотых очках и коричневых перчатках. Живые карие глаза весело и немного насмешливо глядели из золотой оправы. Под русыми мягкими усами ютилась, как у одного из героев Ому-левского, особая «интеллигентная складка».

Мне страстно захотелось, чтобы он сел рядом со мною. Но он только скользнул взглядом по моей неинтересной фигуре и тотчас же указал носильщику на угол рядом с офицером. «Родственные интеллигентные натуры», — формулировал я в уме...

Носильщик поставил чемодан на свободное место. Господин раскрыл кошелек и, вынув пальцами в перчатках маленькую серебряную монетку, подал ее через плечо носильщику. Тот взял, разочарованно посмотрел, хотел что-то сказать, но, видимо, не посмел и вышел. Господин обратился к офицеру:

— Я вас не стесню? Ба! счастливая встреча! Не узнаете?

Офицер повернулся к нему, присмотрелся и сказал:

— Бели не ошибаюсь... господин Негри?

— Именно-с. Теодор Михайлович Негри.

Артист-декламатор; Встречались в Н... Не беспокойтесь, пожалуйста, места довольно. Что это у вас, какая куча газет? А, «Голос»... полный отчет о нечаевском процессе? Да, интересное дельце... Очень интересное... — прибавил он, усаживаясь. — После декабристов, пожалуй, еще первое...

— Были еще петрашевцы...

— Да, но ведь это было раздуто правительством. Невинный кружок... Вы позволите?

— Пожалуйста.

Господин взял номер газеты и, раскрывая ее, сказал через минуту:

— Обратили вы внимание на крылатое слово в речи Спасовича, которым он окрестил нашу братию... ин-тел-ли-гентный про-ле-та-риат... Очень метко. Не правда ли?..

Офицер кивнул головой и ответил что-то, улыбнувшись. Я насторожился, ожидая дальнейшего разговора этих двух симпатичных людей, которые так сразу нашли друг друга в безразличной толпе. «Точно члены одного ордена», — опять нашел я литературную формулу. Уголок вагона, где они сидели, казался мне освещенным островком среди тусклого,

неинтересного, может быть даже враждебно-го мира. Как хотелось бы мне прибиться и самому к этому островку... Но это, конечно, только несбыточная мечта. Может быть, когда-нибудь, со временем, когда я стану умнее и интереснее, я тоже сумею подходить к таким людям открыто и просто, с первых же слов давать им понять: «Я тоже ваш».

Вагон давно мчался, громыхая на стыках рельсов и лязгая цепями. Господин Негри и офицер молча читали газеты, обмениваясь изредка короткими, тихими замечаниями. Евреи продолжали говорить нервно и быстро на своем жаргоне, а мой сосед в клеенчатом картузе давно познакомился со мною и говорил, говорил долго, мерно, ласково и неинтересно. Я слушал краем уха, боясь проронить что-нибудь из «обмена мыслей» в углу, а мой сосед между тем выражал мне свои симпатии. Я, по-видимому, новичок, не правда ли? Еду из глухого города в столицу? Он советует мне очень остерегаться: вагоны кишат карманщиками, а я, конечно, везу с собой деньги? Вот сам он так ничего не боится. Во-первых, он очень опытен. А во-вторых, у него,

кроме билета, только «рупь тридцать копеек»... Вот здесь, в кошельке...

Он, смеясь, раскрывал свой кошелек и выворачивал его наизнанку. Я смотрел с некоторым удивлением на этот прием, который он повторял несколько раз, и мне было совестно, что я как-то не могу уделять его рассказам достаточно внимания... Он казался мне доброжелательным и симпатичным, но удивительно неинтересным... Веки мои тяжелели. Я чувствовал, что его глаза опять с ласковой симпатией заглядывают в мое лицо, но мои глаза невольно слипались, моргали все реже и открывались труднее... Я прислонился спиной к стенке и начинал засыпать, чувствуя в то же время, что мой благорасположенный сосед склоняет голову мне на плечо и тоже доверчиво засыпает у меня на груди...

Через несколько минут я сладко спал, охваченный ощущением греющей тесноты и чьего-то тяжелого благорасположения... А еще через несколько минут проснулся от ощущения какой-то перемены...

Сразу я не мог сообразить, что именно происходит. Мой сосед действительно лежал го-

ловой на моей груди в странной и, по-видимому, неудобной для него позе, а прямо против меня на скамейке (я едва мог этому верить) сидел господин Негри, упершись локтями в колени и глядя на нас обоих своими живыми, умными и смеющимися глазами. Несколько заинтересованных чем-то пассажиров окружали нас и тоже улыбались... Я покраснел и двинулся на своем месте, но господин Негри сделал мне знак, чтобы я не шевелился, и, указывая на моего ласкового соседа, продекламентировал:

*На заре ты ее не буди!
На заре она сладко так спит...*

Среди окружавших нас пассажиров слышался смех, и я почувствовал, что греющая тяжесть сразу облегчилась, и хотя ласковый сосед даже всхрапнул в эту минуту довольно натурально, но я сознавал ясно, что он не спит, а только делает вид, что не слышит бесцеремонных насмешек. Мне стало жаль его... В это время слышался заглушённый грохотом свисток, и поезд загромыхал реже, очевидно подходя к станции. Господин в клеен-

чатой фуражке резко очнулся, протер глаза и встал.

— Станция? — сказал он встревоженно.

— Д-да-с, станция, неизвестно еще какая, — невинно ответил господин Негри. — Но вам, конечно, здесь выходить? Не правда ли?..

— Да, да, здесь, — забормотал ласковый господин и потянулся за своим тощим узелком...

Поезд жестоко стучал буферами, подползая к дебаркадеру. Господин Негри положил руку на рукав незнакомца и сказал:

— Одну минуточку, господин. Молодой человек, — обратился он ко мне, — все ли у вас в порядке?

Мне все стало ясно, и я схватился за свою сумку так порывисто, что кругом послышался смех. Сумка была тут, и на дне ее лежал кошелек... Я вздохнул с облегчением...

Господин в клеенчатом картузе быстро вышел из вагона, сопровождаемый частью насмешливыми, частью враждебными замечаниями. Когда поезд двинулся дальше, он стоял на краю платформы и, поравнявшись с нами, погрозил в окно кулаком...

Некоторое время после этого в вагоне шли рассказы о разных случаях воровства. Потом пассажиры разошлись по местам, а господин Негри остался со мною.

— Ну, поздравляю вас, юноша, — сказал он мне с усмешкой. — Вы отделались довольно дешево. Вы имели дело с несомненным профессиональным жуликом. Заметили вы, что он несколько раз показывал вам свой кошелек? Это прием... Такие, извините, пижоны, как вы... то есть я хочу сказать новички, в первый раз едущие по железным дорогам из глубокой провинции, — при каждом напоминании о кошельке сейчас хватаются за сумку или за карман, где у них деньги... Вы, я заметил, брались за сумку... Вот он и прильнул к вам... И если бы я не разбудил вас... Ну, ну, пустяки. За что же тут благодарить?..

Я сильно покраснел, и мне было досадно, что проклятая застенчивость мешала мне как следует выразить мои чувства. Хорошие, настоящие слова в таких случаях приходили мне на ум тогда, когда уже были сказаны другие, сбивчивые, тусклые, ненастоящие... Во всяком случае, мне было необыкновенно при-

ятно чувствовать себя обязанным такому замечательному человеку.

Мечта моя сбылась наяву. Поезд мчался дальше, а я сидел рядом с господином Негри, и мы тихо разговаривали. Он сразу угадал, что я в этом году окончил гимназию и еду в столицу. Куда? В Технологический? Это он одобрил: от прогресса технических знаний зависит будущее страны... Кроме того... рабочий вопрос на очереди. Когда я признался, что в техническое заведение поступаю временно и поневоле, как «реалист», а затем надеюсь перейти в университет, в его глазах проступило насмешливое выражение...

— Сразу, значит, на проторенную дорожку? В чиновники? Нет? А куда же? В адвокаты?.. Гм... Это еще лучше... Куши, значит, хотите огребать?.. Правильно-но-с, молодой человек, очень правильно. Адвокаты действительно... народ благополучный...

Я попытался оправдаться. Ведь вот Спасович и другие... В нечаевском процессе... И защищали даром.

— А, вот что! Ну, простите, когда так. Если вас влечет эта сторона, дело десятое-с... Толь-

ко все-таки лучше бросьте эту идею. Оратором вам не сделаться, потому что у вас отвратительный акцент. Не русский и не малорусский, а новороссийский, местечковый... С таким «прононсом» говорить речи и волновать сердца трудно-с...

— А вот опять-таки... Спасович, — защищался я робко.

— Ну, батюшка! То — Спасович. Не всем быть Спасовичами... А впрочем, что ж... давай вам бог...

Поезд летел, быстро пожирая пространство, и мне казалось, что так же быстро он пожирает время. Еще немного, и обаятельная сказка кончится... Мне придется навсегда расстаться с этим человеком, уже завоевавшим мое сердце...

Негри поднялся.

— Ну, юноша, мы еще поговорим с вами, — сказал он. — До Курска еще порядочно,

— Мне только до Ворожбы, — ответил я упавшим голосом.

— Это почему? — спросил он.

— В Сумах у меня дядя, к которому я должен заехать по дороге. В Ворожбе я найму ло-

шадей.

В лице господина Негри мелькнуло оживление. Он опять сел на место, посмотрел на меня с некоторым раздумьем и сказал:

— Знаете... Ведь это счастливое совпадение. Мне ведь тоже нужно в Сумы... Я дам там концерт. Ваш дядя человек с положением? Давно живет в Сумах?

— Судебный следователь... Живет лет пять. Он опять подумал и сказал:

— Положительно нам по пути. Едем вместе. Кстати, вам и лошади обойдутся дешевле. Но позвольте. Вы мне сказали все о себе, а я вам еще не представился: Теодор Михайлович Негри. Артист-декламатор, прибавлю — довольно известный в провинции... Что? Вы разочарованы? Говорите правду. Думаете: скоморох, балаганщик, кривляющийся на подмостках для потехи публики.

Он ласково положил мягкую ладонь на мою руку и сказал тихо, задушевым голосом:

— Нет, гоноша. Вы ошибаетесь. Не скоморох, а артист — и человек идеи! Подмостки для меня — кафедра, декламация — пропо-

ведь. Я несу в невежественную массу Никитина, Лермонтова, Кольцова, Некрасова, Петефи, Гюго. Я бужу в толпе чувства, которые без меня спали бы глубоким сном. И когда с высоты подмостков звуки моего голоса... как набатный колокол... кидают их в дрожь... как электрическая искра, зажигают эти нетронутые простые сердца...

Говорил он тихо, задушевно, только для меня, но все же сосед в рыжем пальто повернул к нам свое лицо с любопытными глазами. Негри сразу оборвал речь, помолчал и затем, протягивая мне руку, сказал:

— Итак, значит, едем?

Я ответил ему молчаливым взглядом, в котором, вероятно, он мог прочитать благодарное восхищение. Когда я теперь вспоминаю эту минуту, то мне кажется, что наш вагон несся по каким-то лучезарным полям, залитым ярким светом, а кругом меня стоял золотистый туман, и в нем плавал восхитительный образ Теодора Негри, артиста-декламатора... проповедника... «нового человека»...

— Станция Ворожба... Десять минут...

Я захватил свой чемоданчик. Негри попро-

щался с офицером. Пассажир в рыжем пальто с утиным носом хотел что-то сказать мне, но я, подхваченный вихрем восторга, не обратил на него внимания и выскочил из вагона. Негри в сопровождении носильщика вышел вслед за мною, кивнул носильщику на мой чемодан и, взяв меня под руку, повел в зал 1-го класса. Мне было неловко, но он усадил меня за стол так мягко и так властно, что я не посмел сопротивляться.

— Карту, — сказал он лакею.

Я почувствовал себя в затруднении, когда лакей во фраке и нитяных перчатках подал карту. Трата «на обед в первом классе» казалась мне непростительной роскошью. Впрочем, глаза мои уткнулись в «борщ — 30 копеек». Это было сносно. Негри велел себе подать рюмку водки, рюмку коньяку и третью рюмку пустую. Затем икры и осетрины... В пустой рюмке он смешал коньяк с водкой и аппетитно выпил.

Публика прошумела около буфета и схлынула. Поезд свистнул, гроыхнул и умчался. Остался пустой зал с скромным буфетом, и мы двое. В открытую дверь виднелся немоще-

ный дворик, скромные железнодорожные постройки и поля с новым заманчивым простором. Слышался звон бубенцов, и виднелись костистые лошади, запряженные по-русски.

Негри обтер усы салфеткой и поманил лакея. Боясь, чтобы он не заплатил и моих тридцати копеек, я торопливо схватился за кошелек. Негри, улыбаясь, посмотрел на меня и сказал:

— Вы хотите? Ну что ж, хорошо... В Сумах сочтемся. Лучше всего, когда в дороге ведет расход кто-нибудь один. Приучайтесь, юноша, приучайтесь... За меня рупь пятьдесят, ваших тридцать... Гривенник ему на чай. Позови, братец, ямщика.

Вошел ямщик в кафтане с очень короткой талией и в очень грязных сапогах и почти-точно остановился.

Негри посмотрел на него смеющимися глазами и сказал:

— Здравствуй, друг Павло. Как поживаешь?

— Я Герасим, — ответил ямщик с удивлением.

— Да, да, Герасим... Я забыл. Павло другой.

— Вы меня знаете, ваше благородие? — спросил ямщик простодушно.

— Конечно, знаю. И знаю, у кого ты служишь.

И, повернувшись ко мне, он сказал, весело играя карими глазами:

— Хозяин его — человек популярный, но... — прибавил он тише, — страшный кулак. Это ведь про вашего хозяина есть стихи:

*Чи рыба, чи рак —
Кандыба дурак.
Чи рак, чи рыба,
Все дурень Кандыба.
Чи так, чи сяк,
Все Кандыба дурак.*

Что? Неправда? — повернулся он к ямщику.

— В аккурат, — ответил тот с простодушным удивлением и растерянно оглянулся на лакеев и буфетчиков. Те смеялись выходкам затейливого господина.

— Ну, Герасим, поедем в Сумы. Что возьмешь?

— Цена известная. Три целковых.

— Два с полтиной, двадцать на чай. Хозяи-

ну скажи: вез господина Негри, артиста. Он знает. Ну, бери чемоданы.

Ямщик опять беспомощно оглянулся и покорно взял наши вещи...

Минут через двадцать крыша вокзала и верхушка водокачки едва виднелись за неровностью степи, а где-то очень далеко над горизонтом бежал клубок белого пара. Негри с наслаждением вдохнул свежий воздух и сказал:

— Спасибо, сторона родная, за твой врачующий простор!.. Вы, конечно, этого еще не понимаете? Вам врачующий простор не нужен. Д Некрасова любите?

— Очень.

— И знаете?

— Знаю из Некрасова много...

— Прочтите-ка что-нибудь.

Я оглянулся кругом. Поля были почти убраны, но кое-где лежали еще кресты снопов, розовели загоны гречи и по дороге ползли нагруженные возы. Из-за бугра выделялись соломенные крыши деревеньки. Я начал читать:

Меж высоких хлебов затерялося

Небогатое наше село...

Негри сначала легко поморщился, но потом стал внимательно слушать. Последнюю строфу он вдруг выхватил у меня и закончил сам. Мне показалось это так, точно он схватил всю тихую поэзию этих полей, и шорохи ветра в жнивьях, и звон где-то в лощине оттачиваемой косы — и перевел все это в задушевную гармонию некрасовского стиха. От ощущения щемящей, счастливой грусти на глазах у меня проступили слезы.

Он взглянул искоса и сказал:

— А у вас есть чувство. Читаете вы, положим, еще неважно. Но можете, пожалуй, при некоторой выучке прочесть прилично. А Шевченко?

— Еще хуже, — ответил я.

— Попробуйте.

Я прочел что-то неуверенно и сбиваясь, так как совсем не владел украинским выговором. Он опять поморщился и сказал:

— Н-да... Это уж совсем плохо... А Некрасова вы чувствуете. Да, да... С Некрасовым могло бы сойти, — прибавил он про себя.

Стало темнеть. Над полями стояли тишина

и угасание. Незаметно зажигались одна за другой яркие звезды. На горизонте долго лежала светлая полоса, потом и она расплылась. Мы ехали молча. Скоро приедем и расстанемся. Мне было жаль терять время на молчание...

— Скажите, пожалуйста, — заговорил я робко...

— Что такое, юноша?

— Вы вот разговаривали с этим молодым офицером о нечаевском процессе...

— Да, да... Вы слушали?

— Слышал кое-что. И мне хочется спросить: зачем они убили Иванова?

— Так было нужно, — сказал Негри жестко.

— Но ведь Иванов был честный человек... все говорят, что он не был доносчиком.

— Да... и хороший был... а так было нужно, — отрезал Негри категорично и смолк.

«Он, вероятно, знает больше, чем напечатано в газетах... Может быть, он тоже участвовал в этих делах... И он, и тот молодой офицер...»

Ночь наполнялась для меня туманными и таинственными образами. Хотя я все-таки не

понимал, зачем «это» было нужно, и не мог согласиться, что это могло быть нужно, но спрашивать дальше не посмел.

Где-то вдали замелькали неясные огоньки. Должно быть, город. Еще полчаса, и конец пути. Мне это было так неприятно, точно я ехал с любимой девушкой... Негри, как бы угадав мои мысли, повернулся ко мне и сказал:

— Слушайте, юноша! Вы не могли бы остаться в Сумах на несколько дней?

И, не ожидая ответа, сказал живо:

— Знаете, мы бы с вами вместе выступили в концерте...

Я удивился, почти испугался. Я? В концерте, перед публикой на подмостках... Это невозможно! Но Негри находил, что это пустяки. Он все обдумал. В моем чтении есть все-таки чувство. Дня в два, пока напечатают афиши, он меня «поставит». Фрак для меня можно достать напрокат. Мой дядя постарается заинтересовать публику, раздаст между судейскими билеты... Ведь это будет чудесно.

Не знаю, что бы из этого вышло и сумел ли бы я при других обстоятельствах отказаться этому «замечательному человеку», сильно

овладевшему моей волей, но у меня было мало времени: пятнадцатое близко, а мне еще нужно остановиться в Москве, чтобы повидаться с сестрой, нанять в Петербурге комнату...

— Жаль, жаль, — сказал Негри разочарованно. — Ну а в том, что я у вас теперь попрошу, вы уже мне наверное не откажете?..

— Что только могу, — ответил я горячо.

— Это вы можете: ночь мы переночуем вместе в гостинице, а дядю вы разыщете завтра утром. Скажу вам правду: мне просто жаль расставаться с вами...

— О, конечно... — заговорил я, сбиваясь... — Я тоже... Вы не знаете... я... мне...

Я окончательно сконфузился и смолк.

В Сумы мы приехали поздно и остановились в плохонькой «гостинице с номерами». Я кое-как устроился на стульях, которые несколько раз разъезжались подо мною. Но и сон, и частое просыпание от беспокойного ложа были приятны. Я проектировал в уме письмо к матери: она может быть спокойна на мой счет. Я сумею найти то, что мне нужно. Мне везет: вот я уже познакомился с заме-

чательным, необыкновенным человеком!

Когда я проснулся, Негри, умытый и свежий, сидел за столом и что-то писал.

— А, вы проснулись!.. Ну вставайте, будем пить чай. А я пока вот тут окончу маленькое дело.

Я живо умылся и был готов в пять минут. Негри позвонил. Вошел какой-то человек и остановился у двери.

— На вот, братец, и скажи, чтобы поскорее прислали корректуру. Понял?

— Так точно... Приказали, чтобы задаток.

— Ступай! — сказал Негри повелительно и обратился ко мне — Ну-с. Я узнал, где живет ваш дядя. Недалеко. Сколько времени вы у него пробудете?

— Не более двух дней.

— Так. Ну, мы, конечно, еще увидимся... Сегодняшний день вы проведете в родственных объятиях, а завтра утром заходите сюда. Непременно! Тогда мы сведем с вами и наши маленькие счета. Ты все еще здесь? — повернулся он к типографскому рассыльному, который неподвижно стоял у дверной притолки.

— Так точно... Приказали, чтобы зада-

ток... — повторил он тоном автомата.

По лицу Негри прошла красивая нервная гримаса.

— Вот, не угодно ли! — сказал он брезгливо, — вечная прелюдия ко всякому концерту... Изнанка жизни бродячего артиста. Знаете что... Я хочу взять с вас маленький залог в удостоверение, что вы еще меня навестите: вы там платили в буфете... и потом за лошадей. Продолжим до завтра эти наши общие расходы. Дайте вот этому разбойнику два рубля.

Я торопливо отдал деньги.

— Спасибо. А теперь ступайте к дяде, а я пойду по делам. Нужен зал... полицейское разрешение, ну и так далее... Неужто вы не останетесь хотя бы для того, чтобы послушать вашего приятеля, артиста Теодора Негри? Нельзя? Ну, бог с вами, бог с вами... Итак — до завтра!

Дядя ждал меня еще вчера, по письму матери, и несколько беспокоился. Выслушав мой рассказ о счастливой встрече, он комически приподнял брови и сказал:

— Денег займы просил?

Я покраснел от обиды за моего нового друга.

— Дядя! — сказал я с упреком, — вы не знаете, что это за человек... Артист, проповедник... Это единственная у нас форма общественной проповеди...

— Сколько занял? — спросил он опять, но, заметив мое огорчение, сказал — Ну, ну... Бог с тобой. Послушаем твоего артиста...

Этот мой дядя был когда-то весельчак и остроумец. Теперь он был в чахотке, но в глазах его все еще по временам загорался огонек юмора. Я очень любил его, но все-таки он был только мой дядя, а Теодор Негри, артист-декламатор и проповедник, стоял неизмеримо выше его суда и его насмешек.

На следующее утро я побежал в номера, точно на любовное свидание. В коридоре впереди меня шел мальчишка-половой, неся в обеих руках подносы с графинами, рюмками и закусками. Остановившись около одного номера, он осторожно отдал ногой дверь, и я увидел внутренность комнаты. Сквозь густые клубы табачного дыма виднелась за столом какая-то веселая компания. Особенно

бросилась мне в глаза фигура какого-то молодого богатыря с широким лицом, красным, как сырое мясо, в шелковой косоворотке, с массивной золотой цепочкой поперек груди, от одного кармана косоворотки к другому. Из закуренного номера несся шумный и, кажется, пьяный говор, крики, смех. По-видимому, компания заканчивала поздним утром ночь, проведенную за картами.

Господина Негри в нашем общем номере не было. Половой мальчишка, увидев меня в открытую дверь, вошел в комнату, махнул за чем-то салфеткой по столу и сказал:

— Чичас доложу. Они у акцизного. Приказали, чтобы вам непременно дожидаться, не уходить.

И скрылся.

Через минуту дверь отворилась, и вошел господин Негри. Лицо у него было не то несколько помятое, не то печальное. Он молча подошел ко мне, сильно и как-то многозначительно сжал мою руку и несколько секунд пытливо глядел мне в лицо. Потом, оставив мою руку, сделал два, три шага и сел к столу, положив голову на руки. Меня охватило

непонятное волнение... В напряженную и торжественную тишину этой минуты ворвался шум из соседнего номера... Там смеялись... Стучали, звали кого-то...

Лицо господина Негри повернулось ко мне с выражением сарказма и душевной боли...

— Хороши? — спросил он.

Я ничего не ответил: я не думал об этой компании и не составил о ней определенного мнения, очевидно, от недостатка наблюдательности. А господин Негри думал и составил.

— Что делают? — спросил он с сдержанным гневом и печалью. И тотчас ответил коротко и выразительно:

— Гррра-бят...

Последовала пауза, полная для меня жуткого, электризующего напряжения.

Затем господин Негри стал ронять в тишину фразу за фразой, отчетливые, тихие, точно раскаленные...

— И вот! Они веселятся. Пируют... Слышите? Слышите вы?..

— ...А я!..

— ...За мою проповедь... За мою честную

проповедь... О!..

Он глухо застонал и, резко повернувшись ко мне, заговорил еще тише и еще отчетливее, как будто стремясь запечатлеть во мне важную и горькую тайну:

— Зачем скрывать истину? Знаете ли вы, мой милый, чистый юноша, в каком я положении? Денег — ни гроша! Кредит!.. Боже! Какой кредит странствующему проповеднику на Руси?.. За афиши, которые я заказал тогда при вас... надо заплатить вперед; иначе типографщик... кул-лак и эксплу-ататор... их не выпустит. Значит, концерта моего не будет. Завтра меня, артиста-проповедника, вышвырнут из этого жалкого номера, как саб-баку... А вы... вы еще...

Сердце у меня упало. Все кругом так ужасно и так преступно. Еще секунда, и я узнаю о своей доле участия в этом общем преступлении...

Но глаза господина Негри смотрели на меня из золотой оправы с мягкой лаской.

— Вы вчера спрашивали: «З-зачем? И нужно ли было это делать?» (Я понял, что речь шла о Нечаеве и Иванове.) Да! Нужно!.. Все,

понимаете: все можно и все нужно в этой стране, где такие вот субъ-ек-ты (большим пальцем он ткнул назад через плечо) хохочут сытым, утробным смехом, а таким, как мы с вами, остается только плакать... да, плакать кровавыми слезами.

Он опять уронил голову на руки и смолк. Плечи его чуть-чуть вздрагивали... Неужели он... господин Негри, которого вчера я видел таким великолепным, — плачет? Я стоял, за-таив дыхание, потрясенный, ошеломленный. А из-за двери «грабителей» действительно слышались опять крики и смех...

Я робко подошел к господину Негри и сказал:

— Теодор Михайлович. Я... простите меня, но я... не могу... Если бы вы согласились взять у меня сколько нужно на эти афиши и прочее... Вот тут... у меня...

И я протянул ему свой тощий кошелек. Негри поднял голову и снизу вверх посмотрел на меня влажным, растроганным взглядом.

— Вы... вы сделаете это?.. Но нет, нет... Я не могу, не должен...

Кошелек был у него в руках. Он раскрыл и

стал перечислять его содержимое таким тоном, точно читал трогательную надгробную надпись:

— Багажная квитанция... Записка с адресом, вероятно, товарищей в Петербурге... десять... двадцать... тридцать пять, пятьдесят...

Он вопросительно посмотрел на меня и продолжал тем же умиленным тоном, не спуская глаз с моего лица:

— Где-нибудь еще... вероятно... любящая рука матери зашила в сумочку сотню-другую рублей... И это все... И все-таки этот юноша, сам пролетарий, протягивает руку помощи такому же пролетарию-артисту... О, спасибо, спасибо вам!.. Не за деньги, конечно, я еще не знаю, смогу ли их взять, а за ту чистую веру в человека, которая...

Он заморгал глазами и вытер что-то под золотыми очками кончиком тонкого платка. Затем, переменив тон, сказал:

— Однако постойте... Если уже вы хотите, то... денежные дела так не делаются. Садитесь. Вот так. Давайте выясним: сколько же у вас всех денег?

Я покраснел почти до боли в лице, чув-

ствуя себя так, как будто я обманул доверившегося мне замечательного человека.

— Тут... все, — сказал я с усилием.

В глазах господина Негри мелькнуло быстрое и сложное выражение разочарования, мгновение холодного блеска, как будто он действительно рассердился, потом — юмористическое удивление, потом просто недоумение...

— Все? — переспросил он. — И с этим вы едете в столицу? Значит, вам пришлют туда? Правда?

— Я найду уроки, — пробормотал я совсем виноватым голосом...

Он засмеялся.

— Ну, это дело нелегкое. Вам придется испить горькую чашу... Ну, ничего, не краснейте, юноша. Я вижу, что ваши средства несколько не соответствуют вашему доброму желанию... Тем более спасибо... Но, конечно, нам нужно рассчитать... Пойдите: до Курска... до Ту-улы... до Москвы... до Петербурга... Я, значит, возьму у вас десять рублей на афиши... и потом еще... Ну, хорошо, хорошо: еще пять рублей... Вы все-таки меня спасаете...

Концерт состоится. Деньги у меня будут. Ваш петербургский адрес? Впрочем, что ж я. Конечно, можно адресовать в институт. Я даже сам, вероятно, скоро буду в Петербурге и разыщу вас, мой милый юноша. И тогда, быть может, вы, в свою очередь, не оттолкнете руку помощи скромного бродяги-артиста... Да? Ведь правда: вы мне не откажете в этом?.. Ну, а пока...

Он встал со стула и взял мою руку. Не выпуская ее, он отклонился несколько назад, смотря мне в лицо с какой-то внезапно явившейся мыслью, и сказал:

— Еще, дорогой мой, маленькая просьба: своему дяде вы лучше не говорите ничего о... о наших отношениях. Эти люди с сердцем, охлажденным житейской прозой... Поймут ли они...

— Конечно, — сказал я с убеждением.

— Ну вот.

Дверь нашего номера скрипнула. В ней показалась глупая рожа полового.

— Господин акцизный... — начал он, но Негри сделал болезненную гримасу и сказал гневно-страдающим голосом:

— Знаю, зна-аю... Провалитесь вы все с вашими акцизными...

Малый исчез, а господин Негри опять обратился ко мне и заговорил тоном, который так легко проникал в мою душу:

— Ну, пора расстаться... Но поверьте мне, юноша... Да, да, я знаю: вы мне поверите... Теодор Негри вечный жид, цыган, бродяга. Но он не забудет, что на его пути, на суровом пути странствующего проповедника, судьба послала ему встречу с чистым юношей... доверчивым... с неохлажденной, отзывчивой душой. Прощайте же... прощайте!

Господин Негри крепко обнял меня. Я почувствовал прикосновение его мягких усов, а затем его губы прижались к моей щеке. Я не успел ответить на это объятие, как он меня выпустил и быстро исчез, оставив одного в пустом номере. Было тихо. Только из комнаты «грабителей» вырвалась, будто в мгновение открытую дверь, волна особенно шумного ликования, хохота, криков...

На улицах малознакомого города было серо и скучно. Печально моросил дождик, по небу ползли серые клочья тумана, мостовая

облипла жидкою, скользкою грязью. Но на душе у меня как будто играла музыка, немного печальная, но еще более торжественная... Какой замечательный человек!.. «Что делают?.. Гррра-бят!» О, как он сказал это! И как одной фразой охарактеризовал эту пошлую компанию, которую я видел в накуренном грязном номере, среди табачного дыма... Этот молодой человек с самодовольною, красною рожей... Вероятно, это и есть акцизный? Конечно... вчера половой говорил, что занят только один номер, и именно господином акцизным... И сегодня он опять приходил от господина акцизного... Зачем? Что общего у этого пошляка с странствующим проповедником? Совершенно понятна болезненная гримаса господина Негри при одном упоминании об этом субъекте. Наверное, берет взятки... И щеголяет в золотой цепи... «А я за мою проповедь... за мою честную проповедь...» Куда он ушел, попрощавшись со мною? С кем теперь говорит?.. Кого это «грабители» встретили таким ликованием после того, как мы распрощались?.. «На моем пути, на суровом пути странствующего проповедника... судьба по-

слала мне чистого юношу»... Неужели он говорил это обо мне? Что я такое для него?.. Неинтересный, мало развитой, в смешной альмавиве... И на меня же глядели его умные глаза, глядели *снизу вверх* с такой глубокой печалью... О господин Негри, милый, красивый, умный господин Негри! Артист, декламатор, интеллигентный пролетарий, странствующий проповедник... Неужели, о, неужели я никогда не увижу вас более!

При этой мысли глаза мои становились влажны...

А между тем, если читатель подумает, что мой современник был так безнадежно глуп, как может показаться по описанному здесь его настроению, то он, пожалуй, ошибется. Этот застенчивый молодой человек не был лишен даже в эти минуты некоторой наблюдательности... В то самое время, когда в душе его звучала торжественная симфония, он все-таки замечал, что на улицах грязно и скучно, а по мостовой дребезжит какая-то обмызганная пролетка. Правда, образ господина Негри плавал перед ним в золотистом тумане, обаятельный и блестящий, властно занимая сол-

нечную сторону его сознания. Но наряду с ним в серой и скучной тени выступал и другой образ, тусклый, но все же довольно отчетливый. Стоило только выпустить его на солнечную сторону, и он обрисовался бы не менее рельефно, чем его великолепный двойник. *Этот* господин Негри ехал в Курск, вероятно после каких-то неудач, с неопределенными планами. Он свернул в Сумы, собственно, для меня... Я платил за его обед, за лошадей, за номер, за афиши. В его глазах мелькнуло разочарование при подсчете моих капиталов... Он думал, что у меня больше. Он «нарочно» говорил, что *надо было* убить Иванова. Сам он ничего об этом не знает... Наконец... положительно *он* вышел ко мне из номера «грабителей» и опять ушел к ним. И, может быть, продолжает теперь игру на взятые у меня деньги и спустит их этому молодцу с красной рожей до последней копейки... А у меня едва ли останется десять рублей, когда я приеду в Петербург...

Но я слишком грубо и резко обрисовал этот второй образ. Тогда он только пытался возникнуть в моем сознании — легкий, воз-

душный и такой робкий, что исчезал при каждом движении своего великолепного двойника. Когда же он делал попытки перейти из тени на солнечную сторону, то мне делалось обидно и больно. Я только что расстался с живым господином Негри... Неужели придется расстаться и с воспоминанием?.. Нет, нет! Тут великолепный господин Негри произносил для меня одну из своих фраз, от которых жутко замирало сердце, — и презренный двойник расплывался в тумане.

Одним словом, я и тут *знал* господина Негри по-умному, но *чувствовал* его по-глупому, с преклонением, с желанием *только такого* господина Негри... И он оставался для меня именно таким... И *такой* он продолжал владеть мною. И если бы судьба вскоре опять свела нас вместе, и он опять сказал бы несколько таких же потрясающих фраз и опять посмотрел бы снизу вверх страдающими печальными глазами, — я, вероятно, пошёл бы за ним всюду, куда бы он позвал меня, не слушая робкого, предостерегающего шепота его двойника.

И долго потом, уже в Петербурге, в тяже-

лые минуты жизни, печальные и тусклые, как эта уличная слякоть, — образ великолепного господина Негри, артиста-декламатора, выплывал передо мною из розового тумана во всем своем обаянии. Мне казалось, что он откроет дверь, войдет, посмотрит сквозь золотые очки своими живыми глазами и скажет:

— Вот и я. Бродяга и цыган... Разыскал вас, зная, что вам очень трудно. А вы, признайтесь, юноша, сомневались?..

Дядя опять стал расспрашивать «о моем артисте», но, заметив мое настроение, оставил эту тему. Вместо того он произвел основательную ревизию моим денежным и иным ресурсам. Результаты оказались довольно печальными. Сам он был небогат и болен. В его когда-то веселых черных глазах отражалась теперь неустанная и тяжелая забота о детях. Тем не менее он пополнил брешь, нанесенную декламатором в моих финансах, и, кроме того, снабдил еще меня своею черною парой. Он был очень высок, и его сюртук полами покрывал мои пятки. Дядя расхохотался и сказал:

— Ничего, ничего... В Петербурге позовешь

портного и переделаешь. А то ты черт знает на что похож в этом своем костюме.

Под вечер, когда я уезжал из города на лошадях Кандыбы, над Сумами опять ползли облака, поливая мелким дождиком скучные, грязные улицы. На столбах и заборах мелькали большие листы, на которых я мог разобрать крупные надписи:

Теодор Негри. Артист-декламатор.

Их поливал мелкий дождь, и я с грустью думал, что погода помешает концерту моего замечательного друга.

III. Я попадаю в разбойничий вертеп

И в дороге, под шарканье бубенцов, и в поезде до Курска мне было очень скучно.

В Курске в вагон, где я уселся, вошли двое знакомых уже мне пассажиров: господин с утиным носом и его товарищ. Они прямо направились ко мне и поздоровались, назвав себя. Господин с утиным носом оказался Зубаревским, студентом-технологом третьего курса (наружность и фамилия другого как-то совсем исчезли из моей памяти). Они провели эти два или три дня по делам в Курске... Оста-

новятся еще в Москве. Я сделал вид, что верю всему, но, в сущности, мне казалось невероятным, чтобы человек с такой незамечательной наружностью и так одетый мог быть действительно студентом. Впрочем, я теперь человек опытный, и меня провести нелегко. На предложение остановиться в Москве вместе в Кокоревской гостинице я ответил вежливым отказом: мне нужно остановиться где-нибудь около Екатерининского института. Там у меня сестра...

На старом Курском вокзале в Москве я пожалел об этом. Когда с чемоданчиком в руках я очутился на дебаркадере, вокруг меня образовался сразу вихрь криков, нахальных рож, приподнятых фуражек, звонких зазываний. Хватили за полы моей злополучной мантильи, вырывали из рук чемодан, заглядывали в глаза, дышали в лицо разными, преимущественно винными, запахами, кажется — насмехались... Где-то вдали мелькнула фигура Зубаревского и его товарища. Они казались мне теперь приятными. У Зубаревского, в сущности, добрые глаза и лицо очень неглупое. Пожалуй, он, может быть, и студент. И

уж во всяком случае, не грабитель. Я рванулся за ним, но его уже не было. А над самым моим ухом слышался сиповатый, мягкий голос:

— Домниковские номера-с... Всего сорок копеек. Извозчика не требуется. Вещи донесу сам...

Я устал бороться и отдался на волю судьбы.

Чернобородый субъект довольно мрачного полумонашеского вида взял у меня чемодан, взвалил себе на плечи и пошел вперед, энергично прокладывая путь в толпе. Он двинулся так быстро, что я сразу отстал и уже прощался со своим чемоданом; но на подъезде черномазый ожидал меня, и мы пошли рядом по улицам Москвы.

Шли довольно долго. Прошли «Балкан», потом углубились в какие-то переулки. Я уже думал взять первого попавшегося извозчика и ехать в Кокоревские номера, как мой провожатый остановился перед двухэтажным домом. Переулок был узкий и грязный. Вверху сумрачное небо, внизу мокрая мостовая. На стене дома большими буквами было написано: «Домниковские номера для приезжаю-

щих». Надпись была, кажется, сделана сажей и потекла от дождя, разведя по грязной стене траурные полосы. Хотя было еще рано, но ворота оказались запертыми. Провожатый дернул ручку звонка. Раздался дребезжащий, унылый звон и вслед за ним хриплый собачий лай. Толстая баба отперла калитку, впустила нас и тотчас же заперла опять.

В маленьком квадратном дворике было грязно и печально. Я еще первый раз в жизни очутился в таком дворе, и мне казалось, что я действительно на дне колодца. На одной стене опять виднелась расплывшаяся надпись — «номера», и мы вошли в низкую дверь, показавшуюся мне входом в пещеру. Ход был через кухню. Небольшим коридорчиком чернобородый провел меня в заднюю комнату и сказал:

— Здеся. Сорок копеек в сутки. Прикажете самоварчик?

Когда он вышел, я оглянулся в своем новом помещении. Комната была узкая, с одним окном, засиженным мухами. Темный потолок, темные обои, темное небо, на дворе сумерки. Окно было низко. Я подошел и попро-

бывал тихонько открыть его. Тотчас же из какой-то темной сарайной двери показалась собачья морда и раздался лай, хриплый и сердитый.

Итак, решил я про себя, похоже, что я в ловушке. Двор заперт, у окна собака. Да если бы и удалось вырваться на двор — все равно идти некуда. Подслепые окна глядели со стен в этот колодец таинственно и зловеще...

В коридоре послышалась возня, заставившая меня насторожиться. Кто-то рвался куда-то, кто-то другой не пускал. Жидкая переборка шаталась и вздрагивала.

— П-пусти... Тебе гов-во-рят! — с усилием говорил сишный мужской голос. — Агафья... Агаш... кто здесь хозяин?.. Одолели вы меня с Ермишкой, с разбойником... душегубы, анафемы!

Он рванулся, и неровные быстрые шаги застучали по коридору. Моя дверь внезапно раскрылась, и на пороге появился мужчина лет за пятьдесят, в расстегнутом меховом полукафтанчике и разорванной косоворотке. Нанковые легкие штаны и опорки на босу ногу дополняли костюм незнакомца. Глаза у

него были дикие, бегающие, как будто испуганные, седоватые жидкие волосы торчали врозь, борода сбилась в одну сторону. Он схватился за косяк двери, чтобы не упасть, и, тяжело перевалившись в мою комнату, подошел ко мне вплоть и заговорил, дыша запахом перегара и горячки:

— Слышал ты?.. Будь свидетель. Не пущают... Разбойники, душегубы они с Ермишкой. Не-ет, врешь... ма-монишь, концы хорошишь...

Он прищурил один глаз, лукаво мигнул мне и сказал:

— Я сам с усам... Я им, душегубам, не потатчик... Я... до сам-мого царя...

В коридоре стукнула дверь. Должно быть, на помощь баба призвала Ермишку. Пьяный насторожился и, наклонясь ко мне, заговорил таинственно, торопливо и тихо:

— Молчи ужо. Дай мне скорее двугривенной, хорошо будет небось... А с их, подлецов, вычти потом. Я хозяин, в обиду не дам. Э-эх ты, мил-л-ай! Молоденький какой...

Поддавшись его испуганной торопливости, я наскоро дал ему двугривенный. Он жад-

но схватил его и сунул в рот. Как раз вовремя, потому что в комнату уже входил чернобородый и толстая баба. Незнакомец не оказывал теперь сопротивления и только с порога кивнул мне многозначительно и обещающе... Скоро возня стихла где-то в дальнем конце. Слышались только неразборчивое ворчание, вздохи... чей-то плач...

Чернобородый с сурово-угрюмым видом внес сначала поднос с чайником и стаканом, потом небольшой самовар и тарелку с французской булкой. Все это он делал молча, не глядя на меня, и так же молча вышел.

Мое положение стало передо мной с ужасающей ясностью. Можно ли сомневаться? Я попал в один из вертепов, вроде притона «на бойком месте» в драме Островского. Только не в лесу, а на каком-то московском «Балкане», хуже всякого леса. Они, очевидно, только затем и выходят на вокзалы, чтобы заманивать неопытных юношей, одетых так выразительно, как меня нарядил портной Шимко. Квартиры кругом, очевидно, нежилые... Только в одном окне движется тусклый огонек... Там, вероятно, члены той же шайки. У окна

сторожит свирепый цербер. Ворота на запоре...

Воображение мое разрабатывало дальше эту мрачную тему. В одном из членов шайки, очевидно, не погасла еще искра совести... Но он заливает ее вином и только в пьяном виде грозит товарищам разоблачениями и старается предупредить несчастные жертвы... Он так таинственно порывался что-то сказать мне, так многозначительно мигал от порога. Обещал что-то?.. Ясно: он обещал мне помощь. Может быть, этому доброму, раскаявшемуся преступнику удастся как-нибудь обмануть их бдительность, привести людей и спасти меня в последнюю роковую минуту... Это иногда бывало... Но... удастся ли?..

Мне только казалось странно, что и чернобородый разбойник, и толстая мегера, увидя пьяного, как будто плакали. Да, положительно я помню заплаканное бабье лицо. Что ж. И это легко объяснить. Она — женщина... Ей, может быть, стало жаль моей молодости. У нее, вероятно, был сын... Он умер, но теперь был бы моих лет. Такая чувствительность у закоренелых разбойниц тоже бывает. Я, ка-

жется, читал об этом в каком-то страшном рассказе... Но это, в конце концов, не помогает невинным жертвам. Такие счастливые развязки бывают только в романах... а меня окружает теперь суровая действительность...

На столе стоит самовар и лежит пятикопечная булка. Чай, конечно, отравлен сонным порошком. Я снял чайник, вылил содержимое в грязное ведро, всполоснул несколько раз и заварил своего чая. На блюде лежало несколько кусочков сахара. Я лизнул опять языком: вкус странный, как будто металлический. Мышьяк ведь тоже похож на сахар. Ну хорошо, пусть думают, что я усыплен или отравлен. А я между тем напьюсь крепкого чаю и не засну всю ночь... Может быть, найду какое-нибудь средство спасения... И, во всяком случае, дорого отдам свою жизнь...

Не надо сидеть спиной к двери. Я попробовал перейти на другой стул, у стены, но он сразу подогнулся подо мной: одна ножка была отломана. Я по-прежнему приставил его к стене и пересел со своим стаканом на кровать.

Я был сильно голоден. Чай показался мне

превосходным, булка тоже. «Может, в последний раз в жизни», — подумал я печально и налил другой стакан. Хорошо бы еще одну булку... Я постучал.

Вошла мегера. Глаза у нее все были заплаканы. От угрызений своей мрачной совести она, по-видимому, не могла глядеть на меня и отворачивала лицо. Я попросил принести еще хлеба, она ушла, не сказав ни слова, и так же молча принесла через несколько минут две булки. За ними она, кажется, выходила со двора.

Вскоре после ее ухода сильно лаяла собака и металась, лязгая цепью...

Напившись чаю, я попробовал запереть дверь, но задвижка не входила во втулку.

Время тянулось медленно. Самовар допел свою жалобную песенку и смолк. Где-то, в другом конце квартиры, шел тревожный разговор, раза два хлопали двери, один раз опять сильно лаяла собака. Потом все стихло...

Я решил, что можно немного прилечь. Ведь прилечь не значит еще заснуть. Наоборот, в таком положении воображение работает еще лучше. Я придумаю какой-нибудь вы-

ход.

Что-то жесткое сразу проступило из-под тонкого тюфяка. Засунув руку, я нащупал... ту самую ножку, которой недоставало у стула. Очевидно, кто-то здесь уже переживал те же чувства, что и я, и, вероятно, вооружился ножкой для защиты. Какая судьба постигла этого моего предшественника? Может быть, та же самая, которая ждет и меня через два-три часа... Когда *это* случится? Конечно, перед утром, когда бывает самый крепкий сон... Во всяком случае, я благодарен неведомому товарищу за его предсмертную выдумку... Вместе с клопами, которые сразу произвели на меня жесточайшую атаку, это жесткое оружие защиты, конечно, не даст мне заснуть...

Свечу я не гасил. Она нагорала и потрескивала жалобно и печально. Было тихо. Где-то тут за стенами катится шумная жизнь столицы, гремят извозчики, снует публика... Отдаленный свисток — точно из другого мира. Это на Курском вокзале. Пришел поезд, валит приезжая толпа... Разъезжаются по гостиницам... В Кокоревском подворье, куда звал меня студент Зубаревский и где теперь он спит

на хорошей постели, без клопов, без ножки под тюфяком, в безопасности и комфорте. А где-то еще ближе (мне сказал это чернобородый) большое здание института... В дортуаре ряды чистых кроватей. В одной спит моя сестренка... Чувствует ли она, что я тут, близко, в этом вертепе, в смертельной опасности? Может быть, чувствует и мечется по своей подушке и всхлипывает во сне, произнося мое имя... На глаза у меня просятся слезы...

Ужасно неудобно с этой ножкой, но — пусть! Не время думать об удобствах... Рахметов спал на поленьях дров... Кто-то еще — не помню, кто именно... Спать я ни в каком случае не стану... При первом подозрительном шорохе в коридоре я схвачу эту ножку вот так и удержу ее около себя... Они войдут вон там, в эту дверь... Я вижу их отлично. Впереди — зловещая физиономия чернобородого. Из-за его плеч — другая, незнакомая, еще мрачнее... Они думают, что я усыплен, но я гляжу сквозь прищуренные ресницы и крепко сжимаю ножку в руке... Подходят, трусливо крадучись. Я сразу вскакиваю на ноги. А, не ожидали? Быстрый, как молния, удар... Чернобородый

падает... Борьба... долгая, глухая, неясная... я, кажется, обессиливаю... навалились какие-то рожи... Но тут приходит помощь... Раскаявшийся пьяница вваливается со светом, с шумом, с людьми... Я спасен. Ужасная ночь миновала... Свет дня и солнца. Полиция, протоколы, любопытные люди расспрашивают меня... Да, это я раскрыл разбойничий вертеп, в котором погибло уже много наивных провинциалов.

В темном подвале, охраняемом злющим цербером, находят груды человеческих костей... Ужасаются, мотают головами... пишут в газетах. Сестра, мать, Теодор Негри читают. Сначала пугаются, потом, конечно, — радость... Все хорошо. Мне наперебой предлагают работу. Три часа в день. Сорок пять рублей в месяц. Я богат, могу еще посылать матери. Перехожу с курса на курс... В Технологическом... в университете... еще где-то. Вообще — все отлично...

Все так отлично, что я сладко сплю, несмотря на клопов и на деревянную ножку под боком, одетый, в разбойничьем вертепе...

Когда я проснулся, точно от внезапного

толчка, первой моей мыслью было: жив ли я.

Я был жив, ночь уже прошла. В комнате было светло. Луч солнца, перебравшись через крыши, заиграл вверху по стене, и желтоватые рассеянные лучи попали на дно двора-колодца. У стола стоял чернобородый, позванивая убираемой посудой.

— Так и спали ночь, не раздевши, — сказал он печально и прибавил, потупясь — Побеспокоили вас вчерась... Извините...

— Кто это был, пьяный? — спросил я, резво подымаясь на ноги с ощущением необыкновенного благополучия...

Чернобородый глубоко вздохнул.

— Грехи! И сказать стыдно. *Сам* это, хозяин здешний. Закрутил, что станешь делать. Запираем, да нешто углядишь. Вчерась вот вышел я. Хозяйку вы за булкой послали. Думали, спит он. Сама в ворота, а он тихонечко за нею... Собака взлаяла. Оглянулась она, а он — что ты думаешь: дерет по улице, не догонишь... И опять пьяной... Господи, помилуй нас грешных. И откуль денег добыл, удивительное дело.

Я вспомнил свой двугривенный и покрас-

нел. Чернобородый уставил посуду на подносе и опять обратил ко мне унылое лицо.

— А я вот купеческий брат считаюсь. Хозяин, значит, брат мне приходится. Ну, теперича хожу у них за номерного. Что станешь делать. Кабы достатки. А то сами, чай, видите: нешто это номера! Ведешь хорошего господина с вокзалу — самому совестно в глаза поглядеть.

Он скорбно помотал головой и прибавил:

— А ведь жили-то как в своем месте! Купцы были настоящие. Сама-то Агафья Парфеновна пойдет, бывало, в бархатном салопе в церковь — прямо графиня! Теперь слезой вся изошла. И я с нею. Чего ни делали: свечи угодникам ставили, молебствовали... А что? — спросил он вдруг, меняя тон, — вам самоварчик-то нужно?

— Пожалуйста.

— А то, извините, может, с нами бы попили. Дешевле, а самовар горячий. Сама пьет.

Мне было так совестно перед этими добрыми людьми, что я охотно согласился. Хозяйка сидела за самоваром в маленькой, тесно заставленной спальне. У киота печально теп-

лилась лампадка, из-за полога слышался храп и кошмарное бормотание запойного хозяина. Глаза у женщины были красны, но лицо ее сегодня показалось мне совсем другим. Оно еще носило следы былой красоты, и держалась она с таким достоинством, что, когда подавала мне налитый стакан, я чувствовал потребность привстать и конфузливо раскланивался.

Чернобородый пил чай отдельно в кухонке, но это было так близко, что разговор у нас шел общий. И когда они опять рассказали мне историю хозяйского запоя и разорения, мне стало так жаль их обоих, что я принялся утешать их и наговорил много глупостей. Конечно, ни иконы, ни знахари из Замоскворечья тут не помогут. Поможет только наука. Я читал где-то, что теперь есть лечебницы для алкоголиков... Я еду в Петербург, узнаю все это обстоятельно и непременно им напишу... Наука, о, наука одна теперь делает чудеса...

— Ну, дай тебе, господи, за доброту за твою, — сказала бедная женщина, прощаясь со мной. Не знаю, поверила ли она в спасительную силу науки, но мне так хотелось ока-

зять им эту маленькую услугу, что говорил я с искренним увлечением и верой.

Чернобородому нужно было опять идти к поезду, и он взялся указать мне дорогу к институту. Был праздник. Гудели колокола — протяжно, низко, печально... И мне казалось, что вся Москва похожа на заплаканную разорившуюся хозяйку моих номеров и что она этими колоколами вопит, разливаясь слезами о каких-то лучших днях, когда она ходила в бархатных сапогах...

Короткое свидание с сестрой не рассеяло этого впечатления.

Мы сидели в огромном зале с колоннами. Я чувствовал, как что-то рвется навстречу этой родной маленькой фигурке в институтском платье и что-то другое сдерживает и холодит эти порывы... Сестру скоро позвали, а когда я вышел из института, то к печально перекликающемуся хору колоколов присоединился еще Иван Великий... Он бухал с размеренно-важною скорбью, и казалось, какая-то неизбывная печаль кружит и плавает над Москвой...

От всего этого веяло такой тоской, что я

остановился на Самотеке, совершенно не зная, что мне с собой делать. К счастью, мне вспомнились мои спутники — Зубаревский с товарищем. Времени до поезда оставалось еще довольно. Я пошел по улицам, расспрашивая дорогу, и вскоре был у Кокоревского подворья.

Оба студента были в номере, где-то очень высоко, чуть не на чердаке. Когда я вошел, они немного смешались; они были заняты упаковкой в чемодан каких-то книг. Увидев меня, Зубаревский радушно протянул Руку.

— Отлично, что зашли. Хотите чаю? Вот самовар на столе, наливайте сами... Мы тут, как видите, разбираемся с кое-какой литературой. С этим вот вы незнакомы?

Он протянул мне книгу, кажется «Азбуку социальных наук» Флеровского. Я не имел о ней понятия.

— А Лассалья знаете? Нет? Значит, у вас там еще и не слышали о социализме.

Это слово я слышал в первый раз. Одно мне теперь было совершенно ясно: как я был непроницателен и глуп, сомневаясь в Зубаревском. Теперь, наоборот, все в нем казалось

мне необыкновенно привлекательным: и некрасивое лицо, и беспечные манеры добродушного русского бурша, и даже рыжий сюртук из толстого грубого трико... Оба студента долго, с товарищеским участием, рассказывали мне о Петербурге и давали советы, где остановиться на первое время. Потом мы распрощались, как добрые знакомые, и я вышел ободренный, хотя московские колокола продолжали вызванивать свою тягучую, неизбывную печаль...

IV. В Петербурге!

Странно: в течение этих двух-трех дней я несколько раз имел случай убедиться в своей глупости. Меня чуть не обокрал субъект в клеенчатой фуражке в то самое время, как я подозревал и остерегался Зубаревского... Господин Негри... впрочем, и теперь фигура господина Негри стояла в памяти во всем обаятельном блеске, оттесняя своего тусклого реального двойника, и я ловил себя на том, что порой мои губы невольно складываются в «интеллигентную складку»... Затем, добродушнейшие простые люди из Домниковского переулка показали мне бандитами. Нако-

нец, считая себя в опасной ловушке, я позорно заснул...

Все это, по-видимому, должно было сильно сбавить у меня самоуверенности. Но вышло наоборот. Отправляясь опять на вокзал, я чувствовал себя так, как будто действительно пережил все эти опасности и вышел победителем единственно благодаря своей опытности и необыкновенной находчивости.

На вокзале среди толкотни, криков и движения я опять ходил в розовом тумане. У кассы мне попался, между прочим, один из товарищей-ровенцев. Корже-невский. Он окончил годом раньше, был на кондиции и теперь ехал с заработанными деньгами в Петербург. Бедняга совершенно растерялся в сутолоке, пугливо оглядывался по сторонам, и его левая рука судорожно держалась за сумку.

«Господи! — подумал я, — ведь и я был такой еще два-три дня назад...» И я тотчас взял его под свое покровительство, отдал его вещи на хранение провожавшему меня «купеческому брату», пока мы ждали очереди у кассы, и вообще держал себя так уверенно и развязно, что бедняга ни на шаг не отставал от меня,

держась за мое пальто, как за якорь спасения. С «купеческим братом» я попрощался за руку, как со старым знакомым, а когда затем мы уселись в плотно набитом вагоне, я чувствовал себя так, точно Корженевский — еще недавний я в вагоне под Киевом, а я — его великодушный покровитель вроде великолепного господина Негри...

Тогда пассажирские поезда из Москвы в Петербург ходили ровно сутки, и, выехав из Москвы под вечер, в сумерки следующего дня мы с Корженевским вышли из вокзала на Николаевскую площадь.

Сердце у меня затрепетало от радости. Петербург! Здесь сосредоточено все, что я считал лучшим в жизни, потому что отсюда исходила вся русская литература, настоящая родина моей души... Это было время, когда лето недавно еще уступило место осени. На неопределенно светлом вечернем фоне неба грузно и как-то мечтательно рисовались массивы домов, а внизу уже бежали, как светлые четки, ряды фонарных огоньков, которые в это время обыкновенно начинают опять зажигать после летних ночей... Они кажутся та-

кими яркими, свежими, молодыми. Точно после каникул впервые выходят на работу, еще не особенно нужную, потому что воздух еще полон мечтательными отблесками, бьющими кверху откуда-то из-за горизонта... И этот веселый блеск фонарей под свежим блистанием неба, и грохот, и звон конки, и где-то потухающая заря, и особенный крепкий запах моря, несшийся на площадь с западным ветром, — все это удивительно гармонировало с моим настроением.

Мы стояли на главном подъезде, выжидая, пока разредится беспорядочная туча экипажей, и я всем существом впивал в себя ощущение Петербурга. Итак, я — тот самый, что когда-то в первый раз с замирающим сердцем подходил «один» к воротам пансиона, — теперь стою у порога великого города. Вон там, налево, — устье широкой, как река, улицы...

Это, конечно, Невский... Я знал это, так как все подробно расспросил у Сучкова и много раз представлял себе первую минуту, когда его увижу. Вот, значит, где гулял когда-то гоголевский поручик Пирогов... А где-то еще, в этой спутанной громаде домов, жил Белин-

ский, думал и работал Добролюбов. Здесь ко- ченеющей рукой он написал: «Милый друг, я умираю, оттого что был я честен»... Здесь и те- перь живет Некрасов, и, значит, я дышу с ним одним воздухом. Здесь, наконец, ждет меня директор Ермаков и новая, совсем новая за- манчивая жизнь студента. Все это было кра- сиво, мечтательно, свежо и, как ряды этих фо- нарей, уходило в таинственно мерцающую перспективу, наполненную неведомой, неяс- ной, кипучей жизнью... И фонари, вздрагивая огоньками под ветром, казалось, жили и иг- рали и говорили мне что-то обаятельно-лас- ковое, обещающее...

Я останавливаюсь на этой минуте с такой подробностью потому, во-первых, что она на- веки запечатлелась в моей памяти, как одна из вех, отличающих уходящие дали жизни. А во-вторых, еще и потому, что те же фонари впоследствии заговорили моей душе другим языком и даже... этой же мечтательной игрой своих огоньков впоследствии погнали меня из Петербурга...

В ту минуту я был счастлив сознанием мо- лодости, здоровья, силы и ожиданий. Когда

извозчики разъезжались, я пустился по площади в сопровождении скромного прислужника из номеров в доме Фредерикса[1], который нес наши чемоданы и Корженевского, который буквально держался за мой рукав.

Только небольшой и, в сущности, совершенно незначительный случай несколько нарушил мое восторженное настроение. У самого подъезда скромных номеров, приютившихся на задах великолепной «Северной гостиницы», я увидел в окне подвальной лавочки аппетитные караваи свежего хлеба. Спустившись туда, я спросил... французскую булку. Бородатый широкомордый пекарь, отрезавший кому-то полкаравая, смерил меня холодно-насмешливым взглядом и сказал:

— Французских булочек не имеем-с... Продаем русский хлебец...

И он сам, и два его молодца при этом посмотрели на меня так насмешливо, что... я сразу почувствовал себя точно выкинутым из Петербурга в далекий глухой городишко с заплесневевшими прудами... И ярче всего мне припомнился портной Шимко, так как несомненно, что отчасти его творчеству я был обя-

зан этими удивленно-насмешливыми взглядами...

Но это такой пустяк!.. Как бы то ни было, я — в Пе-тербурге!..

V. Я кидаю якорь в Семеновском полку

Я проснулся рано, кажется от нестерпимого восторга. Мой спутник еще спал. Я подошел босиком к окну и выглянул на улицу. Лиговка тогда представляла еще канал, или, вернее, гнилую канаву, через которую на близких расстояниях были кинуты мостики. Небо было пасмурное, серое. Так и надо: недаром же его сравнивают с серой солдатской шинелью... Вот оно. Действительно похоже. На верхушку Знаменской церкви надвигалась от Невского ползучая мгла. Превосходно. Ведь это опять много раз описанные «петербургские туманы». Все так! Я, несомненно, в Пе-тербурге.

На столике в нашем номере лежала небольшая книжонка с планом города. Я жадно схватил ее и, не одетый, стал изучать улицы, по которым нам нужно будет идти, чтобы разыскать ровенских товарищей: Семеновский полк, Малый Царскосельский проспект,

д. № 4, кв. 8. Когда Корженевский встал и мы напились чаю, я очень уверенно повел его по Невскому проспекту. Он удивлялся, не доверял мне и все останавливался, боясь «заблудиться».

— Послушайте, вот вы говорили — будет Аничков мост с лошадьми. Где же они? Никаких лошадей нет.

— Вот и лошади, а это вот Александрийский театр. Видите? А за ним мы свернем налево, по Садовой... Вот это Публичная библиотека.

— Послушайте, — опять сомневался он, — вот вы говорите — будет Сенная площадь... Идем, идем, а площади нету.

Но и площадь оказалась на месте, что, правду сказать, и во мне вызывало некоторое радостное удивление. В начале Обуховского проспекта, на Сенной, стоял вагон конки. Он только что пришел, и кучер переводил лошадей с заднего конца на передний. Во мне созрела дерзновенная решимость сесть на вершущу. Не столько от того, что мои провинциальные ноги уже чувствовали непривычную каменную мостовую, сколько для познания

всякого рода петербургских вещей, как сказал Павел Иванович Чичиков. Корженевский опять усомнился.

— Послушайте, что вы! Посмотрите: никто не садится... — говорил он тихо, останавливая меня за пальто. Но я отчаянно отмахнулся и стал подыматься по лесенке.

Оба мы в эту минуту немного напоминали господина Голядкина из «Двойника» Достоевского, когда этот бедняга подымался на лестницу доктора Крестьяна Ивановича Рутеншица. Корженевский был Голядкин, робкий и сомневающийся в своем праве, а я — Голядкин горделивый, уверявший себя, что мы, «как и все», не лишены права ехать на имперiale этой великолепной конки.

Вагон тронулся. Направо — надпись: «Институт инженеров путей сообщения». Кто туда поступил из наших? Кажется — никто. Мост. Фонтанка. Мы оба привстали и, вытягивая шеи, следим за невиданным зрелищем: под мост втягивалась барка, груженная дровами. Дальше — длинное здание «Константиновского военного училища». Сюда поступили два брата Заботины и Завердяев... А вот

налево длинное здание с красновато-желтыми стенами. Сидевший с нами рядом молодой человек в синей блузе, очках, высоких сапогах и шапке с зеленым околышем поднялся и быстро сошел по лестнице. «Смотрите, смотрите! Это Технологический институт...» Широкий фасад на углу двух улиц. Положительно здания имеют свою физиономию. Какая умная физиономия! Похожа... на что?.. На то, как я представлял себе директора Ермакова. Величаво и серьезно. У подъезда виднелись входящие, выходящие, останавливающиеся фигуры. Наш недавний сосед шел, точно домой, здороваясь и весело переговариваясь на ходу.

— Вот типичный студент, — сказал я Корженевскому. — И какая умная физиономия.

Впоследствии я с ним познакомился. Увы! еще раз пришлось убедиться в своей неприглядности. Юноша действительно был очень типичен и очень недалек.

Однако, оглядываясь на институт и пяля глаза по сторонам, я зазевался. Вагон, тихо погромыхивая, миновал роту за ротой и поравнялся с небольшой часовенкой на углу двух улиц... Я поднялся.

— Господин кондуктор, это не Малый Царскосельский? — спросил я с тревогой.

— Он самый.

Я как сумасшедший кинулся вниз, увлекая встревоженного Корженевского... Часовенка осталась уже позади... Повернувшись к ней лицом, я соскочил с площадки вагона. Кто-то будто прихватил меня за пятки и кинул на грязную мостовую. А вагон уплывал дальше, точно корабль, с которого человек упал в море, и на задней площадке я видел испуганное лицо моего спутника...

Кондуктор позвонил и спустил беднягу не особенно любезно, пояснив, что прыгать надо вперед.

Итак — вот это угол Малого и Большого Царскосельских[2]. Часовня. Так. Она прописана в записке. Дом номер второй... Мелочная лавочка... Дом четвертый. Все так. Квартира 8, по этой вот лестнице...

— Ну что! Видите, привел! — похвастался я перед Корженевским, который все-таки имел такой вид, точно не верил, что все это предприятие может кончиться благополучно. Правду сказать, и мне казалось все это ма-

леньким чудом: недели три назад в Ровно, на мосту, Сучков набросал в моей записной книжке несколько линий и цифр. И теперь это все разворачивалось с такой точностью вот в эту часовенку, лавочку, дома с теми самыми номерами... И через минуту у нас окажется свой человек, земляк и товарищ среди этого шумно грохочущего человеческого океана... А что, если мы позвоним, откроется дверь, и чужие люди скажут нам, что мы ошиблись? Никакого Гриневецкого нет. А есть только все чужое, равнодушное, незнакомое. Вот только дернуть за звонок... Пожалуй, еще рассердятся...

Дверь открылась. Молодая горничная, которую мы приняли за «барышню», не рассердилась и не удивилась, а равнодушно ответила, что Гриневецкий Мирослав Иванович живет здесь, но его нету дома. «Войдите, может, скоро будут».

В просторной, но очень беспорядочно обставленной комнате, куда мы вошли, было двое молодых людей. Один сидел на стуле. Далеко протянув ноги и закинув голову так, что виднелся конец носа, он беспорядочно и

неумело тренькал на гитаре. Другой у окна крутил папиросу, кося глаза на какую-то толстую книгу.

Наш приход не произвел на них особого впечатления. Гитарист еще некоторое время перебирал струны, потом поднялся.

— Вы, верно, Мирочке будете ты-ываришши? — спросил он. Лицо у него было медно-красное, не совсем чистое, и говорил он с каким-то своеобразным акцентом на ы, точно выдавливая слова.

— Да, мы из Ровно.

— Гы-ыварил он. Ды вот укрутило ево. Самы ждем.

— Шата-атся... долго что-то, — буркнул читающий и опять уткнулся в книгу. Лицо последнего показалось мне необыкновенно интеллигентным и серьезным: крупные черты, тонкие усики над полными губами, раздвоенная бородка и темные густые волосы, закрывавшие лицо, когда он наклонялся над книгой. Тогда дым папиросы проходил через эти волосы, и мне почему-то вспомнилось некраповское: «Студент не будет посыпать твоих листов золой табачной». — «Настоящий, се-

рвезный», — подумал я почтительно.

— Будем зныкомы, — сказал молодой человек, тренькавший на гитаре. — Никулин Ардальон. Студент-технолог.

— Веселитский, — сказал приятной грудной октавой другой.

Раздался опять звонок, и в комнату вошел Гриневецкий. Это был высокий красавец, с золотисто-русыми волосами, падавшими ему на плечи, и большими серыми глазами. В белой ризе он мог бы сойти за архангела в какой-нибудь мистерии. Таким, как теперь, в пледе, небрежно кинутым на плечи, он походил на немецкого художника времен романтизма. В гимназии он шел двумя классами впереди меня и считался звездой. Я смотрел на него снизу вверх, и теперь меня тронуло открытое радушие, с каким он нас встретил. Впрочем, радостное оживление тотчас же сошло с его лица, и на нем проступила забота. Скинув плед, он швырнул на постель какой-то сверток и зашагал по комнате. Ступал он тихо, не стуча, а как-то шлепая по полу пятками. Приглядевшись, я убедился в печальной истине: каблуков в сапогах вовсе не

было, и на полу оставались сырые следы.

— Ну-с, следы-вательно, Мирочка? — протянул Ардальон Никулин, глядя на Гриневецкого вопросительно.

— Следовательно, ни черта! — сердито ответил Гриневецкий.

— Ы-ыд-нако?

— Полтора, вот тебе и однако.

Ардальон громко и язвительно фыркнул.

— Пх-хы-ы... исто-ория. Да ты ба, чудак, объяснил ему: ведь только весной выкупили за восемь...

— Он говорит: поносите еще лето, и полтинника не дам.

— Резон, — спокойно сказал Веселитский. Он все читал, как будто не интересуясь ни разговором, ни последствиями неудачи. А я почтительно догадывался, что Гриневецкий, наверное, ходил в кассу ссуд, носил что-нибудь закладывать. Ожидания обмануты, и теперь они в безвыходном положении. Конечно. Может ли быть иначе: студенты, интеллигентные пролетарии! Еще это, кажется, называется «богема»... В Париже есть Латинский квартал... Там тоже наука и нищета живут,

как родные сестры... Что, если бы...

Я посмотрел на моих новых знакомых. Сносно одет был только Никулин. Веселитский был без сюртука, один рукав рубахи не застегнут, карманы широких брюк надорвались и оттопырились. Я подумал, что с моей стороны, может быть, не было бы дерзостью мечтать о том, чтобы примкнуть к их коммуне.

Дело это сладилось как-то само собой, легко и просто. Компания действительно переживала кризис. В комнате им уже отказали. Она была для них слишком дорога и роскошна. В том же доме освободилось под самой крышей помещение как раз для четверых, и оно может быть названо великолепным литературным словом «мансарда». За прежнюю квартиру осталось четыре рубля, а у компании ни копейки, ни чаю, ни сахару. Гриневецкий заходил к Сучкову на его прежнюю квартиру, в Четвертую роту, но он еще не приехал.

Мои семнадцать рублей оказались целым богатством. Через полчаса у них весело кипел самовар, на столе был белый хлеб и колбаса, а

под вечер мы перевезли наши чемоданы прямо в «мансарду». Корженевский к нам не при-
мкнул. Победив свою робость и расспросив,
как это делается, он пустился по Семеновско-
му полку, читал билетики, осторожно поды-
мался по лестницам, робко звонил, вежливо
торговался и к вечеру уже нанял себе деше-
вую и удобную комнату.

— Ы-ыста-рожный молодой человек, —
сказал Ардальон, — блы-ыгаразумный. Укло-
нился от зла и сотворил благо...

— Што ш, — серьезно подчеркнул Веселит-
ский. — И верно... С нами тут тоже, братец...
добра не наживешь.

И он махнул рукой. Мне очень понрави-
лась эта самообличительная фраза и серьез-
ный тон, каким она была сказана... Но, по су-
ществу, я, конечно, был с нею не согласен и
чувствовал себя совершенно счастливым.
Можно ли так сразу устроиться лучше.

Низкая комната, разделенная надвое дере-
вянной переборкой. Небольшие квадратные
окна. Угол потолка скошен, так как комната
под крышей.

Мои новые товарищи давно легли, а я сто-

ял у окна и смотрел... Таинственная мутная тьма. Беспорядочные огни, где-то над высокой трубой красный огонь, где-то свисток паровоза, и цепочка огней бежит по равнине... Что окажется днем в этом туманном хаосе из темноты, огней и тумана? Конечно, что-то превосходное, необычайное, неожиданное.

Спать мне опять не хотелось. Сон вытеснялся почти восторженной радостью. Я в Петербурге, в Семеновском полку, в «мансарде» под крышей, с тремя товарищами-студентами... Я подсел к деревянному простому столу и стал писать письмо брату. Мне хотелось отсюда, с этой великолепной «мансарды», закинуть в далекий бедный городишко переполнявшие меня чувства. «Да, мне везет необычайно. Сразу же я успел устроиться среди интеллигентных пролетариев, живущих, как птицы небесные. Мои новые товарищи — народ великолепный. Гриневецкого ты помнишь, только между теперешним Гриневецким и тем, какого мы знали в Ровно, отношение такое же, как между скромным гимназистом и типичным студентом. Он возмужал и развернулся. Никулин — не особенно привле-

кателен по наружности, но очень своеобразен. Превосходный знаток философии. Цитирует Льюиса, а перед Куно Фишером преклоняется. Но, кажется, самый замечательный из этой компании — Василий Иванович Веселитский. Он костромич, сын священника, из семинаров. В нем чувствуется разночинец, тип Помяловского, только без болезненной рефлексии, уравновешенный, спокойный, уверенный. Говорит мало, с костромским акцентом на а (шата-атся, гуля-ат), серьезно и веско. Другие называют его Васькой и слегка над ним посмеиваются. Он относится к этому философски, и мне чувствуется в нем еще невысказавшаяся, крупная сила, которой суждено когда-нибудь проявиться чем-нибудь поразительным. Он постоянно читает, почти не отрываясь от книги. Когда мы переносились в свою новую комнату, он предоставил нам все хлопоты, а сам захватил только книги, и мы его застали уже у подоконника опять за чтением. Крутит и муслит папиросу, а глаза скошены на раскрытые страницы. Точно он век живет здесь и читает. И знаешь, что именно он читает так внимательно? Я заглянул, когда

он ненадолго вышел в другую комнату. Представь: календарь Германа Гоппе. Раскрыто было на отделе „Статистика. Пространство и народонаселение“. И в другой раз: „Санитарные условия Петербурга“. Тут же лежит толстая книга „Уложение о наказаниях“. Почитает одну, отодвинет, заглянет в другую. Углубится, обдумает что-то и опять придвинет первую. Очевидно, находит какие-то непонятные связи между санитарным состоянием Петербурга и уложением о наказаниях. И, конечно, такие связи есть. Очевидно, этот своеобразный ум идет какими-то своими, оригинальными путями...»

Кончил я поздно. И когда потушил свечу, то долго еще улыбался в темноте под храп товарищей. Громче всех храпел Ардальон. За ним Веселитский подхрапывал как-то особенно солидно, приятно.

Утро было только продолжением того же восторженного настроения. В квадратные окошки искоса и игриво заглядывало солнце, и улица вся оглашалась разнообразными и очень музыкальными криками. Тогда петербургские улицы были гораздо певучее, чем те-

перь. Звонкий женский голос пел: «Клюква, ягода, клюква!» Мужской баритон: «То-очить ножи, ножницы, бритвы править!» Солидная низкая октава тянула что-то длинное и как будто печальное, кончавшееся словами: «Щотки, половые». Наконец горловой голос татарина кидал кверху, точно орлиный клеткот: «Хал-лят, хал-лят!»

А когда по улице громоздко проезжали тяжелые возы, то наш дом весь вздрагивал мелкою дрожью, и чуть-чуть позванивали стекла. Я знаю: ведь это Петербург, город, построенный на зыбких болотах.

Из окна характерный вид петербургской окраины — крыши, пустыри, дворы, заводские трубы. Над деревянными домишками высились каменные громады, виднелись полукруглые резервуары газового завода, скучные фасады фабрик. Далее у горизонта лежала полоса деревьев, и на солнце среди них сверкали стены церквей. Это было Волково кладбище.

Мне казалось, что все это — и певучие крики разносчиков, и заводские гудки, и торопливые свистки паровозов на ветке, соединя-

ющей Николаевскую дорогу с Царскосельской, — имеет какое-то отношение к моему приезду... Все как будто радуется вместе со мною.

VI. Я увлекаюсь технологией

Здание института кишело, как муравейник, хотя лекции еще не начинались.

В то время выпуск за выпуском кончали реалисты, и все это хлынуло в технические заведения. Центр тяжести студенческой жизни заметно перетягивался с Васильевского острова к Измайловскому и Семеновскому полкам. В один Технологический институт в тот год поступило на первый курс полторы тысячи человек, и вся эта масса еще до пятнадцатого августа наполнила коридоры, канцелярии, чертежные. Земляки назначали здесь первые свидания, встречались после каникул прежние товарищи, получали письма, записывали адреса, брали в канцелярии виды на жительство, занимали места в чертежных.

Студенческая толпа того времени совершенно не походила на нынешнюю. Формы не было. Костюмы были самые разнообразные, но преобладали высокие сапоги и серые или

синие блузы с ременными кушаками. Блузы бывали щегольские, с расшитыми карманами, в которых утопали золотые цепочки, и их перехватывали широкие спортсменские пояса. Но большей частью это были блузы простые, покупаемые по шестьдесят или семьдесят пять копеек в Александровском рынке, подпоясанные узкими ремешками. Так как институт был в ведомстве государственных имуществ, то к этому костюму студенты прибавляли порой фуражки с зелеными околышами.

Но и без этой фуражки студента-технолога можно было узнать на улице. Общий вид этой студенческой толпы был демократический. Много длинных шевелюр, очков и пледов. Над всей этой пестротой лиц, фигур, костюмов зарисовывался как будто общий тип, и я с радостью ловил в нем странно-знакомые черты... Крепкий и грубоватый заводской рабочий, с интеллигентным лицом и «печатью мысли». Тот самый идеальный молодой человек, какого я выдумал после чтения Шпильгагена. Герой из «Между молотом и наковальней», с высот культуры сходящий в рабочую

среду... Связь двух миров, рабочий интеллигент или интеллигентный рабочий. Я шел с Гриневецким по коридору, и глаза у меня разбегались, восторженно ловя детали этого нового мира. Гриневецкого окликнули. Ему протягивал руку высокий блондин с крупными чертами лица и с ухватками добродушного медведя; его серая блуза носила следы замытых масляных пятен. Он крепко потряс руку Гриневецкого и сказал:

— Здравствуйте... Ну что, как живется? Что делали на каникулах?

Гриневецкий слегка покраснел. Они были вместе на первом курсе. Теперь этот русский богатырь перешел уже на третий.

— Ничего... — ответил Гриневецкий и спросил, в свою очередь — А вы?

— Я ездил на паровозе в Полесье с балластными поездами... Для практики.

— Трудно?

— Ничего. Я здоров. Сначала кочегаром, потом помощником машиниста. Интересно.

Около нас образовался кружок. Другие тоже были на разных «практиках»: простыми рабочими, табельщиками, монтерами. «Хож-

дения в народ» с политическими целями тогда еще не было. Студентов принимали охотно, покровительствовали им, ничтожные жалованья увеличивали умеренными «наградами». Возвращались студенты с большим запасом впечатлений и с небольшими деньгами на первое время. Я жадно прислушивался к этим рассказам, от которых на меня веяло трезвою бодростью и вместе — отголосками моей мечты.

Все огромное здание казалось приспособленным к выработке именно этого интеллектуального типа, создавало его атмосферу и обстановку. На стенах таблицы с чертежами и элементами машин. Огромные винты, вычерченные по точно вычисленным кривым, рычаги, кривошипы, валы, маховые колеса, эксцентрики. Из цифр рождаются линии, из линий возникают формы. Вот они уже окрашиваются в цвета чугуна, железа и меди, облекаются своей металлической плотью, выстраиваются молчаливыми моделями... Воображение невольно бежит дальше, туда, где они грохочут на фабриках, летят по рельсам. Тяжко и размеренно дыша! паровики, взад и впе-

ред движутся поршни, дребезжат зубчатки, ветер летит от маховых колес, поезда мчатся по бесконечным равнинам... И около этой стихии движутся люди — сотни тысяч, огромный неведомый рабочий народ, загадочным обликом которого заинтересована вся литература...

Все это, конечно, не в таких точных понятиях, общо и смутно, но сильно овладевало моим воображением. Огромное здание, наполненное говором и шумом, смехом и гулом разговоров, казалось мне тоже чем-то вроде интеллектуальной фабрики, вырабатывающей нового человека для новой жизни. Образ адвоката на кафедре, в черном фраке, с выразительными жестами обращающегося к судьям, как-то сразу побледнел в моих глазах по сравнению с колоритной фигурой «технолога». Почему в самом деле мне стать непременно адвокатом? Разве все, что я здесь вижу, чувствую, угадываю, — не интереснее? Разве не поэма — этот переход отвлеченной математической формулы в тяжелую машину, покорную движению человеческой воли?.. Тяжкая работа скованной металлом стихии...

Власть ума над бессмысленной силой природы и... неясное, но заманчивое участие в стихийной жизни миллионной рабочей массы.

Ни «хождения в народ», ни готовых народнических программ тогда еще не было. Это стихийно носилось в воздухе, возникая из общей интеллектуальной атмосферы того поколения.

По коридорам, а затем через дворик, где дымила труба и бойко вылетали шипящие струйки белого пара, Гриневецкий провел меня в мастерские. Здесь работали студенты и простые рабочие под руководством мастеров. Студенты выбирали места и записывались, переговариваясь с знакомыми по прошлому году соседями. Пахло машинным маслом, вертелись валы, волнуясь, бежали в воздухе бесконечные ремни, легко повизгивал суппорт токарного станка. В тисках виднелись красиво выпиливаемые гайки, металлические формы, возникающие из бесформенных обрубков.

Гриневецкий и тут встретил знакомых. Пока он разговаривал с ними, я стоял в мастерской, следя за ее своеобразной жизнью. Под

слитное жужжание шкивов и движение ремней мое подвижное воображение уносилось далеко от данной минуты... Еще несколько лет... Я овладею техникой, выработаюсь в такого же умного и крепкого рабочего, как этот полесский практикант. Живу в рабочей казарме среди простых, суровых, но добрых людей. В свободные часы читаю им умные книги, говорю о науке, о каком-то, теперь еще и для меня неясном, но лучшем устройстве жизни. Все должны быть равны, все — братья... Подходит моя рабочая очередь. Я надеваю кожаную куртку и становлюсь на площадку паровоза. Перевожу рычаг. Клокочет пар, стучат и лязгают буфера, тяжело ворочаются колеса. Быстрее, быстрее. Огромный тяжкий поезд с сотнями людей, везущих куда-то свои радости и горе, свои надежды и стремления, летит навстречу буйному ветру, поглощая пространство... Гулкий свисток кричит «прочь с дороги» всему, что может быть еще там впереди... Мелькают мимо разноцветные сигнальные огоньки, столбы, мостики, будки... Деревья, точно скошенные, валются назад, огоньки деревень вспыхивают по

сторонам и проваливаются в сумеречную тьму...

Маленькая станция. Остановка. Дебаркадер, освещенный фонарями. Машинист заботливо осматривает паровоз, смотрит манометр, пробует рычаги. Публика прохаживается в ожидании звонка. К паровозу подходит нарядная дама об руку с важным господином. Это, конечно, она, пренебрегшая тихой, но глубокой любовью скромного гимназиста. С выражением праздного мимолетного интереса она заглядывает в будку паровоза... Что-то в лице загорелого человека в кожаной куртке привлекает внимание дамы, будит неясные воспоминания... Но приглядываться некогда. Звонок. Они уходят. Поезд опять ныряет в темноту ночи. Из окна первого класса задумчиво смотрит женское лицо. *Она* и не подозревает, что их жизнь, надежды, счастье — в руках этого человека в кожаной куртке, там, в голове поезда, у пышущей огнем топки паровоза. Она может спать спокойно. Машинист зорко смотрит вперед, на далекие сигнальные огни, и твердой рукой держит рычаг. Вон впереди туманное зарево. Огни... Ка-

кой-то город. Тут их дороги расходятся. Она пойдет своим широким путем, к светлым вершинам жизни. Его путь не туда... Он понесется дальше, в тьму и ненастье, все вперед и вперед, навстречу неведомой новой жизни... И светят ему там, впереди, лишь скромные огоньки убогих изб, где живут в нужде и горе простые и темные люди...

Гриневецкому пришлось сильно дернуть меня за рукав, чтобы вернуть к действительности из дальнего путешествия на паровозе. Когда мы вернулись опять в главный корпус, в одном из музеев меня поразила новая сцена. Высокий молодой человек, в черном сюртуке и золотых очках, стоял среди группы заинтересованных студентов и, держа руку на головке какого-то цилиндрического чугунного сооружения, рассказывал об его устройстве и действии. Вид у него был совершенно профессорский, и я очень удивился, узнав, что это только студент четвертого курса. Он изобрел какую-то печку с специальными техническими целями. Модель ее была изготовлена в мастерских, и вскоре предстояла демонстрация нового изобретения...

— Первый пояс, — говорил молодой ученый, глядя бесстрастным взглядом куда-то поверх голов своих слушателей, — соответствует зоне поджигания в доменной печи... Он доходит от колосников вот сюда, приблизительно до одной трети. Второй — зона восстановления. Здесь, как известно, углекислота, действуя на раскаленный уголь...

Я ничего не понимал в этой лекции, но красивая, чисто интеллигентная фигура лектора, с тонкими чертами и необыкновенно выразительными черными глазами на бледном лице, в свою очередь завладела моим воображением. В идеальном образе моего современника наскоро производились некоторые усовершенствования по новому плану. Что, если бы через несколько лет он... вот так же, как этот молодой человек с одухотворенным лицом творца-изобретателя... Но дальнейший полет фантазии наткнулся тотчас же на явную несообразность. Через несколько лет... Точнее — через четыре года... Нет, совершенно невероятно. Такие люди, очевидно, созданы из другого теста. А мы в своей гимназии над гниющими прудами учились кое-как, без

одушевления, без искреннего стремления к знанию... Я опять казался себе таким маленьким и тусклым...

Уходил я в этот первый день из института с самым возвышенным представлением о студенчестве и с самым печальным о себе. У самого выхода я столкнулся с юношей моего возраста, очевидно тоже новичком. Он был моего роста, безусый и одет смешно, как и я. На нем была серая шинель, на которой гимназические пуговицы были спороты и заменены черными кожаными. Наши взгляды как-то значительно встретились. Казалось, мы оба, как в зеркале, увидели друг в друге свое отражение, и оно нам обоим не нравилось. «И этот тоже... студент!» — прочитал я собственную мысль в его недружелюбном взгляде.

«Нет, никогда, мне, кажется, не сделаться настоящим студентом», — думал я уныло. Гриневецкий тоже как-то померк: встречи с бывшими товарищами напомнили ему о двух напрасно ушедших годах. На улице моросил тонкий пронизывающий дождик. Утром было тепло, и я вышел без пальто, в одном летнем

костюме работы почтенного ровенского Шимка. Пиджачок букетиками промок и облип на мне, как тряпка. Я проклинал его. Мне вспомнились патетические слова Гейне о нанковых панталонах... «Молодой человек сидит и спокойно пьет кофе, а между тем в широком, отдаленном Китае растет и цветет его гибель. Там она прядется и ткется и, несмотря на высокую стену, находит дорогу к молодому человеку. Он принимает ее за пару нанковых панталон, беззаботно надевает и делается несчастным». Так и я беззаботно надел в Ровно этот костюм, и с тех пор все замечают прежде всего, что я смешон. Точно он сшит с заклятием: делать из своего обладателя мокрую курицу, мешать превращению жалкого ровенского гимназиста во взрослого и «типичного» петербургского студента..

В этот или один из ближайших дней мы с Гриневецким шли в Александровский рынок за какими-то покупками. Теплый дождь опять поливал нас на Первой роте, на Фонтанке, на Вознесенском. Я опять чувствовал себя мокрой курицей, когда навстречу нам попался Зубаревский. Я полюбил эту фигуру и

встречал его, точно родного. Он был все в том же заношенном, рыжем пальтишке. Оно тоже обмокло и тоже облипло на плечах, а с некрасиво обвисших полей его шляпенки стекали капли дождя. Но он не замечал этого. Он весь был поглощен разговором с каким-то товарищем, и оба они шли под дождем так царственно-беззаботно, точно не было ни дождя, ни шлепающих луж, ни облипших пальтишек, ни смешных промокших шляпенки. Я радостно поздоровался с ним и некоторое время с восхищением смотрел ему вслед... Ведь вот и он плохо одет и несколько не подходит к эстетическому типу студента, но, очевидно, совершенно свободен от угнетающего меня чувства. Почему это? Потому, что он совсем не думает о внешности, а думает о другом, о внутреннем, о важном... Значит, и мне нужно забыть о внешности и думать только о важном, добиваться того, что составляет лучшую сущность этой новой жизни.

Около одной лавчонки или даже, кажется, лотка Гриневецкий остановился и сказал:

— Знаешь что: купи себе технологическую фуражку.

Мы купили ее за полтинник. Торговец завернул в бумагу мою мокрую шляпу, а я надел на голову фуражку с зеленым околышем. «Не надо бы и этого», — подумал я про себя, но не устоял против соблазна: видно все-таки, что и я принадлежу к великой корпорации, а там — как кому угодно. Потом мы купили еще удобную и дешевую серую блузу, кажется, за семьдесят пять копеек. После этого я уже не помню, чтобы меня тяготил вопрос о костюме...

VII. Легкое увлечение в сторону

До начала серьезных занятий приезжая молодежь целыми стадами бродила по Петербургу. Знакомились со столицей, разыскивали товарищей, причем каждая встреча за гранью привычной жизни казалась особенно интересной и значительной... Заходили во дворы-колодцы, поднимались по лестницам, врываются в меблированные комнаты, наполняя их шумом и преувеличенной развязностью новичков, подражающих опытным старожилам. Толкались по панелям освещенных улиц, завязывали случайные знакомства, кое-где нарывались на легкие скандалы и с

гордостью рассказывали об этом друг другу...

Однажды громким стуком в двери запертого номера (в знаменитом доме Яковлева на Садовой), где жил товарищ Заруцкий, мы заставили открыть их. Заруцкий открыл, не одетый, немного сконфуженный и испуганный. Потом все дружно расхохотались: у ширмы, загораживавшей постель, стояла пара женских ботинок... Через четверть часа номерной подал самовар, принес булок, и вся компания, шумно переговариваясь, пила чай, который разливала наскоро одевшаяся случайная хозяйка с улицы...

Это была грязь и бесстыдство, но бесстыдство какое-то непосредственное, открытое, почти безгрешное. В нем не было еще рефлексии, оно скользило, не затрагивая совести. Тогда не было, или почти не было, ни так называемого «полового вопроса» в литературе, ни анкет по этому вопросу среди учащейся молодежи. Взрослые по большей части говорили с юношами об этих предметах просто, как об обычных житейских делах, а некоторые учителя совершали с только что окончившими гимназистами самые рискованные экскур-

сии. Еще недавно этим юношам нельзя было курить. Это воспрещалось гимназическими правилами. Теперь учитель либерала но протягивал юноше портсигар... Гимназическое правило исчезло. Другого в глазах «среднего мужчины» не было... И юноши спешили пользоваться свободой... Самое большее, что у нас было, — это инстинктивная стыдливость, бессознательный остаток семейных влияний...

Только впоследствии, когда в студенческую среду хлынуло так называемое «движение», оно наряду с общественной нравственностью затронуло и расшевелило смежные вопросы личной морали.

Роковой вопрос не решен, конечно, и теперь. Но он поставлен. Явился стыд, рефлексия, сомнение в праве. И это, конечно, большой шаг вперед...

.....

В один из ближайших вечеров целой компанией мы отправились в танцкласс госпожи на Марцинкевича. Это почтенное учреждение, хотя под другим названием, существует, кажется, и в настоящее время на том же ме-

сте, на углу Гороховой и Фонтанки. Подъезд его, освещенный электричеством, так же торжественно обтянут полосатым тиком.

За вход брали тогда дешево, что-то около тридцати копеек, но тщательно следили, чтобы костюмы «гостей» были приличны. Впрочем, приличие понималось довольно широко. Для студентов делалось исключение. Не допускали, помнится, только высоких сапог...

Мы пришли еще сравнительно рано. По ярко освещенным залам бродили великолепные, как мне показалось, дамы, и я был очень удивлен, когда одна из них без церемонии уселась на колени к незнакомому Гриневецкому. Это была совсем еще молоденькая блондинка, с шрамом на лице, который придавал странную оригинальность ее почти детским чертам.

Манеры у нее были точно у красиво-ласковой кошечки, она слегка картавила и без церемонии звала «красавчика студента» к себе на Большую Гребецкую.

Гости начинали съезжаться, становилось шумнее. К нам подошел и, поздоровавшись с Гриневецким, уселся рядом на стуле молодой

человек, одетый с небрежным изяществом. С Гриневецким он заговорил по-польски, с певучим варшавским акцентом. В те годы в Технологическом институте было много студентов-варшавян. В аудиториях то и дело перелегали звонкие польские фразы, выделявшиеся на фоне русского говора, как и «культурные» фигуры поляков на сером фоне русского студенчества. Они лучше одевались, и в их манерах сквозил особенный варшавский шик, пренебрежительный и щеголеватый. Подошедший к нам студент являлся даже несколько преувеличенным выражением этого варшавского типа. У него была ленивая походка, черные волосы с пробором а la Carou! красивыми кольцами спускались на лоб. Легкая полупрезрительная улыбка как будто застыла на губах, в уголке которых он держал большую сильно обкуренную сигару... Он тотчас заговорил с девушкой. Сам не сказав ни одного грубого слова, он очень комично вызывал ее на двусмысленности и даже не смеялся, а только поощрял ее с ласковым пренебрежением. От нечего делать он играл с нею, как с занятой кошкой или комнатной собачон-

кой. Но вдруг среди разговора вскинул пенсне и заинтересованно повернулся к дверям.

В зал входила новая пара. Какой-то плотный господин в штатском вел под руку молоденькую девушку. В нем можно было угадать не то крупного коммерсанта, не то видного чиновника, привыкшего властвовать и приказывать. Лысый череп, крупная нижняя челюсть, толстая красная шея, сильно нафаренные усы и выражение грубой надменности в лице придавали этой крупной банальной фигуре что-то неприятное, но вместе делали ее раздражающе заметной. Его дама была одета с бьющей в глаза роскошью. На ней было светло-розовое шелковое платье с белой меховой оторочкой кругом глубокого декольте. Прекрасное лицо полуребенка, каштановые волнистые волосы, слегка надменное выражение — все показалось мне обаятельно чистым, свежим и невинным. В груди шевельнулось что-то — смутное сходство, волнующее воспоминание. Я наклонился к Гриневецкому и сказал тихо:

— Послушай, Мирочка... Здесь, значит, бывают и порядочные женщины?

Поляк, сидевший по другую сторону Гриневецкого, поправил пенсне и комично приподнял бровь.

— Неофит? — тихо спросил он у Гриневецкого. — A to dopiero smieszny f acetus z tego rapa (какой смешной господин).

Но тотчас же, очень вежливо повернувшись прямо ко мне, сказал:

— Это, если вам угодно знать, Галька из Влодавы. Я знал ее еще в крулевстве. Галька, Галечка, Галина!

И, глядя в упор на подходившую к нам пару, он сказал, не повышая и не понижая голоса:

— Знаете, зачем она сюда явилась? Чтобы показать своего... вот этого... И чтобы вот такие бедняжки (он с презрительной бесцеремонностью взял за подбородок свою молоденькую собеседницу) завидовали ее шелковому платью... А? Что, неправду я говорю?..

— Ишь... фигурует, — с нескрываемой завистью сказала девушка...

Господин сделал вид, что не слышит. Красивая головка его дамы вскинулась еще надменнее...

И они прошли дальше, привлекая общее внимание...

В этом внимании, по-видимому, было что-то особенное, вызывавшее легкое беспокойство. Господин, поворачивая назад, что-то шепнул своей даме. Она покраснела и чуть заметно кивнула головой... По-видимому, они решили уехать...

Когда они поравнялись опять с нашими стульями, студент вынул изо рта сигару, посмотрел на нее как будто с сожалением и вдруг неожиданным движением бросил перед собой, как бы не замечая проходящих. Дама испуганно вскрикнула. Мелькнув в воздухе, сигара ударилась в приподнятый веер. Горячая зола просыпалась на обнаженное плечо и за корсаж. Дама выдернула свою руку из-под руки кавалера и побежала в уборную.

Все это сделалось так быстро, что ее кавалер не сразу сообразил, в чем дело. Он оглянулся с недоумением на смеющихся кругом гостей и потом повернулся к студенту... Молодой человек сидел как ни в чем не бывало, все в той же позе, с протянутыми вперед ногами и даже заложив руки в карманы. Госпо-

дин посмотрел на него с тупо-недоумелым бешенством... Мгновение казалось, что этот грузный человек обрушится на своего изящного некрупного противника. Но вдруг он повернулся и пошел навстречу даме, которая вышла из уборной, закрывая платком заплаканное лицо. Он подал ей руку, и они прошли по залу среди наглого хохота, свиста, циничных замечаний и ругательств... В залу вбежал полный господин во фраке, сам Марцинкевич или его управляющий, и, тревожно оглядываясь, говорил:

— Господа, господа... Пожалуйста, у нас приличное заведение... Скандалов делать нельзя... Господа, прошу покорно...

С эстрады по его знаку грянул ритурнель... Танцоры кинулись приглашать дам и занимать места. Публика отхлынула к танцующим, и через минуту в зале начался бешеный, невообразимый шабаш. Наемные канканеры сразу и, вероятно, нарочно взяли самый разнузданный темп. Взлетали кверху ноги, извивались туловища, подымались кверху и веяли в воздухе юбки. Мужчины, нарумяненные женщины, красивые девушки, почти

подростки, бешено кружились, налетали друг на друга с циническим хохотом. Хлестали по воздуху отвратительные взвизгивания, дрожало пламя ламп, звенели стеклянные подвески канделябр, оркестр скакал в исступленном бешенстве, подхлестывая исступленных людей. С лестницы входили полицейские, встреченные хохотом, свистками, мяуканием. Оскорбленный студентом господин шел вместе с ними, оглядываясь по сторонам и впиваясь в толпу гневно выпученными глазами. Между тем в соседней зале закипал новый скандал. Какой-то невзрачный господин, похожий на простого русского приказчика, выпивший и верткий, как обезьяна, кинул несколько медных монет в цилиндр высокого, прямого, как палка, господина, который одиноко фланировал по залам, держа цилиндр назад. Монеты громко звякнули, а когда господин резко повернулся, они покатились по полу. Для господина Марцинкевича выдался тревожный вечер. Опять смех, крики, свистки...

Мы, несколько новичков, инстинктивно собрались около Гриневецкого, который огля-

дывался с характерной озабоченностью в выразительно выпуклых глазах.

— Пойдем, господа... Будет огромный скандал. А этот фронт, Лазовский, черт бы его побрал, сидел с нами...

Мы торопливо спустились вниз, когда наверху появилась фигура Лазовского. Там, в залах, его разыскивали, а он стоял на площадке такой же щеголеватый и презрительно спокойный. Не торопясь, он раскуривал сигару от спички, которую ему почтительно подал официант. Закурив, он стал тихо спускаться по ступеням, между тем как швейцар торопливо снимал с вешалки его пальто.

Бесконечный дождь тихо моросил с мутного неба, закрытого мгlistым заревом фонарей. К освещенному подъезду подкатывали рысаки и извозчики. Щеголеватые господа подавали руки дамам, которые, поддерживая шлейфы, соскакивали с пролетов и быстро вбегали в переднюю. Подходили студенты, мелкие чиновники, приказчики, девушки с улицы. Все поглощались освещенным вестибюлем и подымалось на лестницу в зал, где гремела музыка, чтобы заглушить и потопить

разыгравшиеся скандалы.

Для меня на первое время все это было слишком сильно. В душе стояла какая-то муть. Наглая музыка. Обилие женщин. Их цинизм и открытая доступность. Вихрь канкана... Жуть смутного воспоминания, печаль о женском образе, застилаемая ядовитой мглой чувственных впечатлений, — все это еще кружилось в душе, как темный ил на дне омуты... Потом всего яснее и устойчивее стал выделяться из этого хаоса образ Лазовского, с его красиво-сдержанной наглостью и спокойным цинизмом. Лицо с чёрными кудрями на лбу и холодным взглядом будто вырезалось среди слякотной тьмы, и предательское воображение уже пыталось накинуть на него покров идеализирующего романтизма... Конечно, это было жестоко. В моей памяти встало на мгновение молодое женское лицо, искаженное стыдом, обидой и физической болью... Но почему он сделал это? Где-то там, у себя, он встречал эту девушку. Был влюблен... Мечтал? Расстался, мечтая? И теперь встречает ее под руку с этим наглецом, русским чиновником. Вот почему он бросил сигару. Любовь,

выродившаяся в гневное презрение. И как удивительно красиво он это сделал! Без преднамеренности, без приготовления, без размышления. Мысль как молния, и движение как молния. И что за самообладание, когда этот сильный человек повернулся к нему. Ни одного жеста, ни движения бровью. Спокойная внутренняя сила, не нуждающаяся во внешнем проявлении. Почему этот человек его не ударил? Легко мог ударить, смять, исковеркать. Но студент был уверен, что не ударит, и этой уверенностью окружил себя, точно магическим кругом...

И... нужно признаться. Это было недолго, но все же было, воображением моего современника овладел на время образ танцклассного Мефистофеля, с такой красивой небрежностью устраивающего скандалы. Разумеется, не просто скандалы, а скандалы с романической или тенденциозной подкладкой...

Мой современник стоял на раздорожье с воображением, богатым от природы и развитым преждевременным чтением. Никто еще, кажется, не обращал достаточно внимания на это влияние литературы. Своей критикой и

своими летучими образами она разрушает в поколениях душевную цельность, созданную в данных условиях. И, лишённые старой цельности, молодые души ищут другой, новой, стремятся сложиться по новому, ещё только угадываемому будущему типу. А в это время молодая душа легко порывается вслед за всякой поражающей её чужой непосредственностью и силой...

Впрочем, это маленькое отвлечение в сторону было не особенно опасно. Оно держалось на расстоянии от Семеновского моста до Малого Царскосельского проспекта. На чердачке номер 12 оно погасло. Мой современник не горд. Он не приписывает этого ни своей добродетели, ни твердости нравственных правил. Обстоятельства, в которых он начал свою столичную жизнь, уже сами по себе были неблагоприятны для мелькнувшего перед ним «типа». И среди них, кто знает, не следует ли поставить на первом плане не раз уже упомянутое искусство ровенского портного. Чем-чем, а психологией танцклассного Чайльд-Гарольда очень трудно было проникнуться, чувствуя себя в костюме такого заме-

чательного покроя...

VIII. Чердак № 12, его хозяева и жильцы

Впоследствии, когда розовый туман, застилавший мои глупые глаза, рассеялся, сменившись ощущением разочарования и безвкусицы, несколько прочных симпатичных образов все-таки остались в памяти от этого года. В числе их я храню благодарное воспоминание о нашей мансарде вообще и об ее хозяевах: Федоре Максимовиче и Мавре Максимовне Цывенках в частности.

Он был типичный николаевский солдат с характерными николаевскими усами, переходившими у самых ушей в бакены. Когда, собираясь на ежедневную службу в «ланбарт» на Казанской, он надевал свой долгополый мундир с тугим воротником, то лицо его краснело, а усы щетинились необыкновенно сердито, даже грозно. Но это впечатление было обманчиво. В сущности, это был молчаливый добряк, совершенно подчинившийся своей супруге.

Мавра Максимовна была «из шпитонок». В раннем детстве, из воспитательного дома она была отдана в финскую деревню, в которой

и усвоила на всю жизнь характерный русско-финский жаргон. Федор Максимович у нее каждый день уходила в должность, а кошка лакал молоко и выскакивал на крышу. Это придавало ее речи наивно-детский оттенок, да и вся она была похожа на толстого, крупного ребенка. Человек служивый и пенсионер, Федор Максимович, будучи уже в почтенном возрасте, взял безродную сиротку «за красоту», и жизнь их текла необыкновенно мирно. Он называл ее не иначе как Мавра Максимовна, и обращался на *вы*, а она звала его попросту Цывенко или «мой Цывенко» и говорила ему *ты*. Он с утра наряжался, принимал строгий вид и уходил на службу, а она приступала к стряпне. Стряпня, впрочем, не занимала много времени: Мавра Максимовна раза два в неделю варила в большом горшке кусок мяса с костью, и этот навар служил на несколько дней, превращаясь то в щи, то в суп, то в лапшовник. От него в квартире стоял густой характерный запах капусты и свечного сала. Затем в маленькой комнатке хозяев начинала стучать машинка. И стучала долго, ровно, с короткими перерывами, в течение

целых часов. Это Мавра Максимовна прирабатывала вдобавок к пенсии и жалованью мужа шитьем больничных балахонов по 6 копеек за штуку. В середине дня по всей квартире разносился запах цикорного кофе; заходила какая-нибудь соседка, чтобы за чашкой сообщить последние новости нашей лестницы. Потом опять начинался стук машинки. Часов в шесть Мавра Максимовна откладывала работу и собирала обед в той же комнате. Когда раздавался звонок, ее круглое лицо озарялось такой радостью, точно ее Цывенко возвращался из опасного далекого путешествия. Они обедали, отдыхали полчаса за пологом, а потом садились за работу уже вместе. Она продолжала сметывать балахоны, а он, вооружив вздернутый кверху нос роговыми очками, ковырял толстой иглой штаны из необыкновенно грубого богаделенного сукна... Потом пили чай и играли в дурачки. В это только время мы и слышали иногда голос Цывенка: это бывало какое-то радостное курлыканье, когда ему удавалось выиграть. Но он больше проигрывал, и потому чаще слышались звонкие, наивно-радостные восклицания Мавры

Максимовны. Мы смеялись, что Цывенко все еще влюблен в свою моложавую толстуху. Фактически он подчинялся ей вполне и беспрекословно, как послушный ребенок, но она с бессознательным женским лукавством делала вид, что он ее грозный повелитель и что она его боится.

— Вот, ужо... как прикажет мой Цывенко, — говаривала она совершенно серьезно...

Детей у них не было, и это являлось постоянным источником общей их печали. Неизрасходованный запас материнства светился на лице Мавры Максимовны трогательным выражением жалости и грусти. Она изливала его на мужа, на кота Ваську и даже на нас, ее случайных жильцов. Порой у Мавры Максимовны бывали заплаканы глаза, а у Федора Максимовича сдвигались необыкновенно длинные и густые брови. Мы знали, что это значит: мы долго не платим денег за квартиру, и супруг-повелитель находил, что нам надо бы отказать. Зато когда при первой возможности мы уплачивали все или хоть часть долга, лицо Мавры Максимовны озарялось гордым торжеством, а Цывенко несколько

дней сконфуженно и виновато косил глаза.

Ход в нашу комнату был через кухню и маленькую спальню хозяев, служившую и столовой, и мастерской, и гостиной. Ложились они рано, а мы часто приходили и уходили поздно. На звонок подымался Федор Максимович. Кажется, даже не давая себе труда проснуться, он отодвигал задвижку входных дверей и ложился опять. Пробравшись через темную и тесно заставленную кухонку, мы проходили затем мимо спящих супругов. У большого киота теплилась лампадка, кидая свет на широкое супружеское ложе, задернутое занавеской, так что были видны только головы. С краю виднелось щетинистое лицо Цывенка, дальше улыбалось во сне круглое, как луна, лицо Мавры Максимовны... И мне всегда казалось, что это действительно лежат два ребенка, чистые сердцем и совершенно чуждые шумно-грохочущей и сложной жизни большого города.

Иной раз входная дверь в кухонку при открывании оказывала некоторое сопротивление. Приходилось открывать ее с усилием и постепенно, чтобы не нанести увечья еще од-

ному жильцу Цывенков. Это был «художник» Кузьма Иванович, тоже из «шпитонцев», существо очень жалкое, тщедушное, с разбитой грудью и слезящимися глазами. Он жил, собственно, на большом сундуке, помещавшемся между печкой и дверью, и иногда раскидавшись, упирался ногами в дверь. На сундуке он ночью спал, а днем устраивал мастерскую. Работало состояла в раскрашивании ламповых абажуров. Для этого он разводил на блюдечке акварельные краски, брал левой рукой абажур и механически поворачивал его около оси. А правая рука так же механически кидала в разных местах мазки кисти. Так он последовательно брал на кисть розовую, красную, потом зеленую и коричневую краски, и в несколько оборотов на абажуре из беспорядочных пятен образовывался красивый веночек. Кузьма Иванович отодвигал абажур, смотрел на него слезящимися слабеющими глазами, и на его желтом лице мелькало мгновенное выражение художественного удовлетворения... Затем он брал другой абажур и задумывался: какой теперь пустить колер и какие вывести цветы — опять розу или пу-

стить незабудочек с фиалкой...

Когда я порой следил за его работой и удивлялся ее быстроте и точности, на лице Кузьмы Ивановича являлась улыбка тихого довольства.

— Нет... что же-с, помилуйте, — говорил он скромно, — так ли еще мы работали-с?.. Глаза слабеют-с. Слеза бьет.

Он был тоже из «шпитонцев», и Мавре Максимовне приходился «молочным братом», а такое братство у этого своеобразного петербургского сословия заменяет всякие иные степени родства. Жилец он, конечно, был не особенно выгодный, и его держали именно «по-родственному». Считалось, что он платит только «за угол», но Мавра Максимовна понемногу прикармливала его, как будто тайно от Цывенка. Последний делал вид, что этого не замечает.

Иной раз в праздник Цывенки устраивали игру «в короли», в которой порой участвовал я или Васька Веселитский. Приглашали также и Кузьму Ивановича. Он покорно выползал из своего угла с видом человека, стыдящегося собственного существования, запа-

хивался, извинялся, брал дрожащими руками карты. Но игра, видимо, доставляла ему только страдание. Особенно когда ему начинало везти... Однажды, сделавшись «королем», он сконфузился так сильно и мучительно, что Мавра Максимовна его пожалела:

— Эх ты, бедовая... Ну иди, иди, бог с тобой: король! Пропустите его, Каролин Иванович. Видишь: стыдится она.

Каролином Ивановичем добрая женщина прозвала меня после напрасных попыток заучить мое трудное имя и отчество... Я посторонился, и злополучный «король» проскользнул в свой уголок...

— А какой человек была! — с бесцеремонной жалостью произнесла Мавра Максимовна. — Все водочка-матушка... Все он, проклятый... Ну давайте теперь в свои козыри... Никуда ты, Кузя, не годишься. Даже в карты играть.

Мне этот бедняга казался интересным. От него веяло Достоевским. Мне казалось, что если бы Кузьму Ивановича вызвать на откровенность, то он мог бы рассказать что-то глубоко печальное и значительное. Но он сооб-

щал только отрывочные сведения, лишённые всякой связи и значения...

— А у нас, — говорил он, поворачивая в руках абажур, — на такой-то мануфактуре мастер был... Так у него, позвольте сказать, нос был красный... Вот до какой степени: кармин с баканом-с... Ей-богу, не вру-с... хе-хе-хе... с добавлением берлинской лазури...

Он начинал тихо смеяться, но даже смеяться не умел. Смех переходил в хрипоту и кашель...

— Эх, Кузя, Кузя, — говорила иногда Мавра Максимовна, — где пропал три дня?

— На Петербургской стороне-с, — покорно отвечал Кузя, откашлявшись.

— В части небось ночевал?

— В части-с, Мавра Максимовна. На другой день отпустили-с... Меня потому что знают-с...

Однажды, придя с лекций, я застал Кузьму Ивановича в необычном настроении. Он был «выпивши», держался развязно и с каким-то особенным самодовольством. Говорил много, не кашляя и не запахивая сюртучишка, хватая своими талантами и успехами. Цывенка

снисходительно хлопал по плечу, но не скрывал от него, что он «Мавруше не пара». Около Мавры Максимовны ходил петушком, подбоченясь и многозначительно подмигивая. Цывенко немного хмурился, но не говорил ничего. Мавра Максимовна покатывалась от смеха...

Вечером того же дня я возвращался от Сучкова. Было темно и ненастно. Фонари стояли в мглистых нимбах, лужи шевелились на свету, как живые, от капель дождя. Самой серединой нашей улицы шел пьяный человек, пел какую-то финскую песню... Я узнал в нем нашего Кузьму Ивановича...

Сзади послышался грохот колес. Кучер рывкнул «берегись», но пьяненький Кузьма Иванович только откачнулся и, став в позу, громко на всю улицу продекламировал:

*Дур-рак едет на скотине —
Умница пешком идет...*

«Дурак, ехавший на скотине», тотчас соскочил с пролетки и, схватив художника за шиворот, крикнул городского. Напрасно я и еще какой-то проходивший студент просили

этого господина отпустить беднягу, указывая, что ведь он пьян и не знал, кого оскорбляет. Господин не отвечал, даже не глядел на нас. От часовенки бежал, придерживая саблю, полицейский, явились два дворника.

Господин дал свою карточку (при виде которой полицейский вытянулся, точно в столбняке) и сел на лихача. Скоро грохот колес затих в конце переулка, а Кузьму Ивановича повлекли, несмотря на наше заступничество, в участок.

С этих пор художника мы уже более не видели... Мавра Максимовна плакала и посылала Цывенка за справками... После многих хлопот и вечерних хождений по разным местам Цывенко принес печальное известие: художник от неизвестной причины в участке умер и уже похоронен в безыменной могиле на Волковом...

— Били его, верно, не иначе, — всхлипывая, говорила Мавра Максимовна, — они ведь, полицейские, известно, дураки... непонимающие... А ему, Кузе, много ли и надо. Слабая была... чисто цыпленок...

И она по-детски утирала слезы оборотны-

ми сторонами своих пухлых рук... Цывенко снес в магазин несколько оставшихся абажуров, и на полученные деньги супруги заказали панихиду в соседней церкви Мирония на Обводном.

«Угол» опустел. Но тень художника, казалось, еще некоторое время витала в квартирке, и по вечерам я так же осторожно открывал дверь, чтобы не задеть Кузьму Ивановича на его сундуке... К моим воспоминаниям о нем присоединялось что-то вроде угрызений совести... Я не сделал чего-то, что нужно было сделать. Перебирая с Веселитским весь этот эпизод, мы пришли к заключению, что ничего я сделать не мог. Но что-то все-таки оставалось... Чего-то хотелось задним числом. В воображении рисовалась кучка молодежи, вроде тех киевских студентов, громивших полицию, о которых ходили легендарные рассказы еще у нас, в гимназии. Хотелось силы... Свистки, тревога, свалка, заступничество, победа... И в этом опять участвует знакомая фигура моего современника, усовершенствованная еще в новом эк а н ре...

Была в нашей квартирке, кроме злополуч-

ного художника, и еще одна тень, принимавшая для меня живые, почти осязаемые формы. Года за два до нас половину нашей комнаты за перегородкой занимал какой-то рабочий. От него Цывенкам осталась клетка с канарейкой. Канарейка у них издохла, а клетка висела над окном, и каждый раз, когда Мавра Максимовна замечала ее, она сообщала что-нибудь о бывшем жильце...

— Чюдачок тоже была, — говорила она с тихой улыбкой, как и при воспоминании о Кузе. — Ну, не пьяница. Нет. Капли в рот не брала... И не буюнила она, как покойник Кузя, царство небесное... Только и знала: придет с работы, сейчас кинареечку кормить... Клеточку чистить... — И вот чудное дело, Каролин Иваныч, как эта кинареечка его знал: свистнет он, дверку откроет, она ему на плечо... Чивик, чивик... Через книжки пропала она...

— Как через книжки, Мавра Максимовна?

— Книжки много читал.

— Так что же. С ума, что ли, сошел?

— Не-ет... Глупый я баба. Не умею рассказать тебе. Цывенко у меня умный, на войне была... А тоже этого дела не понимает: за что

пропала наш Павла Карпович... А только верно, что за книжки.

— Почему же вы так думаете, Мавра Максимовна? Ведь вот и у нас книжки.

— То у вас. Ваша служба такой. Вы студенты. А его служба: работал бы на заводе, жалование хорошее получал... Пришел домой, выспался... Как другие из ихнего брата. Ну, правда: пьют они, заводские все, шибко. Ругаются, дерутся...

— Вот видите. Разве это лучше книжек?

— Поди ты... Да... Читала все... Товарищей таких же нашел. Придут, начнут читать. Потом спорить, кричать... «Что вы, я им говорю, кричите все вдруг? Нехорошо это. Еще драка выйдет...» Смеются... «Не выйдет у нас драка... Мы это об том, чтобы всем жить в согласии... И чтобы, говорит, не было богатых и бедных. Всех, говорит, надо поравнять...» — «Эко! я ей говорю: умные вы. Как же вы поравняете? Это вот у моего Цывенка есть шуба хорошая. В ланбарте по случаю куплена, а все три красных отдана. Легкое дело! А у тебя вон пальтишка, ветром подбитая. Ты у моего Цывенка шубу-то и отнимешь?..» — «Зачем, говорит,

отнимать, когда у всех шубы будут... Кому надо — бери...» — «Откуль возьмете вы?» — «На казенный счет, говорит...» — «Да вы, я говорю, сейчас все растащите...»

Она заливается таким веселым смехом, что на щеках у нее проступают ямки, и все грузное тело ходит ходуном...

— Ну а он что же? — спрашиваю я, глубоко заинтересованный простодушным рассказом.

— Да что ж она... Ничего не понимает, как все одно ребенок... «Когда все будет обчее, говорит, никто воровать не станет. Зачем свое воровать?..» Вот видишь ты: свое! А откуль оно свое-то возьметса у вас?.. Читала, читала и дочитался...

Она понижает голос и говорит с выражением наивного испуга:

— Взяли его на заводе... Домой зайти не дозволили. Пришли сюда, на квартиру. Испугался я до смерти. Цывенко на службу ушла. Одна я... Рылись, рылись, все в книжки смотрели... Одежа, брюки, сапоги двое — это им не надо, а все книжки смотрел... Так и не видели мы больше нашего Павлушу. Посылала я Цывенку своего: поди, Цывенко, опроси... Потом

уж сама не рада...

— Что же — сказали?

— Что вы, говорят, господин Цывенко... верный слуга, а об таких людях интересуется... Такого человека надо в каменный столб замуровать, раз в неделю спрашивать: живой ли еще... Вот, Каролин Иванович, за книжки-то что бывает...

Этот простодушный рассказ произвел на меня яркое впечатление. Я, конечно, знал кое-что об учениях утопистов, но отрывочно и неточно. Формулы Фурье и Сен-Симона были только формулы, которые я путал в памяти. Но вот здесь, в этой самой комнате, жил простой рабочий, который обсуждал эти же вопросы с такими же простыми рабочими. Значит, это не в одних книжках.

Мавра Максимовна смеется по глупости, а в сущности, неведомый рабочий-философ прав. Это так просто: если бы сделать все богатства общими, конечно, никто бы воровать не стал... И эти вопросы обсуждаются уже даже в среде рабочих...

Я, конечно, не верил, что его замуровали живьем... Сослали куда-нибудь... Ну что ж...

Где-нибудь в ссылке он, может быть, в эту самую минуту обсуждает те же вопросы... Как жаль, что я не застал его здесь...

Но — все это еще впереди, и мне предстоит еще много подобных встреч... Ведь я — в Петербурге!

Часть вторая

Студенческие годы

I. Богема

Читатель уже, вероятно, заметил из предыдущего, что мой современник был особенно восприимчив к воздействию литературных мотивов и типов. Жизнь маленького городишка, будничная, однообразная, не подходившая под литературные категории, казалась ему чем-то случайным, «не настоящим». Зато все имевшее отношение к миру, освещаемому литературой, облекалось в его глазах несколько фантастическим и потому заманчивым светом.

Розовый туман продолжал завлакивать мои первые петербургские впечатления. Мне здесь нравилось все — даже петербургское

небо, потому что я заранее знал его по описаниям, даже скучные кирпичные стены, загромождавшие это небо, потому что они были знакомы по Достоевскому... Мне нравилась даже необеспеченность и перспектива голода... Это ведь тоже встречается в описаниях студенческой жизни, а я глядел на жизнь сквозь призму литературы.

Читатель помнит, вероятно, эффектную фигуру Теодора Негри, артиста-декламатора, который на пути к Петербургу сумел отчеканить фразу: «Что делают?.. грра-бят!» — так выразительно и сильно, что кошелек моего современника сразу значительно облегчился в его пользу. Этот эпизод явился как бы некоторым предзнаменованием: реальная жизнь по-своему отвечала на мои литературные представления о ней, и мне, конечно, предстояли разочарования...

Наша маленькая компания, поселившаяся в мансарде № 4 по Малому Царскосельскому проспекту, составила окончательно из трех человек: я, Гриневецкий и Веселитский. Прежний их сожитель, Никулин, счел более благоразумным от нас отделиться, продол-

жая, впрочем, часто посещать наш чердачок, а мы втроем составили нечто вроде дружеской артели «нищих студентов».

В отношении занятий вначале мы с Гриневецким были одушевлены самыми лучшими намерениями и усердно посещали лекции. Во мне что-то дрогнуло, когда на кафедре перед огромной затихшей аудиторией, среди которой затерялась и моя скромная фигура, появился в первый раз человек в черном сюртуке. «Профессор, профессор...» Это был Макаров, читавший начертательную геометрию. Небольшая сухощавая фигура, с тонким нервным лицом и сосредоточенным взглядом. Читал он стоя, к доске подходил лишь в случаях, когда требовался более или менее сложный чертеж. По большей части он довольствовался движением рук в пространстве. Большим и указательным пальцем левой руки он держал как бы крепко зажатую «математическую точку», а правой проводил от нее мысленные линии, проектируя их на воображаемые плоскости. О нем говорили, будто он вымерил циркулем фигуру своей жены и «по эшюрам» скроил ей бальное платье, которое

первые петербургские портные признали образцовым произведением. Этот анекдот меня заинтересовал. Если, думал я, посредством этих проекций и вычислений можно воссоздать такую тонкую вещь, как изящная фигура прекрасной женщины, то, очевидно, математические науки не так уж сухи и отвлечены, как казались мне в гимназии, и я жадно следил за тонкими пальцами Макарова и за полетами воображаемой точки. Казалось, я вижу в воздухе даже ее следы, как тончайшие паутинки...

Уже из этого читатель может заключить, что «технология» не была моим призванием. Чистая математика давалась мне с трудом, и мне приходилось принуждать себя к вниманию. Зато с истинным увлечением я посещал чертежную... Здесь, рядом со мною, на том же столе положил свою доску юноша в сером пальто с черными пуговицами, которого я сразу невзлюбил за то, что он показался мне моим собственным отражением — такой же волосатый, и такой же, казалось мне, малоинтересный. Обнаружилась еще одна черта сходства; оба мы чертили усердно, быстро и

красиво, и к обоим с одинаковым удовольствием подходил благообразный седой преподаватель черчения.

Как бы то ни было, пока все нравилось мне и в институте, и на нашем чердаке, и я долго мирился даже с голоданием. День мы с Гриневецким начинали лекциями, добросовестно следя и записывая. На второй и третьей перемене мы сходили в швейцарскую, куда к этому времени приносили почту. Мелькала слабая надежда: нет ли кому повестки? Но швейцар, толстый и равнодушный, произносил неизменно:

— Вам, господин Гриневецкий, ничего... И вам то-же-с...

— Может, Веселитскому?

— Тоже ничего-с.

Гриневецкий вздыхал, шел в раздевальную и с задумчивым видом натягивал пальто. Забота о дневном пропитании как-то просто, точно по уговору, легла на его плечи. У него были обширные знакомства в известной части студенчества. Все это был народ несколько беспечный относительно науки и собственного будущего, сменявший хронические

голодовки широким размахом хоть раз в месяц, при получении из дому денег. Многих из этих «отличных малых» не знали в лицо институтские швейцары, но зато любой маркер в пределах Семеновского и Измайловского полков мог дать точнейшие сведения, кто из них, где и с кем кутит в данное время.

— Господин Симанский сыграли у нас двенадцать партий, пили пиво, разорвали сукно... Ныне они при деньгах... Отправились отсюда в «Белую лебедь» с компанией...

Гриневецкий меланхолически шагал в «Белую лебедь», где его появление встречалось шумным восторгом. Его обнимали, угощали пивом, которого он не любил, и предлагали сыграть партию на бильярде. Он отвечал на приветствия, обменивался остротами, ходил вокруг бильярда с длинным кием на плече и высматривал своими красивыми глазами навывкате, какого шара следует уложить в среднюю или угол. Высокий, красивый, с беспечно заломленной технологической фуражкой, он имел вид беззаботного бурша. Но мысль о товарищах, голодающих в мансарде на Малом Царскосельском проспекте, ни на

минуту не покидала его. Какие бы заманчивые перспективы ни предлагали ему в кутящей компании, он все отклонял самым решительным образом, брал займы два-три двугривенных и усталыми длинными ногами шагал на наш чердачок, где в сумерках мы с Веселитским томились в голодном ожидании. Мы уже знали его звонок. Он входил в комнату, снимал плед и молча кидал на стол монету. Лицо у него было усталое и недовольное: еще ушел бестолковый день, еще пропало несколько лекций, а «новая жизнь», которую он должен непременно начать, отодвигалась вдаль. Болели ноги от ходьбы по трактирам и кружения вокруг бильярда. Выпито несколько стаканов пива, но голоден он был так же, как и мы.

Я весело вскакивал с кровати, накидывал плед и бежал в знакомую колбасную на Клинском проспекте.

Здесь, уже не спрашивая, мне отвечивали какой-то сомнительной колбасы с чесноком на четырнадцать копеек. Мы подозревали, что она делается из конины и потому дешевле всех остальных сортов. Но это нас не сму-

цало. На шесть копеек я брал в соседней пекарне четыре фунта самого черного кислого хлеба. Это был наш обычный обед. Если что оставалось от Мирочкиной добычи, то на остаток мы покупали щепотку скверного лавочного чаю с запахом веника и четвертку сахара, который употребляли, конечно, вприкуску. Бели перепадал случайный заработок в виде, например, переписки лекций и у нас заводилось несколько рублей, режим все-таки не менялся. Отдавали два-три рубля за квартиру, остальное уходило на товарищескую взаимность. Кто-нибудь из недавних кредиторов Гриневецкого забегал на наш чердачок, озабоченно оглядывался и говорил:

— Здравствуйте, господа. А где же Гриневецкий? Нету? А, черт возьми! Понимаете: второй день не обедаю... Ну, прощайте.

И у Мирочки к повседневной заботе о нашей маленькой артели присоединялась новая забота: он принимал экстренные меры, пускал в ход порой самые неожиданные финансовые комбинации, приводил недавних богачей к себе, поил лавочным чаем, кормил четырнадцатикопеечной колбасой и порой

даже, для утешения в горестях, ухитрялся еще свести бедствующим в «Белую лебедь». Это был небольшой деревянный трактирчик в соседнем с нами безымянном переулке — заведение самого скромного вида, с измызганными обоями, насквозь пропахшее пивом. Один бильярд помещался в мезонине. Сукно его, многократно разорванное и тщательно заштопанное, придавало ему вид уважающей себя «опрятной бедности».

Все это вначале казалось мне интересным: походило на жизнь «студенческой богемы»... Но... нас начинало втягивать и кружить особое течение студенческой жизни. В этой добродушной компании всегда легче было «сыграть партию» и выпить пива, чем пообедать или достать лекции. Про каждого из участников с одинаковым правом можно было сказать, что его «увлекают дурные товарищи». Иванов радостно врывался к Сидорову как раз в такую минуту, когда тот с серьезными намерениями раскрывал записки по механике или химии. Оказывалось, что «старики» прислали наконец Иванову деньги и потому вполне своевременно идти в «Золотой якорь».

В свою очередь, Сидоров звал туда же Иванова как раз в ту минуту, когда тот решился «начать новую жизнь». Никто тут друг с другом строго не считался, угощал тот, кто в данную минуту был при деньгах... Это был истинный коммунизм веселого безделья.

В конце концов, кто находил силы, тот после года или двух с ужасом вырывался из этого заколдованного круга, переезжал в другую часть города, переводился в другое заведение. За иными приезжали из провинции родители и увозили сынков в Москву, Киев или Варшаву, только бы подальше от «Золотого якоря», «Белой лебеди» и превосходных товарищей. Кто не находил для этого силы или у кого не было провидения в виде заботливых родителей, тот кружился до конца, порой очень печального...

Неудобства этого строя жизни я стал чувствовать лишь постепенно. Нужно было время, чтобы розовый туман рассеялся... А когда это случилось, печальная истина выступила ясно: год был потерян...

II. Мой идеальный друг

Но пока все эти разочарования были еще впереди, а сейчас ново и прекрасно в моей жизни было то, что я студент, хотя и не «настоящий»... В моем воображении роились неясные образы... Среди них, понятно, первое место занимал идеальный образ «настоящего студента»... Я жадно вглядывался в кипучую молодую среду.

В первом томе я уже говорил о близком моем товарище Сучкове... Он уехал в Петербург годом раньше меня, и я ждал, что этот год произведет в нем огромную перемену... Но этого не оказалось... Он был тот же добрый мальчик, которого я просто любил с детства. Гриневецкий был старше нас обоих и в Петербурге жил уже третий год. С своей эффектной наружностью и пледом он показался мне сначала настоящим буршем. Скоро, однако, я разглядел в нем знакомые черты нашего «ровенца» и тоже привязался к нему, но без иллюзий, попросту, так сказать, «на равной ноге».

Еще меньше импонировал мне Ардалион Никулин... Он держал себя важно и считал себя знатоком философии, но все движение че-

ловческой мысли представлялось ему в довольно своеобразном виде. Каждый последующий мыслитель заушал и ниспровергал всех предыдущих, и в этом своеобразном спорте для Ардалиона заключалась вся история философии и литературы... Я как-то упомянул о Белинском, Ардалион только фыркнул... Что такое Белинский? Он преклонялся перед Пушкиным. Но Писарев вот как разделал Пушкина... По башке, и к черту (он говорил «пы башке»). Этим самым он ниспроверг и Белинского. Долгое время Ардалион считал величайшим философом Куно Фишера. Но настал день, когда он принес в нашу мансарду поразительное известие: явился новый мыслитель, немец Иоганн Шерр, написавший «Комедию всемирной истории».

— Понимаете, все эти основатели религий, реформаторы, благодетели человечества, революционеры, ученые, философы... Все, понимаете, — комедианты, больше ничего...

— А как же Куно Фишер? — спросил кто-то лукаво...

— Да что там!.. Самого Куно Фишера пы башке!.. И он сделал выразительный жест.

Из всей нашей ближайшей компании один Василий Иванович Веселитский продолжал занимать мое воображение. Все в нем мне нравилось и импонировало: длинные волосы, острая бородка, обрамлявшая полные щеки, чуть заметная улыбка превосходства, подергивавшая под тонкими усами красивые полные губы, и особенно молчаливая сдержанность, полная, как мне казалось, особенно глубокого смысла. Я уже говорил, как он сосредоточенно и углубленно штудировал статистическую часть календаря Гоппе параллельно с уложением о наказаниях. Однажды, в первый месяц нашего сожителства, возвратившись домой, мы о Гриневецким и Никулиным застали Веселитского склонившимся над книгой. Сквозь опустившиеся густые волосы проходил дым папиросы, но Василий Иванович был так погружен в чтение, что не слышал, как мы вошли... Будь я художник, я непременно попытался бы взять эту великолепную фигуру моделью для картины «Занимающийся студент». Но Ардалион прыснул, ударил себя об полу и сказал с сильным смехом:

— Васька!.. Да ведь он, братцы, ей-богу, дрыхнет... И папиросу не потушил... Васька, сторишь, смотри!..

Веселитский поднял голову, посмотрел на него с видом презрительного спокойствия, а я решил, что Ардалион просто циник, не способный понять Веселитского...

И я немного гордился, что я-то его понимаю.

Петербургские сумерки... Мелкий дождик или туман с моря застилает куполы церквей, расплзается по улицам, поглощая тусклые огоньки фонарей. Я быстро бегу из института или из Публичной библиотеки, куда устал усердно ходить с некоторых пор, совершенно забываясь под шипение газа и шелест переворачиваемых страниц... Когда закрывали библиотеку, я отправлялся домой, меряя быстрыми шагами Садовую, Обуховский и Царско-сельский. Вагон конно-железной дороги или дребезжащая щапинская каретка были для нас недоступной роскошью. Шел я быстро и одним духом взлетал по грязной и вонючей лестнице... Дверь, обитая черной клеенкой. Тусклый фонарик освещает медную дощечку

с надписью «Федор Максимович Цывенко». Я дома. В нашей комнате темно, Мирочки нет. Веселитский из экономии не зажигает огня. В темной комнате стоит тихий рокот гитары и светятся два кошачьих глаза. Кот Мавры Максимовны очень любит музыку. Веселитский наигрывает персидский марш, арию из «Травиаты», какую-нибудь заунывную волжскую песню. Из-за стены несется приглушенный говор и пьяное пение. В соседней квартире поселился недавно студент-костромич Ванька Рогов, товарищ Веселитского. Он интересен тем, что состоит корректором типографии «Русского мира», газеты Комарова и Черняева. Однажды, зайдя к нему, я увидел тайну изготовления книги: Ванька Рогов, рябой, в красной косоворотке и очках, над корректурным листом, казался мне чуть не Гутенбергом. Каждые две недели, в дни получения жалованья, у него происходили пирушки — шум, крики, пьяные песни. Однажды Веселитский вернулся оттуда несколько помятый. Заметив мой вопросительный и удивленный взгляд, он улыбнулся и сказал:

— Пропадают ребята... Обратился с словом

убеждения. — Он опять улыбнулся и махнул рукой. — Куда тут!.. Чуть шею не наkostenяли... Главное дело, Пашку мне жалко, Горицкого... Звезда нашей семинарии... Гениальная, брат, голова пропадает...

Он ложился рядом со мной на постели и начинал рассказывать о нравах духовной среды, о гибнущих силах... Я слушал с затаенным дыханием: все это для меня ново, и все из литературы — отголоски «Бурсы». Печаль Васьки о Пашке Горицком еще глубже привязывает меня к моему сожителю и другу.

III. Девушка Настя. — Идеальный друг падает с пьедестала

На третий, кажется, месяц Василий Иванович разбогател. Ему прислали, во-первых, совершенно новую черную пару, сшитую костромским портным, и несколько пар белья, а через несколько дней толстый швейцар Технологического института с благосклонной улыбкой подал Гриневецкому повестку:

— Василию Ивановичу Веселитскому. Возьмете?

Лицо Мирочки просияло — повестка была на семьдесят пять рублей, целое богатство!

Наша мансарда точно просветлела. В последнее время Мавра Максимовна часто плакала. Мы задолжали за квартиру, и между супругами происходила драма: Цывенко опять настаивал на строгих мерах, а доброй женщине было жалко прогонять нашу бедствующую компанию. Теперь Василий Иванович стал сразу героем дня. Узнав об этом, Ардалион фыркнул по-своему и сказал:

— Ну, братцы, теперь смотрите... Идите кто-нибудь с ним в почтамт... А то стреканет к приятелю на Бронницкую — только его и видели. Я его знаю...

Веселитский ответил молчаливо-презрительным взглядом, а во мне закипело прямо негодование. На следующее утро, когда Гриневецкий заговорил об этом предостережении Никулина, я восстал против недоверия к товарищу с таким негодованием, что Мирочка, хотя и с колебанием, уступил. Василий Иванович, торжественно облачившись в новую черную пару, отправился в почтамт один, унося с собой наше доверие и наши надежды. Мирочка ушел в институт, а я на этот раз остался дома за чтением Флеровского,

принесенного мне Зубаревским.

Я просидел, таким образом, часа полтора, когда раздался звонок. Но вместо Василия Ивановича Мавра Максимовна впустила в комнату незнакомую мне особу женского пола. Это была девушка лет около тридцати, с очень живыми черными глазами и заметными усиками. Одета она была с некоторым щегольством профессиональной модистки, и манеры у нее были очень бойкие. Оглядев комнату, она сказала:

— Что? Еще не пришел?

— Кого вам угодно? — спросил я, сразу сконфузившись.

Она сняла шляпу, положила ее на стол, заперла нашу дверь перед самым носом заинтересованной Мавры Максимовны и уселась бесцеремонно на стул.

— Мне Василия Ивановича... Я подожду...

В нашей комнате наступило молчание. Я старался читать, но это удавалось мне плохо. Все время я чувствовал на себе взгляд черных бойких глаз незнакомки. Самая тишина комнаты меня томила. Тикали часы, из кухни неся стук горшков и возня хозяйки.

— Ах ты господи, тоска какая, — сказала вдруг незнакомка. Я густо покраснел. Я почувствовал в этом восклицании упрек: если бы я был «настоящим студентом», а не мальчиком, то сумел бы занять гостью, и нам обоим было бы интересно... Но я не знал, что сказать, и краска заливала мое лицо.

Вдруг девушка поднялась, прошла легкими шагами через комнату, и я ощутил с изумлением и испугом, что ее руки ерошат мои волосы, а колени касаются моих колен.

— Какой кудрявенький, — сказала она. — Мой Знаменский такой же был. Я — Настя. Слыхали про меня небось. Меня технологи знают... Да что вы, так все и будете читать?

И, взяв у меня из рук книгу, она швырнула ее на кушетку.

— Давайте разговаривать! Да вы не робейте. Что это у вас... Карандаш и бумага? Хорошо. Я вам сейчас напишу записку. Я ведь тоже умею писать. Недаром со студентом четыре года жила.

Она взяла карандаш, помуслила его, придвинула к себе бумагу и наклонилась над ней, забавно сморщив свои густые черные

брови.

Я ранее слышал кое-что про эту Настю. Она жила со студентом Знаменским на правах «свободной любви». В прошлом году Знаменский окончил курс, получил место и уехал, бросив Настю так же беззаботно, как и сошелся с ней. Говорили, что она теперь свободна, и многие не прочь были занять место Знаменского, тем более что Настя ему «почти ничего не стоила». Она была прекрасная работница-портниха, и они жили с Знаменским по-товарищески. Теперь эта интересная особа сидела рядом, комично наморщив брови, и писала мне какую-то записку...

Я был, конечно, заинтересован... Но вот после значительных усилий девушка кончила и протянула листок, устремив на меня лукавый взгляд живых черных глаз.

Я взял и прямо оторопел: на листке неровным неумелым почерком, почти каракулями, но все-таки довольно разборчиво была написана откровенно скабрёзная фраза. Очевидно, за четыре года беспечный студент только этому и постарался выучить свою сожительницу... Это уже совершенно не соответствовало

моим литературным представлениям, и вид у меня был, вероятно, очень глупый. Настя захохотала, откинув голову, вырвала из моих рук листок, разорвала его и бросила в угол, сказав серьезно:

— Прочитает еще кто-нибудь, нехорошо...

В это время опять раздался звонок, и в комнату вошел Гриневецкий. Настя свободно поздоровалась с ним и сказала:

— Здравствуйте! Я вас знаю, вы Гриневецкий. Я пришла к Василию Ивановичу. Мы встретились с ним у Тарасовского переулка. Он обещал одолжить мне денег... Срок за квартиру, а у меня нет... Как вы думаете — не обманет?

Гриневецкий с озабоченным видом почесал в затылке.

— В почтамте давно уже выдача кончилась, — сказал он. — А его что-то нет...

Новый звонок. Вошли Ардалион, Сучков и сожитель Сучкова — Кулешевич, молодой человек, служивший на Варшавской железной дороге. Узнав, что Васьки нет, Ардалион так и покатился:

— Эх вы! Головы с мозгом! Отпустили од-

ного. Бол-ва-ны. Дубье стоеросовое. А все, верно, этот птенец зеленый...

Он грубо смазал меня рукой по лицу.

— Ну, да авось ничего! Я знаю, где его искать... На Бронницкой, у приятеля-чиновника... Пойдем, что ли, со мной.

И они все ушли, а я остался опять с Настей. Прошло около часу томительного ожидания. Неужели Ардалион окажется прав? Не может быть, думал я... Вдруг опять раздался звонок, и в нашу комнату ввалилась шумная ватага. Впереди, подталкиваемый Ардалионом, шел Василий Иванович. Он, видимо, был сконфужен и отчасти пьян. Под мышками и в карманах его пальто виднелись бутылки и свертки.

— Получите вот, — хохотал Ардалион. — На Бронницкой у портерной и поймали дружка...

Увидев Настю, Веселитский немного сконфузился, но тотчас же подтянулся.

— А, Настасья Ивановна... Ну вот отлично... Давайте закусим, самоварчик попросим... Кутить так кутить. А ты, братец, — повернулся он ко мне, — сбегай, пожалуйста, за хорошим чаем к Шлякову... Ничего, что дале-

ко...

Я побежал в магазин за чаем, которого у нас не было. Вернувшись, я застал Настю и Веселитского вдвоем, остальные ушли в «Белую лебедь» сыграть на бильярде. Настасья Ивановна показалась мне навеселе: глаза ее подернулись влагой, щеки разрумянились, она покачивалась и пела какую-то деревенскую песню. Веселитский отвел меня в сторону и сказал, подавая кредитку:

— Сделай одолжение, братец... Ступай тоже в «Белую лебедь».

Там, однако, я не мог избавиться от чувства неловкости, и, поговорив с Гриневецким, мы решили прекратить игру и вернуться всей компанией домой к самовару...

Тут я сразу заметил, что в нашей мансарде произошло что-то нехорошее: Настасья Ивановна сидела в отдаленном конце стола, а Васька помещался на стуле, на почтительном расстоянии, и глядел на нее злобным и язвительным взглядом. Он опьянел совсем, весь как-то опустился, лицо одряблело. Настя, наоборот, казалась в эту минуту совсем отрезвевшей. Она встретила нас пристальным го-

рячим взглядом из-под сдвинутых черных бровей.

— А, здравствуйте, господа студенты! Изволили вернуться наконец? Что ж так скоро?

Она вдруг резко поднялась и, опершись на стол одной рукой в энергичной и красивой позе, продолжала:

— Устроили засаду девушке. Подлецы вы подлецы, а не студенты!

Губы ее с черными усиками как-то жалко, по-детски дрогнули. И вдруг ее глаза остановились на мне.

— А, и этот кудрявенький здесь. Тоже ловкий мальчик... Я и не оглянулась, как и он тоже исчез. Знает, что нужно приятелю... Ах, какие подлецы, какие вы все подлецы...

Ее голова упала на руки, и плечи вздрагивали от рыданий... Я повернулся к тому месту, где сидел Веселитский. На этом месте его уже не было: захватив пальто и фуражку, он быстро прошел через комнаты хозяев и исчез. Ардалион бросился за ним.

Не давая себе еще полного отчета в том, что произошло, я, в свою очередь, спустился с лестницы и вышел на улицу. Фигура Ардали-

она быстро исчезала в тумане по направлению к Бронницкой, но Васька оказался гораздо ближе: в нашем доме был грязный темный кабачок. Случайно заглянув в его окно, я увидел за прилавком женщину с ребенком на руках, и тут же на стуле, свесив голову, сидел Васька. Я толкнул дверь. Раздался дребезжащий звонок. Женщина со страхом подняла на меня глаза и, когда я подошел, сказала:

— Я думала, хозяин вернулся... Товарищ вам это, что ли?.. Боюсь я его... Вишь, ввалился... Лыка не вяжет, а требует: наливай ему... Говорит несообразно...

Васька поднял голову и сказал с выражением необыкновенной язвительности в голове:

— Па-а-звольте. Кто дал вам право рассуждать подобным образом?.. Ни-и капли логики...

Он попытался встать, но качнулся и опустился на грязный пол.

В это время вошел и хозяин, дюжий мужчина мрачного вида. Окинув всю сцену привычным взглядом, он сразу сориентировался в положении и, не обращая на меня ни ма-

лейшего внимания, сильной рукой поднял Ваську с пола, подвел к порогу и вытолкнул на улицу. Я поспел как раз вовремя, чтобы Васька не расшиб голову о фонарный столб, и повел его к нашей лестнице. Он шел очень нетвердо, и при тусклом свете фонаря лицо его подергивалось жалкими всхлипываниями. Вести пьяного мне было трудно, но в это время подоспел Ардалион. Прыснув, по своему обыкновению, он подхватил Ваську под другую руку, и мы доставили его наверх, где он тотчас же свалился и захрапел.

Настя все еще была у нас и мирно разговаривала с Сучковым и Гриневецким. Теперь она попросила кого-нибудь проводить ее. Мы с Сучковым оделись и вышли,

Был поздний вечер. Огни фонарей тускло мигали сквозь сетку дождя, который становился все сильнее.

Настасья Ивановна жила довольно близко вместе с матерью, но она не решалась идти домой. Было поздно. Кроме того, на воздухе она вдруг опьянела еще более и боялась прийти в таком виде.

— Проводите меня лучше в Тарасовский

переулок, к подруге, — попросила она.

Под густым мелким дождем мы пришли в Тарасовский переулок. Здесь, у первого дома налево, Настя остановила нас и, взойдя на две-три ступеньки подъезда с навесом, повернулась к нам и протянула руку.

— Ну, теперь спасибо. Прощайте, господа. Не взыщите, что давеча обругала вас нехорошими словами. Товарищ ваш крепко меня обидел...

Я попытался подняться на ступеньки, чтобы позвонить, но она помешала мне и, смеясь, оттолкнула назад.

— Я и сама сумею позвонить... А вы идите, идите, идите! Увидят меня с вами, нехорошо. Подумают, бог знает где гуляла... Идите, идите, — повторяла она, пока мы не вышли из ворот и повернули за близкий угол. Однако, пройдя некоторое расстояние, мы оба остановились и повернули назад: поведение Насти нам показалось странным. Дождь лил густо, шумя по водосточным трубам. Тускло светил фонарь. На подъезде виднелась одиноко сидящая женская фигура. Склонив голову на руки, Настя тихо плакала.

— Настасья Ивановна, голубушка. Да что с вами? Почему вы не звоните? Неужто хотите ночевать на подъезде?

Она подняла лицо. Оно показалось мне жалким лицом обиженного ребенка.

— Не могу... Стыдно... Она тоже с матерью живет, со старухой... Как тут придешь, гадкая, пьяная... — И она заплакала еще сильнее.

Обсудив положение, мы решили предложить Настасье Ивановне переночевать в номере гостиницы.

— Только одну не пустят, — сказала она. — Вдвоем тоже зазорно. Пойдем уже втроем, если вы такие добренькие...

Так как у нас денег было мало, то, условившись встретиться на углу Четвертой роты, у «Золотого орла», я быстро побежал домой. Васька спал, Гриневецкий тоже. Растолкав его, я объяснил, в чем дело, и мы вдвоем произвели ревизию Васькиных капиталов. Результат оказался плачевный. Из семидесяти пяти рублей осталось тридцать пять. Гриневецкий отделил часть за квартиру Цывенкам, а часть я взял для уплаты за номер.

На условленном месте я застал Настю и

Сучкова. Заспанный половой равнодушно открыл перед нами дверь и, все не просыпаясь, подал самовар. Что он думал при этом о нашей компании — неизвестно. Вернее всего, что ничего не думал. Дело привычное. Несомненно, однако, что редко в этом номере ночь проходила так безгрешно. Настя оказалась очень милой хозяйкой за чайным столом. Она почти протрезвилась, и мы с Сучковым от души хохотали, когда она изображала в лицах любезные подходы пьяного Василия Ивановича... Заснули мы часа в четыре, а наутро расстались с нашей гостьей добрыми приятелями. Помню, что, проснувшись, я торопливо обулся, чтобы Настасья Ивановна не застала меня без сапог.

Я шел домой с совершенно новым представлением. Таковую девушку я видел еще в первый раз... Несомненно, что она написала мне скабресную фразу. Когда мы оставались одни в комнате, она бесцеремонно ерошила мои волосы, прикасаясь своими коленями к моим... После этого с нею как будто все дозволено. И вдруг — она же кидает нам в лицо название подлецов, а мы стоим пристыженные,

как школьники... Потом — эта трогательная одинокая фигура на подъезде, эти слезы от стыда и обиды... И, наконец, ночь в номере гостиницы с двумя молодыми людьми в самой предосудительной обстановке... Но здесь она сразу ставит себя так, что у нас не прорывается вольного слова или жеста, точно мы в обществе самой «приличной» из наших знакомых ровенских дам...

Да, все относительно в этом мире! И нравственность тоже относительна. Бедная, милая Настенька. Четырехлетнее общение со студентом дало ей лишь настолько грамотности, чтобы написать скабрёзную фразу... Круг нравственных понятий, в котором вращалась эта модистка, был довольно широк: в него вошло многое, что я привык до сих пор считать недозволительным для «порядочной женщины». Но она обвела себе этот круг твердой рукой и держалась в нем прочнее, чем многие приличные дамы держатся в своем... Во всяком случае, оба мы чувствовали, что она нравственнее и чище нас всех...

— Славная Настенька — так обобщили мы, расставаясь с Сучковым, свои впечатления от

этой необычной ночи.

Мне предстояло, однако, разобраться в другом, тоже неожиданном впечатлении. Дома я не застал Василия Ивановича. Гриневецкий еще спал, когда Васька исчез, оставив записку на мое имя. В ней он писал, что я обманул его лучшие чувства, став на сторону какой-то шлюхи... Поэтому он прощается со мной навсегда...

Я не мог теперь собрать в одно целое своих впечатлений... Настю я понял, и название «шлюха» меня прямо оскорбило. Но что же такое теперь сам Василий Иванович, перед которым я преклонялся?.. Никулин, предупреждая нас, был, значит, прав?.. Васька просто пьяница, обманувший товарищей, заманивший недостойным образом девушку... Вместо сдержанного, молчаливого, глубокомысленного Василия Ивановича, читавшего календарь и уложение, теперь передо мной выступало дряблое, пьяное лицо Васьки, которого Ардалион ловит у одной портерной, а сиделец выталкивает из другой...

Ах, читатель, я знаю: вам покажется мой глубокомысленный друг совершенно неинте-

ресным и не заслуживающим столь значительного места в моих воспоминаниях... Но эта фигура сыграла значительную роль в моем настроении того времени... Образ великолепного Василия Ивановича с трудом уходил из моей души, оставляя болящее пустое место, а от «циничного» хохота Ардалиона мне было больно до слез.

Через несколько дней Василий Иванович явился в самом странном виде. На нем не было ни пальто, ни присланного из Костромы нового платья. Все это они вдвоем с чиновником успели спустить. По какой-то странной пьяной фантазии Василий Иванович выкупил черную пару моего дяди и теперь явился в ней: он был не выше меня ростом, и потому жилет спускался значительно ниже талии, а фалды сюртука били по пятам. В таком виде, очевидно рассорившись по пьяному делу с чиновником, он пришел к нам с Бронницкой и тотчас же завалился спать...

Я в сумерках вернулся к себе и услышал несшееся из-за перегородки сопение. Я догадался. Пройдя к себе, я зажег лампу и в ожидании Гриневецкого сел за книгу. Через неко-

торое время сопение затихло, а вскоре затем послышались глухие стоны... Я некоторое время старался не обращать на них внимания, но затем не выдержал и вошел с лампой за перегородку. Василий Иванович сидел на кровати, запустив руки в волосы, и глухо сто-нал...

Через полчаса состоялось примирение... Конечно — прежнего великолепного Василия Ивановича, предмета моего поклонения, не стало... Передо мной был теперь слабый человек, жертва «бурсы» и духовного быта, но... я все еще любил его. И опять мы лежали рядом на кровати, и опять несколько осипшим с перепоя, но приятно рокочущим голосом он рассказывал мне печальную историю. Да, он тоже заражен этим ужасным бытовым пороком своей среды... Он борется, ему нужна нрав-ственная поддержка (тут он горячо обнял меня)... Ему случалось уже допиваться до черти-ков... «Маленькие, понима-ашь, — говорил он своим костромским говором, протягивая окончания, — маленькие, ухастые... Ну, да это наплевать... Бывает страшнее...»

Голос его стал глуше, мне показалось даже,

что лицо побледнело.

— Быва-ат, снится: иду будто по лестнице. Лестница широкая, освещенная, всякую пылинку видно... Подымаюсь с трудом, потому знаю: на верхней площадке ждет меня *он*... Бледный, глаза как угли, и... понима-а-ашь, как две капли похож на меня...

— Ну, и что же?..

— Ну, иду... Рад бы не идти, да *он* стоит на последней ступеньке и тянет к себе глазищами, дожидает-ся. Подхожу вплоть, глаза в глаза... И понима-а-ашь: вхожу я будто в *него*, или *он* в меня входит... Такой это ужас, что кажется, с ума сойдешь...

Мне становится жутко. Лампа притушена... В сумерках мне чудится страшно бледное лицо Васьки или его двойника, и меня охватывает страх за моего друга, упавшего в моем мнении, слабого, но все же как-то жутко дорогого мне. Этот новый образ, уже без ореола, долго еще держится в моем обманчивом воображении.

IV. Голод

Компания наша бедствовала. Незаметно, постепенно голод сказывался истощени-

ем: ноги ныли, лица бледнели, движения становились порой вялы, на лекциях внимание притуплялось, над мозгом точно нависала какая-то завеса.

Мы с Гриневецким пытались еще не отставать от курса, и все-таки отстали... За этот год нам довелось пообедать в кухмистерской только пять раз. Сначала самый запах горячих блюд, несшийся из трактиров и кухмистерских, страшно раздражал обоняние и вызывал аппетит. Но со временем это прошло, и запах жареного мяса или жирных щей стал вызывать прямо отвращение. Возвращаясь после голодного дня из чертежной или Публичной библиотеки, я мечтал уже только о нашей колбасе с Клинского проспекта. Именно о ней и о черном полуторакоепечном хлебе. Когда однажды по какому-то случаю нам удалось после долгого промежутка пообедать в кухмистерской Елены Павловны, то в ту же ночь с нами случилось что-то вроде припадка холеры. В это время меня уже соблазняли только витрины кондитерских с выставкой конфет и пирожных. В сущности, это было медленное умирание с голоду, только растя-

нудное на долгое время.

Но мы были молоды, обладали железным здоровьем. Хотя все впечатления божьего мира мы воспринимали теперь точно сквозь какую-то тусклую дымку, но все же это не мешало порой прорываться вспышкам яркого оживления, которые потом сменялись реакцией и угнетением.

Вспоминаю один случай. Я вышел из Публичной библиотеки и направился домой. Мне предстояло пройти Садовую, Обуховский и Царскосельский проспекты. Обыкновенно этот конец я проходил незаметно, но на этот раз почувствовал приступ слабости. Я вспомнил, что с Гриневецким однажды случилось то же: он зашел далеко и ослабел. В кармане у него находилась случайно почтовая марка. Он беззаботно вошел в первую мелочную лавку и, смеясь, предложил купить у него марку. Лавочник оценил ее в пять копеек и отвесил на эту сумму белого хлеба. У меня в этот день оказалась тоже семикопеечная марка, и я решил поступить как Гриневецкий. Но у меня не было ни располагающей наружности Мирочки, ни его открытой веселой натуры. По-

этому когда я вошел в лавочку на Садовой и застенчиво предложил толстому купчине купить у меня марку, он сначала смерил меня с ног до головы презрительно-испытующим взглядом, а потом, помолчав еще несколько времени, сказал самым уничтожающим тоном:

— Не надо-с, не требуется, господин студент. Мы марочки покупаем в государственном почтамте-с, а отнюдь не у голодных студентов.

Из лавочки я уходил опутанный, точно сетями, взглядами приказчиков и публики, и в моей памяти всплыла прочитанная где-то пламенная, полная ненависти цитата из Фурье о хищном пауке-торгаше... Ненависть к этому «пауку» так воодушевила меня, что я и не заметил, как прошел длинный путь до нашей мансарды.

V. Павел Горицкий — нигилист

Я успел познакомиться с компанией Рогова. Это были всё Васькины земляки, костромские бурсаки, и все сплошь горькие пьяницы. Среди них мне бросились в глаза две оригинальные фигуры: Иван Колосов и Пашка Го-

рицкий.

О Пашке много рассказывал мне Веселитский. Это была звезда костромской семинарии, и его прочили в академию. Но в последнем классе он написал какое-то сочинение, блестящее по изложению, но проникнутое таким «духом», что о посылке в академию на казенный счет нельзя было и думать. Однако Горицкий решил все-таки попасть в академию. По словам Веселитского, он пешком добрался до Киева, блестяще выдержал экзамен и был принят в академию. Тогда он еще не пил, был верующим и опять обратил на себя внимание как будущая звезда духовного просвещения. Но затем увлекся современными «светскими идеями», стал запоем читать журналы, изучил немецкий язык, чтобы читать в подлиннике немецких философов Штрауса, Шлейермахера и Гегеля. Еще немного, и он стал «нигилистом»... Кипучее вино отрицания легко и весело бродило в головах среди остановившейся на переломе русской интеллигенции, в том числе и духовной, а с тем вместе забурлило вино и в прямом смысле. В то время и в литературе, и в интеллигентных

кругах было в ходу выражение: «Пили, как боги»...

— Понима-ашь, братец, — повествовал мне Веселитский, — отрешился наш Пашенька от всего: сжег все, чему поклонялся... Усумнился, понятно, и в бытии божием... На диспутах выступал, как некий демон отрицания: и се не бе, и се не бе... Ну, понима-ашь, духовные отцы живо выкурили. Им таких не надо.

После этого Горицкий попал сначала в московский, потом в петербургский университет. В это время он уже пил горькую.

В Москве он попал на урок к какому-то высокопоставленному лицу. Барин был либеральный генерал, жена «эсприфорка»[3] и сначала все шло хорошо. Оригинальный семинар-студент, с лицом Мефистофеля и дьявольским остроумием, нравился и доставлял развлечение. Но однажды, когда явился в генеральское общество сильно навеселе и направил свое ядовитое остроумие против всей высокопоставленной компании, которую созвали, чтобы показать интересного нигилиста, вышел скандал такой громкий, что Горицкому пришлось уехать из Москвы.

Колосов, его неразлучный спутник, был прямая противоположность Горицкому: добродушнейший великан, внушавший, однако, невольное почтение и страх одним своим видом и богатырским сложением, он был необыкновенно молчалив и, казалось, ставил задачей своей жизни оберегать приятеля Пашку от последствий его остроумия. Рассказывали, что однажды «для познания всякого рода вещей» приятели забрались в вертепы знаменитой тогда «Вяземской лавры», находившейся на углу Сенной площади и Обуховского проспекта. Горицкий вступил в беседу с какой-то воровской компанией. За беседой подвыпили, и скоро язвительные выходки Горицкого вызвали столкновение. Только громадная сила Колосова спасла Пашку от крупных неприятностей. Приятели едва убрались из «лавры» подобру-поздорову...

Как-то после одной «получки» по случаю именин Рогова наши соседи кутили всю ночь. В середине следующего дня в нашу комнату вошел Горицкий, которого я уже видел мельком несколько раз. Это был блондин небольшого роста, с бледным лицом, острыми черта-

ми, горбатым носом и торчащей вперед рыжеватой бородкой. Я сидел за столом и с увлечением читал Шпильгагена. Он подошел ко мне, посмотрел заглавие и сказал:

— А, Шпильгаген!.. Читай, молодой вьюнош, читай. Хар-р-о-шая книга. Возвышает душу... Есть еще писатель Авербах (он так и произнес: «Авербах» на чисто великорусский лад), так тот, братец, еще занятнее: у него все короли на высотах целуются.

Он выразился гораздо грубее и резче. Я покраснел от неожиданности и обиды за Шпильгагена.

— Ну, ну, вьюнош, не обижайся, я ведь любя... Такой же когда-то был... А ты, может, бог даст, будешь такой эке, как я. Недаром с Васькой спознался да еще, говорят, преклоняешься... Брось, брат, не стоит: пустой малый, хоть и земляк мне. Положим, юности свойственно преклонение, и даже в Священном писании сказано: кому преклонюся?.. А ты ответствуй: никому же... Нестоящее дело!.. Знаешь: спереди блажен муж, а сзади векую шаташеся... Так ты, братец, на всех сразу заглядывай с изнанки. И увидишь, что Васька большой ахтер-

щик...

В тоне его мне послышалась под конец какая-то благожелательная, почти нежная нота. С этого дня Горицкий стал часто заходить к нам. Раз даже после какой-то пьяной свалки у Рогова он и Колосов попросились к нам ночевать. У нас была широкая двуспальная кровать, на которой мы спали вместе с Гриневецким, приставляя стулья. Теперь мы улеглись на ней вчетвером поперек. Я лежал рядом с Горицким. Под утро со мной случился кошмар: я почувствовал, что какая-то тонкая сухая рука крепко сжимает мое горло, а над самым моим лицом склонилось чье-то бледное лицо и горящие глаза. Мне не стоило большого труда скинуть с себя пьяного Горицкого.

— Что вы это, Горицкий? Образумьтесь.

— Да ты-то кто? — спросил он сдавленным голосом. Я назвал себя.

— Фу ты, наваждение!.. Да воскреснет бог... А ведь я подумал — Сашка это Белавин.

Проснулись другие, в том числе и Колосов.

— Все вот эдак, — зевая, сказал последний своим густым, спокойным басом. — И ведь заметьте, братцы: Белавин первый приятель,

пока тверезы оба. А как который выпьет, так и ищет другого, чтобы непременно истребить. И я-то, дурак пьяный: положил черта с младенцем. Сем-ка я рядом лягу. Меня небось не задушит.

— Ну прости, пожалуйста... — сказал Горицкий и, придвинувшись ко мне, так что на меня пахло горячечным перегаром, вдруг нежно поцеловал меня.

Эта фигура возбудила во мне особенный живой интерес... Горицкий не подходил ни под одну известную мне литературную категорию, но от него веяло настоящим неподдельным трагизмом. В этот год он должен был сдать последние экзамены по юридическому факультету. Когда подошло это время, Горицкий вдруг исчез и не являлся на обычные попойки у Рогова. На мои вопросы о нем, мне сказали, что «Пашка дьявольски зубрит, чтобы сдать экзамен у Редкина». Редкий был превосходный профессор, но пользовался репутацией большого чудака и самодура. Рассказывали, например, что он очень не любил армян и всегда уменьшал им отметки.

— Господин профессор, ей-богу, я не армя-

нин, — сказал, отэкзаменовавшись, какой-то кавказец. Редкий поднял глаза от журнала, где уже готов был поставить отметку, и, ткнув пальцем по направлению к носу студента, спросил совершенно серьезно:

— А это что?

— Грузын, ей-богу, грузын.

— А, это другое дело.

И Редкий поставил в журнале «удовлетворительно».

Во время каких-то бесед у Горицкого произошли с ним оригинальные пререкания, о которых одно время много рассказывали в студенческих кружках, передавая речения Редкина и язвительные реплики Горицкого. Редкий был заинтересован, а это, говорили, тоже опасно: таких студентов он экзаменовал особенно внимательно и беспощадно. Горицкий не хотел ударить в грязь лицом, перестал пить, и они втроем с Колосовым и Белавиным занимались дни и ночи. На беду, в это время из Костромы приехал старый товарищ по бурсе, оставшийся на родине сельским попом. Приятели «разрешили вина и елея». Попик приехал с деньгами, и закутили так, что Го-

рицкий на экзамене с похмелья стоял столбом и не ответил ни на один вопрос.

После этого он явился к нам неестественно возбужденный и веселый. Плясал, сыпал каламбурами и остротами, довел Ардалиона до белого каленья разговорами о философах, спроваживающих друг друга «пы башке», а простодушную Мавру Максимовну привел в восторг душеспасительными разговорами...

Не помню, в этот ли, или в другой раз он опять провел ночь в нашей мансарде... К Гриневецкому приехал знакомый с родины, и он ночевал с ним в гостинице. Васьки тоже не было — опять сбежал на Бронницкую, — и мы с Горицким ночевали вдвоем. Среди глубокой ночи, проснувшись, я увидел, что место Горицкого пусто. Ночь была светлая... Низкие и широкие окна нашего чердака рисовались на темной стене светлыми квадратами. Помнится, в то время на небе стояла комета, и мы вечерами подолгу смотрели на нее. Теперь ее не было видно, но окно было залито туманным блеском луны. Оглядевшись, я увидел на этом светлом четырехугольнике характерный силуэт Горицкого с его горбатым носом и острой

бородкой. Опершись подбородком на руки, он сидел неподвижно и глядел вдаль, туда, где за редкими домами, фабричными трубами и пустырями грузной полосой темнели деревья Волкова кладбища. Мне стало отчего-то жутко. Поднявшись с постели, я подошел к окну и тихо положил ему руку на плечо. Он вздрогнул.

— А, это ты? Погляди-ка, брат: э-вон, там, на кладбище... мои косточки на месяце белеются...

Я взглянул: среди темных куп деревьев в двух-трех местах на лунном свете фосфорически ярко сверкали белые пятнышки... Были ли это стены церквей и колоколен, были ли это часовенки над могилами, но под влиянием слов Горицкого, сказанных с выражением глубокой печали, эта даль показалась мне фантастическим темным полем с белеющими кое-где костями. Сердце мое сжалось глубокой тоской и жалостью. Я сел рядом, опершись тоже на подоконник, и мы с Горицким долго сидели так, глядя на смутную ночную даль, и разговаривали... О чем — я не помню. Помню только, что мне от всей души хоте-

лось сказать Горицкому что-то ласковое и утешительное. Но что же я, юноша, почти мальчик, мог сказать этому почти уже сторевшему на жизненном огне человеку... И он, по видимому, тоже хотел сказать мальчику что-то доброе, предостерегающее. Но тоже не находил ничего убедительного...

Только долго спустя я осмыслил себе душевную трагедию этого погибшего хорошего и даровитого человека и его поколения. Жизнь была пересмотрена вся и вся отвергнута. Это было сначала ново и интересно, но скоро интерес этого отрицания был исчерпан до дна. Одним отрицанием, одною злобою против жизни —

*...сердце питаться устало,
Много в ней правды, да радости
мало...*

Тогда Некрасов уже написал эти строки, подслушав их в жизни «нигилистического поколения»... Молодые души искали чего-нибудь, что могло примирить с жизнью — если не с действительностью, так хоть с ее возможностями... С трагедией Базарова Тургенев

прикончил случайною смертью. В своей трагической предсмертной исповеди Базаров изливает весь яд безнадежного скептицизма, с которым жить все равно было нельзя. Какое-то бездорожье залегло перед этим поколением «мыслящих реалистов», мечтавших о разуме, свободе и полноте личности среди неразумной и несвободной жизни.

Все это я передумал и осмыслил позже, познакомившись с другими «старыми студентами» того же поколения.

А в ту лунную ночь, с бродившей где-то кометой и с галлюцинацией погибающего человека, мое сердце горело лишь жутким сочувствием и глубокой тоской... Я пытался говорить, что не все еще потеряно, что он, конечно, выдержит экзамен в будущем году, и тому подобные пустяки.

— Нет, братец... Брось эту словесность... Тянуть еще год?.. Зачем? И главное, пойми, дружок: все, все это зачем? все вообще?.. Соломон был умный человек: суета суетствий и всяческая суета!.. А тут еще вдобавок — и суета-то пьяная... Так к чему тянуть ляжку?

Понятно, что на этот вопрос, предложен-

ный мальчику зрелым человеком, у мальчика не было готового ответа.

Вскоре Горицкий уехал из Петербурга, и я потерял его из виду. Впоследствии я пытался узнать у костромичей, с которыми меня сводила судьба, о дальнейшей участи Горицкого. Сведения были неопределенны и смутны. Вспоминали какого-то Горицкого, бывшего письмоводителем у одного из нотариусов, своего товарища и приятеля (может быть, того же верного Колосова)... Говорили еще, что это был человек очень способный и дьявольски остроумный, но горький пьяница...

И ничего больше я о Горицком, которого здесь называю настоящей фамилией, не узнал...

VI. Приключение с иконой. — Мы расстаемся с Веселитским

Как-то ночью в нашей маленькой квартирке случилось необыкновенное происшествие. Часов около трех на половине хозяев, в спальне, прилежавшей к нашей комнате, раздался страшный грохот, а затем послышались странные звуки, точно плач испуганного ребенка. Проснувшись и наскоро натянув

на себя кое-какую одежду, я выскочил в комнату хозяев и сразу понял все.

Первое место среди незатейливой обстановки Цывенков принадлежало грузному большому киоту с иконой богоматери в тяжелой кованой ризе за стеклом. Перед этой иконой горела неугасимая лампадка, и Мавра Максимовна никогда не забывала купить для нее масла. Теперь этот киот лежал на полу с разбитым вдребезги стеклом. Лампадка упала, масло разлилось, и вздрагивающий огонек непогасшего фитиля кидал еще на эту картину разрушения дрожащие и неверные отблески.

Цывенко зажег лампу. Он был в одном белье, но не забыл надеть на нос толстые роговые очки. Курносое лицо с толстыми усами и николаевскими бакенами было печально и мрачно, а из-за занавески на двуспальной кровати виднелось круглое детское лицо Мавры Максимовны. Оно было искажено страхом. Почти истерически всхлипывая, она говорила что-то торопливо, прерывисто и невнятно, и в этом испуганном лепете я разобрал, что для обоих супругов это было не про-

стое падение киота, а указующее знамение со стороны владычицы.

— Смерть это, смерть... Каролин Иванович, — голубчик, родная моя!.. Вы ученые, знаете: хорошо, как это мне помереть... А как Цывенку моему, не дай бог... Что я тогда буду делать, сирота безродная, на белом свете?.. Ох, смерть моя... Духу, духу нет!

И она судорожно хваталась за рубашку на груди...

Цывенко, молча убиравший осколки стекла, вдруг заворчал из-под нависших усов:

— А мне что одному делать на свете?.. Не желаю я, не согласен... Никаким родом...

Он протестовал против кого-то угрюмо и дерзко, точно возражая на неправильное распоряжение начальства. Мне вспомнились Афанасий Иванович и Пульхерия Ивановна, и я понял, что это потрясение, в особенности при сырой комплексии Мавры Максимовны и ее детском суеверии, прямо опасно. Подойдя к киоту, я стал с деловым видом рассматривать веревку. Она была тонка, вся обволочена паутиной и, очевидно, сгнила. Мавра Максимовна со страхом следила за мной...

— Послушайте, Федор Максимович, — сказал я уверенно. — Ну как вам не стыдно? Давно ли вы меняли веревку?

— Да не меняли вовсе, — угрюмо ответил он. — Как киоту купил, с тех пор на ней и висит.

— Ну а в углу сыро, веревка и сгнила. Было бы настоящее чудо, если бы такой тяжелый киот держался дольше на такой дрянной веревочке. Посмотрите сами...

Лицо бравого Цывенка несколько разгладилось, но толстуха по-прежнему нервно всхлипывала и хваталась за грудь. В это время вышел и Гриневецкий. Мавра Максимовна очень благоволила к нему... Она тоже была женщина, а у Мирочки было открытое лицо и светлые кудри херувима. Он принес стакан воды, сел на край постели и стал шутливо и ласково говорить с ней... Если бы владычица захотела дать знамение, то она оставила бы целыми и крючок, и веревку и все-таки бы упала... Вот тогда было бы действительно чудо...

Цывенко совершенно убедился и, наклонив киот, показал супруге тонкую гнилую ве-

ревку. Взяв в другом месте, он оторвал еще кусок и покачал головой,

— Грехи наши... Не догадались... Как еще держалась, в самом деле, удивительное дело! Милость владычицы, что не зашибла никого...

Это естественное объяснение разгоняло страх. Мавра Максимовна перестала всхлипывать, задыхаться и хвататься за грудь.

— Вот спасибо вам... Вы люди ученые, авось лучше знаете... — заговорила она, про-светлев. — Цывеночка мой, может, и вправду помилует владычица? А?

Ночные страхи улетали из спальни этих простодушных людей, и я уже праздновал победу, как вдруг дверь от нашей комнаты внезапно раскрылась, и в темном четырехугольнике появилась мрачная фигура Василия Ивановича.

Нужно сказать, что к этому времени Василий Иванович даже для меня окончательно определился, и я нашел, что самая «циничная» характеристика Ардалиона — только горькая правда. Между прочим, он еще два раза ухитрялся получать деньги без нашего

ведома и каждый раз прокучивал их с приятелем чиновником, после чего приходил делить с нами нашу нужду.

В это утро он как раз пришел после такого случая. Попытался вновь разыграть драму, но даже и я отнесся к этой попытке более чем холодно.

«Ахтерщик», — припомнилось мне замечание Горицкого, и я весь день не обращал ни малейшего внимания на глупые стоны похмельного Васьки. Васька отсыпался весь день, был в Katzenjammer'e[4] и дулся на своей постели, порой язвительно ворча про себя какие-то ехидные замечания по нашему адресу. Теперь он стоял в темном четырехугольнике двери, освещенный лампой. Он был в одном белье и в туфлях на босу ногу, задрапированный, как в мантию, в пестрое лоскутное одеяло. Казалось, он нарочно принимает величаво-зловещую позу. Лицо у него было дряблое, измятое, нос обвис, углы губ мрачно опущены книзу.

— Нет... Што уж тут обольщаться, — заговорил он замогильным голосом, точно тень отца Гамлета, — у нас в семье был такой же

случай: так же вот в полночь как гр-ро-мыхнет, знаете ли, семейный киот, а наутро хозяйка приказала долго жить... Бывают, я вам скажу, бывают таинственные предзнаменования... Много есть на свете, друг Горацио... Конечно, есть люди, которые и в бога не верят... — прибавил он, очевидно приноровляясь к Цывенкам...

Мавра Максимовна испуганно подняла брови и вдруг опять схватилась за грудь. Я задрожал от гнева и крикнул своему бывшему кумиру:

— Замолчи, болван!..

Васька с удивлением взглянул на меня, но тотчас же повел плечом, задрапировался плотнее в свою мантию и сказал:

— Што ж, ругательство — не доказательство. Хотите, Мавра Максимовна, верьте, хотите нет, а я вам говорю: не к добру это, нет-с, не к добру, не к добру...

И, театрально повернувшись, он вышел, волоча за собой длинное одеяло. Гриневецкий весело захохотал, и этот смех рассеял опять испуг Мавры Максимовны. Она повернулась к двери и запальчиво сказала вдогон-

ку:

— Не верю я тебе, Василий Иванович.. Неправда. Они больше тебя знают... Аны, вишь, ходят, учатся... А ты все дома отлеживаешься да Ваську мово мучаешь...

И, повернувшись к нам, она заговорила горячо:

— Злой он, нехороший... Приучил Ваську мово гитару слушать. А теперь гляжу — что такое: как гитару заслышит, так куда попало и порскнет: намедни в форточку выскочил... А это он, Василий Иванович, забавляется, Васеньку мово мучит: зажмет голову, да и щиплет... Что, скажешь, не правда, что ли?

Цывенко повернулся к двери, и усы его свирепо ощетинились. Но через минуту-другую из нашей комнаты послышался храп Васьки... А скоро и все успокоилось на нашем чердаке.

Я долго не мог заснуть. Мне было горько и обидно: как я мог так долго обольщаться! В сущности, я был юноша неглупый и не лишённый наблюдательности, но мое воображение легко подкупалось предвзятыми представлениями... Как прежде — в случае с Тео-

дором Негри, — образ Васьки для меня раздвоился. Где-то на заднем фоне сознания рисовался Васька пьяница и сознательный обманщик, бесчестно заманивший Настю, но я *не хотел*, чтобы этот образ выступил на первый план, потому что полюбил создание моего воображения... А Васька по какому-то инстинкту актера угадывал мое настроение и играл соответствующую роль. Только в последние недели стал явно сбиваться с тона: то щеголял кощунством, называя бога Тамерланом, то теперь говорил о «знамениях»...

На следующий день произошла тяжелая сцена. Васька, засунув руки в карманы, ходил размеренными шагами из угла в угол нашей комнаты, а я сидел за столом и высказывал ему горькую правду, мстя за свои прежние увлечения.

— Ты с первого дня играл роль, — говорил я. — Ты только прикидывался, что сопоставляешь статистику населения с законами... Ты лгал всем: и словами, и молчанием... Ты совсем не жалел Горицкого, не обращался с словом убеждения к роговской компании, а напрашивался на выпивку, и тебя поделом про-

гнали в шею...

Васька продолжал невозмутимо шагать из угла в угол и с поражающим меня самодовольством подавал реплики:

— Ну што ж... Пусть актер... Все люди до известной степени актеры... Не обольщаюсь: не больно и умен... Сократ сказал: «Я знаю только то, что ничего не знаю». Не считаю себя умнее Сократа...

Эта неуязвимость совершенно вывела меня из себя, и я запальчиво продолжал:

— И никогда ты не напивался до чертиков, и никогда тебе не являлся твой двойник с бледным лицом...

Тут Васька вдруг повернулся и посмотрел на меня, как будто хотел что-то сказать... Теперь я думаю, что зеленых ухастьх чертиков он действительно видел и что двойник с горящими глазами ему действительно являлся. Но тогда я и этому уже не хотел верить, так как отрицал прежнего Ваську всего без остатка...

После этого, очевидно, дальше жить вместе стало невозможно. И действительно, вернувшись из института, мы уже не застали

Ваську. Увязав в узел подушку, лоскутное одеяло, календарь Гоппе и гитару, он переселился на Бронницкую.

После этого мы видали его только издали на Малом Царскосельском, порой с сожительницей чиновника, женщиной довольно пошлого вида. Он помогал ей тащить какие-то кульки и как-то удивительно быстро окрасился в тон новой среды.

Помнится, пасха в этот год была довольно поздняя. Мы с Сучковым решили обойти в пасхальную ночь несколько церквей. Побывали у Исаакия, потом пошли на окраины, к Миронию, и уже под утро возвращались к себе. На углу Большого и Малого Царскосельского проспектов у нашей часовенки вдоль высоких тротуаров расположились целой вереницей обыватели и обывательницы, выжидавшие конца молебна и освящения пасхальных яств. Мы шли вдоль тротуара, присматриваясь к группам и прислушиваясь к разговорам. Тут была простая публика нашей окраины: с рот, от Московской заставы, с Обводного, — больше женщины: лавочницы, кухарки, дворничихи, жены фабричных и мастеровых.

Вдруг Сучков дернул меня за руку.

— Посмотри, — сказал он.

У тумбочки, на откосе тротуара, рядом с какой-то старой салопницей сидел Васька. Я едва узнал его: он как-то сгорбился, имел смиренный и благочестивый вид. По-видимому, бедняга страдал флюсом: щека у него была подвязана, и концы платка смешно торчали за ушами. Он вел тихую, очевидно, поучительную беседу с соседями. Я расслышал какой-то текст из Писания.

— Здравствуйте, Василий Иванович, — сказал я громко, остановившись у этой группы. Васька вздрогнул и, повернувшись через плечо, не ответил на приветствие, по-видимому заметив в моем тоне насмешку. Наклонясь к своим собеседницам, он заговорил, понизив голос, но так, что мы могли слышать:

— Ноньче, матушки мои, развелось много такого народу, что уж не верят в бога и смеются над обрядами святой православной церкви...

Новую роль, в зависимости от новой среды, Васька выдерживал великолепно. Трудно было поверить, что перед нами — недавний

студент, щеголявший кощунством и называвший бога «каким-то Тамерланом» — фраза, выхваченная из какой-то запрещенной книжки.

В это утро я видел Василия Ивановича Веселитского в последний раз.

VII. Я разочаровываюсь в Ермакове и посещаю первое «тайное собрание»

Дела наши не поправлялись, настроение все больше тускнело. Розовый туман сползал со всего окружающего, обнажая действительность, прозаическую и серую. Гриневецкий тоже загрустил: третий год грозил уйти за первыми двумя, тогда как родители его были уверены, что сын уже на третьем курсе.

Приближался первый экзамен по высшей алгебре. Гриневецкому он был не труден: математика давалась ему легко. Мне было гораздо труднее. Вдобавок изъяны в одежде не позволяли мне аккуратно посещать институт, и я пропустил один срок чертежей. Мы решили с Гриневецким обратиться за пособием в кассу помощи студентам. Исправив с помощью Сучкова или Ардалиона недостатки своего костюма и написав прошение, я отправился в

институт.

В этот день просителей принимал сам Ермаков. Это был человек довольно высокого роста, с крупными выразительными чертами и бледным лицом нездорового цвета, напоминавший описание Сперанского в «Войне и мире». Лицо его показалось мне несколько печальным и как будто разочарованным. Между ним и стоявшей за низким барьером тесной группой студентов залегла как будто легкая тень взаимного нерасположения. Принимая прошения, он делал вскользь короткие угрюмые замечания. Наконец наступила моя очередь. Я стоял перед тем самым человеком, чье короткое извещение, полученное в маленьком городишке месяцев десять назад, так радужно осветило тогда мою жизнь. Взяв прошение, он окинул меня пытливым взглядом и спросил:

— Чертежи все сданы?

Я смутился и ответил:

— Не все.

— Так и знал, — произнес Ермаков, кивнув головой, как бы подчеркивая свою проницательность. Я хотел сказать, что не сдал только

за один срок и что пособие мне нужно именно затем, чтобы наверстать потерянное время. Но я не сказал ничего. Ермаков уже обратился к другому, а я ушел оскорбленный. «Так и знал»... Почему же он знал?.. Потому, что я плохо одет, бледен и желт от голода?..

На душе залег горький осадок нового разочарования. Я поднялся в чертежную. За нашим столом мой двойник заканчивал великолепный чертеж. Моей доски за этим столом уже не было. Институт был переполнен, и сторожа убрали мою доску, очистив место другому.

Значит, и они формально зачислили меня в разряд «плохих студентов». Понурился, я прошел вниз. Здесь я заметил, что студенты разных курсов входят в какую-то аудиторию. Я последовал за течением. В аудитории шла сходка. На столе стоял студент в блузе — фигура демократическая и угловатая — и делал доклад о результатах делегации к Ермакову. Речь шла, помнится, о требовании передать кассу помощи в руки самих студентов, так как теперь истинно нуждающимся получить трудно: пособиями пользуются «покорные те-

лята», часто богатые барчуки. Докладчик говорил, упирая на о, с простонародными оборотами, и в аудитории то и дело раздавались сочувственные восклицания: «Правда, правда». Между тем Ермаков наотрез отказался отстаивать в совете требование студентов.

— Он перестал понимать молодежь, — закончил оратор.

— Правда, правда! — шумно подтвердила аудитория. — Нужно искать другие пути!..

Я, конечно, примыкал всей душой к этому решению и жадно ловил отголоски своего настроения в шуме и восклицаниях студенческой массы.

Под конец сходки ко мне подошел Зубаревский. Со времени нашей встречи на железной дороге и после — на Вознесенском проспекте — я всякий раз встречал его с каким-то особенным душевным облегчением. Было что-то простое, хорошее и душевное в этой невзрачной фигуре с скуластым лицом и утиным носом. Я не подводил его ни под какую литературную категорию, а просто радовался при встречах с ним.

— Ну что, как живется? — спросил он. —

Вы что-то нос повесили... В чем дело?

— Вообще, плохо, — ответил я, отворачиваясь. — Тоска!..

Он задержал мою руку, о чем-то подумал и затем сказал:

— Вы бывали на каких-нибудь собраниях?

— Да вот сейчас... — ответил я.

— Нет, я говорю не о сходках... А бывали ли вы в кружках? Нет?.. Хотите побывать? Образуется тут один кружок, люди хорошие. Согласны? Ну постойте немного, я вот тут переговорю.

Он кинулся вдогонку за каким-то студентом и, взяв его под руку, стал ходить в стороне взад и вперед по аудитории, о чем-то разговаривая. Оба при этом посматривали на меня. Я с некоторым волнением ждал результата: захотят ли они, умные, серьезные, принять меня?.. Я еще ощущал на себе пренебрежительный взгляд Ермакова... Вот и мою доску убрали из чертежной... Я чувствовал себя выбитым из колеи и несчастным... Но собеседник Зубаревского, очевидно куда-то очень торопившийся, попрощался с ним и приветливо кивнул мне головой через поредевшую

толпу. Зубаревский вернулся ко мне.

— Дело устроено, — сказал он. — Приходите в воскресенье в Тринадцатую роту Измайловского полка, дом номер сто шестьдесят третий, квартира такая-то. Когда вам отворят, спросите меня или такого-то (он назвал, кажется, Эндаурова). Если нас и не будет — все равно вас пустят... Сходите, сходите... Народ будет хороший.

Я радостно направился домой. Была уже весна, сквозь быстро бегущие белые облака то и дело мелькали большие полосы яркого синего неба, в воздухе чувствовалась свежесть и особенное весеннее оживление. Но я все эти дни был во власти той особенной весенней тоски, с которой молодое сознание будто провожает напрасно пролетающую жизнь. Эта тоска пришла со мною в институт и с особенной силой захватила в чертежной. Кто-то открыл там два или три окна, и с улицы несло дребезжание экипажей, певучие крики разносчиков, суетливый шум быстро несущейся столичной жизни... А моя жизнь остановилась в каком-то мрачном углу... Вот и моя доска убрана со стола...

Сначала сходка, потом приглашение на собрание несколько рассеяли это настроение. Я предчувствовал что-то новое. Это будет не пьянство у Рогова, не бильярд в «Белой лебеди», не нигилистическая тоска Горицкого. Что-то новое, точно предчувствие нового откровения...

Под вечер в воскресенье я отправился в Тринадцатую роту. Идти пришлось далеко. С моря надвинулись густые облака, моросил дождик, огни тусклых (кажется, тогда еще масляных) фонарей трепетали на подвижной поверхности тонких лужиц. При свете одного из таких фонарей я нашел дом № 163. Это был огромный невзрачный домина, нелепо и грузно возвышавшийся над небольшими домишками в глухой улице, населенной служащими варшавской и петергофской дорог, мастерами с заводов и студентами.

Я вошел в ворота, поднялся на лестницу направо, на самый верх, в пятый или шестой этаж, и дернул звонок. За дверью послышались шаги, потом какой-то разговор... В дверях осторожно приоткрылась щелка, мелькнули два молодых глаза, и девичий голос

спросил:

— Кого нужно?

— Зубаревского, — ответил я.

— Его нет.

— Ну, так Эндаурова...

— Тоже нет.

— Постойте, постойте, — торопливо перебил другой женский голос. — Как вас зовут? А, ну войдите, пожалуйста... — И дверь открылась.

Я вошел в переднюю, скинул пальто на кучу других и не без смущения вошел в большую комнату.

— Это, господа, такой-то, — сказала вступившая меня молодая девушка. — Рекомендация Зубаревского и Эндаурова. Садитесь, пожалуйста.

Я пробрался в дальний угол и осмотрел собрание. Здесь было десятка полтора молодых людей и девушек, но колокольчик дребезжал то и дело, и входили новые лица. По тому, как они входили, раскланивались, занимали места, было заметно, что собравшиеся не были еще тесно сплоченным обществом. Замечалось стеснение и неловкость. Увидя знакомое

лицо среди сидевших под стенками молодых людей, новоприбывшие радостно кидались туда, девушки обнимались и начинали шушукаться. Общего разговора не было. В открытую дверь виднелась другая комната, поменьше, со столом посредине и висячей лампой. За столом сидели несколько студентов и среди них три-четыре женские фигуры. Я догадался, что это хозяйева или устроители собрания и еще — что они в затруднении, не знают, что с нами делать, и как будто ждут еще кого-то.

Раздался звонок... Вошел технолог большого роста в блузе и очках. По наружности и приемам он напомнил мне оратора на сходке, но фигура была культурнее. Он стал что-то рассказывать сидевшим за столом, и потом они заговорили тише, как будто совещались...

Между тем в нашей комнате стояло все то же напряжение. Не было чего-то, что объединило бы собравшихся.

Я с любопытством стал рассматривать девушек. Учащиеся женщины были для меня совершенной новостью. Тогда в нашем городе не было еще женской гимназии, и первая

гимназистка из Житомира, Долинская, приехавшая на каникулы к матери в своем форменном коричневом платье, привлекала общее внимание. К Ваське раза два приходила какая-то Екатерина Григорьевна, женщина лет за тридцать. У нее были курчавые стриженные волосы, перехваченные круглой гребенкой, и пенсне на носу. В зубах, больших и некрасивых, вечно торчала папироса. В первый раз она явилась к нам еще в то время, когда Васька не спустился для меня со своей высоты, и помню, что в тот же вечер я написал брату восторженное глупое письмо, где описывал первую увиденную мною «нигилистку». Помню, однако, что на заднем фоне и этого «литературного впечатления» стояло смутное реальное представление о жалком пошловатом существе с остатками институтских манер и нездоровой страстностью во взгляде.

Теперь передо мною были скромные на вид девушки, смущенные, как и я, и, как я, ждущие чего-то.

Мне показалось, что в дальнем углу я заметил своего двойника... Мне хотелось подойти к нему, но нужно было перейти через всю

большую комнату... Да я не был уверен по близорукости, что это он.

В дальнейших моих воспоминаниях об этом вечере — какое-то тусклое пятно, без ярких фигур и эпизодов. Заговорил серьезный студент, пришедший последним. Не помню, что именно он говорил, помню только, что и говоривший, и слушатели чувствовали, что что-то не удастся, что в напряженную атмосферу пытается пробиться какая-то простая «настоящая» нота, но пробиться не может. Говорилось, помнится, о том, что, кроме специальных знаний, нужно еще искреннее желание обратить их на пользу родного народа. Это была как будто и правда, но пока эта правда вот здесь, сейчас, нас не объединяла.

Стало немного легче, когда пригласили в соседнюю комнату, где уже кипел самовар. У одной стены стояла простенькая кровать, покрытая белым пологом. На стене висел портрет Чернышевского и Михаила Илларионовича Михайлова... Хозяйка, молодая женщина лет двадцати пяти, разливала чай. Другая, курчавая девушка-брюнетка, как кошечка, ластилась к ней, и обе они показали мне та-

кими чистыми, красивыми и хорошими, что мне вспомнилась родная семья... Хотя когда-нибудь, хоть раз в неделю, даже раз в месяц прийти вот в такую квартиру, посидеть вечер в разумном и чистом женском обществе — казалось мне недостижимым блаженством.

Но общий непринужденный разговор не наладился и тут; уходили в другую комнату, сбивались знакомыми кучками, говорили вполголоса. Потом стали расходиться, решив, что о дне следующего собрания участники будут извещены особо в институте и на женских курсах.

Я вышел в числе последних. В квадратный двор, обнесенный высокими стенами, моросил, как в колодезь, мелкий дождик. У ворот сидел неподвижный дворник, около него стояли две-три каких-то штатских фигуры. На улице тускло мерцали фонари с теми же отражениями на трепетных лужицах. В душе у меня было тоже тусклое разочарование. Вот я выхожу из этого дома, куда часа три назад входил с такой надеждой... Образ хозяйки и кудрявой девушки залег в памяти ласкаю-

щим мягким обаянием. Но я чувствовал, что это красивое пятно не имеет никакого отношения к моим надеждам. Остальное смутно и неопределенно, и мне невольно приходило в голову — какие язвительные словечки отпустил бы Паша Горицкий по поводу этого неудавшегося собрания.

На углу Тринадцатой роты и какого-то переулка меня обогнал мой двойник. У фонаря он посмотрел на меня, и я посмотрел на него... Да, это был он. До сих пор взгляды, которыми мы обменивались, были скорее взглядами нерасположения. Теперь мне опять захотелось остановить его, заговорить. В его глазах мелькнуло как будто то же желание. Но он шел быстро и, точно по инерции, прошел мимо. Я тоже его не окликнул, и он скоро свернул за угол. Когда я дошел до этого угла, какая-то фигура еще маячила в слякотном сумраке... Догнать его, поговорить по душе о том, что мы оба тут искали и чего не нашли, и почему это «не вышло»... Но когда я догнал шедшего впереди, то оказалось, что на нем обыкновенное черное пальто, а не серая шинель со споротыми гимназическими пугови-

цами...

Так я не догнал моего двойника, не знаю его фамилии, и никогда уже мы не встретились в жизни.

Гриневецкий уже спал, когда я вернулся на наш чердачок...

— Ну, что там было? — спросил он, проснувшись. — Стоило ходить?

— Ничего интересного, — ответил я и стал без увлечения рассказывать о скучном собрании. Он зевнул, потянулся и скоро заснул.

На следующий день меня опять охватила весенняя тоска. Весь день я не находил себе места и принял вместе с Гриневецким приглашение в компанию студентов-химиков, которые занимались в это время в лаборатории перегонкой спирта. Попутно они изготовили несколько бутылок «ликера» и позвали целую компанию для торжественной пробы своего производства. Пили, пели песни, обнимались и в конце концов легли тут же вповалку, отравившись сивушным маслом. На следующий день, поздно, с болью в головах и с безвкусицей на душе, вернулись мы с Гриневецким на свой чердачок. Здесь испуган-

ная Мавра Максимовна встретила нас новостью: приходила полиция. Ввалилось сразу трое и перепугали бедную женщину до смерти.

— Как в тот раз, когда взяли нашего жильца... Спрашивали про вас: где были вечером третьего дня и поздно ли вернулись? Я уже хватила греха на душу: сказала — весь вечер дома сидели... «Мои, говорю, смиренные... Все учатся». А вы вот какие смиренные... Совсем дома не ночевали... Наживете вы беды...

Несколько дней после этого в институте, в строительном училище, в Семеновском и Измайловском полках, по ротам, проспектам и переулкам только и было разговоров, что о нашем тайном собрании. Я вспомнил, что, отойдя три-четыре квартала по Тринадцатой роте и случайно оглянувшись, я видел какое-то движение около большого дома. Путались какие-то неясные тени, происходила какая-то возня, как будто слышались даже свистки. Я тогда не обратил на это внимания. Оказалось, что полиция поздно узнала о «тайном собрании» и явилась к концу его, когда из ворот выходили последние его участники.

Среди них был некто, помнится, Крестовоздвиженский, технолог вроде Колосова, огромный и молчаливый. Весь вечер он просидел в хозяйской комнате, не проронив ни слова. Но когда при выходе несколько штатских субъектов, которых я видел стоящими рядом с дворником, попытались задержать последних выходящих, то этот молчаливый силач вдруг развернулся, явил чудеса храбрости, обратил сыщиков в паническое бегство, после чего бесследно исчез. Наше неудавшееся «тайное собрание» выросло в целое событие. Полиция ходила из дома в дом, шли расспросы, ходили фантастические рассказы о собрании «тайного общества», о необыкновенной силе таинственного студента. Даже в моих глазах этот эпизод стал принимать другую окраску. Произошло что-то, чего «правительство боится». Значит, есть тут что-то нарастающее и важное.

— Правда, что и вы были там? — спрашивали у меня студенты шепотом, и у меня уже не хватало духу ответить, как я ответил Гриневецкому: ничего интересного, одна скука.

Впоследствии много раз мне вспоминался

этот эпизод. Кто знает, разрослось ли бы движение молодежи так быстро и так бурно, если бы правительство было умнее и спокойнее и не так нервно пускало бы в ход грубый и неуклюжий аппарат произвольной власти.

Теперь уже ясно, что так называемое «хождение в народ» было наивной попыткой с негодными средствами. Но правительство само вызвало грозный призрак террора... Таинственный молчаливый студент, внезапно разгромивший полицию после невиннейшего «тайного собрания», часто каким-то предзнаменованием встает в моей памяти...

VIII. Я нахожу работу и приобретаю знакомства. — Писатель Наумов

Становилось ясно: этот год для всей нашей компании был уже потерян. К этому времени в моей жизни произошло два события: я нашел работу и меня разыскали родственники.

На Офицерской улице, далеко за Литовским замком и Демидовым садом, жил учитель второй, кажется, гимназии, Животовский. Он занимался, кроме преподавания, еще. изданием демонстративных классных

таблиц и ботанических атласов. Я узнал, что ему нужен рисовальщик, и предложил свои услуги. Для пробы он дал мне раскрасить ботанический атлас, состоявший из девятнадцати рисунков. Они были выпущены из типографии в черных чертах, и только листья были ровно покрыты масляной типографской краской. Мне предстояло докрашивать остальное.

Этот первый атлас я раскрашивал в течение целой недели. Типографская краска мешала, отказываясь принимать акварельные тени. Наконец через неделю я снес свою работу на Офицерскую. Животовский остался ею очень доволен, дал мне вновь пять атласов и один рубль за работу. Эта оценка недельного труда привела всю нашу компанию в большое уныние. Но... рубль — это все-таки пять наших обычных обедов. Кроме того, я надеялся работать со временем быстрее. И действительно, уже следующий атлас отнял у меня только три дня, а затем Гриневецкий придумал смачивать проклятую типографскую краску водой при помощи зубной щетки, и это так облегчало работу, что я мог делать по

атласу в день. Я разводил сначала зеленую краску. Гриневецкий подкладывал мне лист за листом, и я все их механически отделявал зеленью. Тем же порядком все девятнадцать рисунков проходили через кармин, оранжевую, сурик, вермильон и т. д. Через некоторое время, работая, правда, целые дни, я мог бы уже заработать до пятидесяти-шестидесяти рублей в месяц, если бы Животовский не положил предел моему любостыжанию. Бедняга с семьей существовал только жалованьем, а атласы шли не так быстро. Мы оставались довольны друг другом, но Животовский ограничил размеры работы двадцатью атласами в месяц.

Как бы то ни было, у нас оказался с этих пор «постоянный заработок», и часть забот о нашем пропитании была снята с бедного Гриневецкого.

Однажды, когда я находился в разгаре своего производства и был весь измазан красками, к нам неожиданно вошел чрезвычайно приличный господин, с интеллигентным лицом, в золотых очках, и, окинув взглядом нашу компанию, спросил:

— Я имею удовольствие видеть?.. — И он назвал мою фамилию, обратившись прежде всего к самому представительному из нас, Гриневецкому. Таким же образом он обратился затем к Сучкову и уже наконец ко мне. Это оказался Бирюков, муж моей двоюродной сестры, преподаватель или инспектор петербургского коммерческого училища (в Чернышевском переулке). Мы познакомились, и с этих пор по субботам я проводил вечера в хорошей родственной семье.

Это был маленький интеллигентный салон. Бывали педагоги, художники, студенты. Где-то на заднем фоне заманчиво носилась передо мной возможность встречи даже с Д. Л. Мордовцевым, который был дружен с Бирюковыми. В это время он жил в Саратове, но должен был приехать в Петербург, так как ему предстоял суд за «Исторические движения русского народа». Но это светило так и не появилось на нашем горизонте. Зато каждую субботу я неизменно встречал у Бирюковых малоизвестного писателя Александра Михайловича Наумова. Это был не Наумов-беллетрист, довольно известный в тех годах, а

скромный публицист, написавший около этого времени несколько статей в «Отечественных записках» о Всероссийской выставке в Москве.

Это была фигура очень характерная для 70-х годов. Совсем не крайних убеждений — что видно уже из того, что он был постоянным сотрудником «Русского мира», — он был все-таки коренной отрицатель. Тогда это было разлито в воздухе. Маленький, подвижной, с голым черепом и черными, необыкновенно живыми глазами, он вечно кипятился, проклинал «наши порядки» и ругал всех и вся. Однажды он вызвал взрыв хохота во всей компании, наивно и с увлечением повторив совершенно искренно известную собакевичевскую фразу:

— Во всей России сплошь все подлецы и негодяи... Я знаю одного только порядочного человека... Да, одного на всю Россию! Это Иван Васильевич Вернадский... Да и тот, если разобрать хорошенько, настоящая скотина...

Удивленный взрывом общего хохота, он продолжал с яростным увлечением:

— Да, да, да!.. Я это утверждаю положи-

тельно: скотина, скотина, ничего больше-с!..
Судите сами...

И он, горячо жестикулируя, стал передавать какой-то эпизод в Вольно-экономическом обществе, когда И. В. Вернадский, возражая тогдашнему председателю общества Киттары и еще рядом сидевшему с ним «генералу», повернулся к ним лицом, а спиной к публике... Наумов представлял этот эпизод так подчеркнуто, став спиной к дамам и даже подняв фалдочки сюртука, что его среди общего хохота мужчины насильно усадили на стул... Наумов сразу уселся в кресло и, поняв причину смеха, сказал меланхолично:

— Да, в сущности, все мы, русские, или Собакевичи, или Маниловы... Никого — во всей России, кроме Собакевичей и Маниловых... Все, все... И я первый...

Действительно, переходы от Собакевича к Манилову были у него неожиданны и внезапны. Он был сын путейского генерала, получил домашнее аристократическое образование, посещал первые курсы университета под руководством студента-гувернера, кончил по «камеральному факультету», готовившему

главным образом чиновников, и за все это в совокупности ругательски ругал отца.

— Чиновник, чинодрал, чинуша и, как все чиновники, — негодяй! Нет подлости, на которую не был бы способен подобный тип... Не нужна мне его любовь!.. Не хочу ни одной копейки из его награбленных денег...

— Я слышал, что генерал нездоров, — сказал кто-то...

Лицо Наумова вдруг стало печальным.

— Да, — сказал он. — На этот раз ничего — поправился... Но кончится это все-таки плохо. Ах, право, если случится что-нибудь со стариком, я этого не переживу...

И черные глазки его затуманились слезой.

Моя кузина была очень красивая, статная блондинка и превосходная музыкантша. Наумов, как я уже сказал, был маленький брюнет, фигура некрасивая и смешная. Это не мешало ему влюбиться в мою сестру. Как человек без предрассудков, живший среди таких же «разумных людей», он не считал нужным особенно скрывать этого, но вместе с тем, как «реалист», не мог довольствоваться безнадежным обожанием. Подобно Кирсано-

ву в «Что делать?», он решил сочетаться «гражданским браком» с падшей девушкой. Выполняя программу, он на свои скудные средства завел для нее скромную модную мастерскую, о чем довел до сведения Бирюковых. Так как Елизавета Ивановна «стала на трудовой путь», то он надеется, что его друзья не закроют дверей перед его гражданской женой.

Позволение было дано, хотя не без некоторых сомнений; можно было предполагать какую-нибудь неожиданность. Для меня это было еще одно отражение литературы в жизни. Я ждал увидеть скромную женщину, в темном платье, с застенчивым и благодарным взглядом. Наумов, конечно, поступил благородно, по-некрасовски: «Ив дом мой смело и свободно хозяйкой полною войди...» Он вводил ее не только в свой дом, но и в свое общество. Конечно, нужно много такта, чтобы с первых же шагов, не вспоминая о прошлом, принять ее просто и цельно в свою среду... Однако на красивом и умном лице сестры бродила чуть заметная скептическая улыбка.

Я знал, что в такой-то вечер к Бирюковым

придет Елизавета Ивановна, и шел в Чернышев переулок с особенным интересом. Впечатление оказалось неожиданным и очень ярким. Явилась дама лет под тридцать, смуглая, с заметными усиками, недурная собой, но необыкновенно вульгарная. В ней не было ни одной черты, которая бы говорила о грешнице, пережившей обновление. Очевидно, идя сюда, она была озабочена одним: чтобы «эти барыни не зазнавались перед ней». Поэтому она вела себя слишком развязно и без церемоний... Увидев раскрытое фортепьяно, она без приглашения уселась за него и, аккомпанируя себе одним пальцем, спела резким голосом что-то совершенно неожиданное. Один из гостей, приезжий из Одессы, родственник Бирюкова, взглянул на хозяйку, с отличием окончившую консерваторию, и залился неудержимым хохотом. Для кузины это было действительно большим испытанием... Она, впрочем, перенесла его с большим достоинством. Наумов ничего не замечал и, уводя Елизавету Ивановну с этого первого ее выхода, говорил в передней:

— Ну вот видишь, Лиза... Вечер прошел

прекрасно. Я говорил тебе: люди простые и хорошие.

Посещение, впрочем, не повторилось. На следующие вечера Наумов приходил один, а вскоре мы узнали, что гражданские супруги «не сошлись характерами». Мастерская осталась без хозяйки. Эту новость первая сообщила сама Елизавета Ивановна. Встретившись с моей кузиной на Загородном проспекте, она поздоровалась как добрая знакомая и сказала развязно:

— А я, послушайте, Сашку своего уже побобу... Зазнайка. Задается очень!.. Мастерскую тоже завел!.. Очень нужно... мне плевать, что он писатель! Свистнуть только, двадцать таких найдется... Еще лучше...

Наумов был грустен и о своем неудачном «браке» не заговаривал. Но в коллекции моего скептического опыта прибавилась еще одна изнанка идеального «литературного мотива». Я питал после этого к Наумову сложное чувство. С одной стороны, «настоящий» писатель должен быть как будто иной. Но, может быть, «настоящего идеального писателя» совсем нет, как нет и «настоящего студента».

Наумов немного смешон, но и трогателен. В нем было что-то детски наивное и привлекательное... Но, очевидно, и в литературе не святые горшки лепят...

Однажды он с обычной решительностью сообщил мне, что в настоящее время в «Русском мире» нужен обозреватель провинциальной жизни. Работа легкая — составлять обзоры по корреспонденциям... Насколько он успел узнать меня, он ручается, что я с нею справлюсь. Я колебался, но он настаивал и взял с меня слово, что я непременно дня через два схожу в редакцию, а он завтра же предупредит обо мне Комарова.

Я всю эту ночь не спал. Выйдя из Чернышева переуллка, я пошел бродить по улицам, охваченный особым настроением... С раннего возраста я мечтал о литературе... Каждое заметное впечатление, каждый поразивший меня образ я пытался облечь в подходящее слово и не успокаивался до тех пор, пока не находил наиболее подходящего выражения. Даже сны чередовались у меня то в виде сменяющихся картин, то в виде рассказа о них. Несколько раз мне случалось просыпаться в

каком-то восторженном состоянии. Я будто написал превосходный рассказ или поэму. Обрывки последних картин, последние строки стихотворений еще горели в мозгу, быстро исчезая, как след дыхания на хрустальном стекле. Только, увы, я не мог вспомнить содержания написанного, а если вспоминал несколько последних стихов звучной поэмы, то при ближайшем рассмотрении в них не оказывалось ни размера, ни рифмы.

Предложение Наумова казалось мне сначала невозможным: неужели я стану писателем, хотя бы и газетным? И то, что я напишу, будут набирать и печатать?.. И Рогов будет это корректировать... И тысячи людей будут читать... Невероятно, но мне хотелось верить в невероятное... И я верил всю эту ночь...

Весенние ночи уже белели... Вечерняя заря еще не совсем встречалась с утренней, но и та и другая стояли, смутно сливались где-то в высоте, ближе к северной стороне неба. Я бродил по каналам и улицам, присматриваясь к ночным группам, прислушиваясь к смутному говору в сумерках, заходя в поздние кабачки, восприимчиво ловя эти проявления ночной

жизни столицы. И мне казалось, что весь Петербург под покровом этой ночи, озаряемой откуда-то сверху мечтательным светом, живет, и рокошет, и движется, и шевелится в сумраке лишь для того, чтобы я научился разгадывать его и передавать тайны на страницах «Русского мира». Какое это отношение может иметь к провинциальному обозрению — этим вопросом я не задавался.

Разумеется, этой глупой мечте суждено было разлететься прахом, как только я робко явился в редакцию. Какие-то два господина с ножницами в руках и с перьями за ухом выслушали мои объяснения, как люди очень занятые, которым некогда.

— Вы говорите, Наумов писал? Погодите минутку — может быть, письмо у Комарова...

Он вошел в соседнюю комнату и через минуту вышел оттуда, слегка пожимая плечами.

— Письмо получено, но... Что же вам сказать? Напишите что-нибудь... Если пригодится, будет напечатано...

Это как раз то самое, что впоследствии и мне приходилось много раз отвечать застенчивым юношам, приходящим в редакцию с

такими же наивными предложениями сотрудничества. Может быть, и они тоже слышат невнятные призывы зовущей белой ночи и верят в невероятное и уходят разочарованные. Все это старо, и все понятно, но вместе с тем так огорчительно... Мечта за мечтой уносятся ветром...

IX. Дядя подводит итоги моего первого года: «он стал хуже»

Под конец этого первого моего петербургского года наша компания внезапно разбогатела. В последние годы в гимназии после смерти отца я и мой брат были зачислены «стипендиатами его величества». Теперь мать писала мне, что благодаря стараниям друга моего отца, местного священника Барановича, знакомого с графиней Блудовой, эта стипендия может быть продолжена и в высшем учебном заведении. Мне нужно сходить к графине Блудовой в Зимний дворец, а она уже укажет, куда следует обратиться дальше. Она, наверное, все уже сделала... «Смотри же, непременно сходи!» — прибавляла мать.

Года два спустя я, не колеблясь, отверг бы этот проект. Но в то время мои политические

понятия были так же смутны и непоследовательны, как и литературные... Я готов был работать в газете Комарова, хотя сочувствовал Добролюбову, и я не видел ничего предосудительного в стипендии его величества, хотя мечтал о республике... Мать писала, что сходиться к Блудовой прямо необходимо. Мне очень не хотелось, но я пошел. Товарищи общими усилиями снарядили меня в приличный сборный костюм, и, не веря себе, я вошел с одного из маленьких подъездов со стороны Невы внутрь Зимнего дворца. Широкие лестницы с коврами, лакеи в дворцовых ливреях и гвардейские солдаты, то и дело откидывающие от плеча ружья, приставленные прикладом к ноге. Графиня, маленькая, полная женщина, довольно некрасивая, встретила меня очень добродушно, сказала, что она получила все сведения от Барановича и кое-что уже сделала. Мне следует отправиться с ее карточкой к князю Голицыну, в канцелярию прошений, подаваемых на высочайшее имя. Это был как раз приемный час, и князь Голицын принял. Он уже знал о моем деле и очень ласково объяснил мне, что стипендию сейчас выдать

нельзя. Суммы исчерпаны.

— Но, — продолжал князь, — мы, несколько добрых знакомых графини, узнав о заслугах вашего отца и о положении семьи, позволили себе (он так и сказал) выразить свое сочувствие и участие сбором некоторой суммы, которую вы можете получить сейчас.

Дежурный чиновник подал князю конверт, который тот протянул мне.

Кровь бросилась мне в лицо. Отдернув руку, я сказал с волнением, что я не просил и не рассчитывал на милостыню, а только на официальную стипендию, налагающую известные обязательства по будущей службе. Наскоро откланявшись, я ушел с некоторым облегчением... «Ну вот — побывал и с чистой совестью напишу матери, что дело кончено...»

Но через несколько дней в нашу квартиру позвонился дворцовый курьер и подал официальное приглашение — явиться в такой-то день и час в ту же комиссию. Там опять встретил меня князь Голицын. Это был очень красивый высокий блондин, с мягкими чертами и мягкими манерами. На этот раз вид у него был официальный и несколько су-

ровый. Он тут же усадил меня за стол, продиктовал текст прошения, под которым следовало подписаться: «Вашего величества верноподданный студент такой-то», и сказал официально:

— Ваше прошение удовлетворено, и вот за полугодие... Выдайте, Иван Иванович, а вы распишитесь.

Я расписался в получении ста семидесяти пяти рублей.

Никогда еще в жизни у меня сразу не было таких огромных денег. По пути домой я зашел на Малой Морской в кондитерскую и купил целую кучу сладостей.

Благополучие это пришло для нас слишком поздно: год все равно был потерян. Мы только исправили изъяны наших костюмов, расплатились с Цывенками, с некоторыми другими долгами и... совершили несколько экскурсий увеселительного характера, впрочем, довольно невинного свойства, а затем все уехали на каникулы.

Таким образом, первый год моей петербургской жизни закончился.

Чем и как?..

По дороге домой я опять заехал к дяде в Сумы, и дальше мы поехали вместе. За этот год он сильно исхудал, огромные глаза его горели зловещим лихорадочным огнем. Он очень любил меня с детства и теперь опять встретил радостно, но через несколько времени я заметил, что его печальные глаза все чаще останавливаются на мне пытливо и тревожно.

— Ты изменился за это время, — говорил он.

Да, я изменился. Я был уже не тот, который год назад так глупо загорался от декламации Теодора Негри. Теперь я не дурак, меня этим не проведешь! Я многое увидел в жизни, розовый туман передо мной рассеялся. Я узнал, что под самой умной наружностью «настоящего студента» может скрываться Васька Веселитский, что в «Отечественных записках» может писать бедняга Наумов, а «извлеченные из мрака заблуждения» девицы оказываются наумовскими Лизочками... Столичная жизнь за этот год не подняла меня к себе. Наоборот — мне казалось, что она опустилась до моего уровня. Я тускл и неинтересен... И она

тоже... Пусть... Я как будто гордился этим своим теперешним «умом»... «Настоящих», «идеальных» нет совсем, и я не хуже, а может, и умнее многих...

Однажды, уже в деревне, в саду я случайно услышал обрывок разговора дяди с матерью.

— Да, это правда, — говорил дядя, — он возмужал, стал развязнее, пожалуй, остроумнее... Не краснеет при каждом слове, как прежде. Но, как хочешь, прежде он мне нравился гораздо больше... Теперь он стал хуже...

Мне стало больно от этих слов. Я очень любил этого своего дядю и сознавал с печалью, что он прав: я был лучше, когда жизнь для меня была в розовом тумане. Еще на днях мы с Сучковым съездили на несколько дней в деревню к Гриневецкому и в качестве петербургских студентов вели себя там такими развязными дураками — может быть, именно от природной застенчивости, — что еще теперь, спустя более сорока лет, мне становится стыдно при этом воспоминании. И вот теперь этот отзыв дяди, печально суровый и правдивый...

«Ну ничего, — сказал я себе, тряхнув головой. — Будущий год все это поправит».

Х. Корректорное бюро Студенского. — Я принимаю внезапное решение

Ни следующий, ни начало третьего года ничего не поправили. В этот год вся наша семья переехала на север. Мы были очень дружны с моим двоюродным братом, сыном того самого капитана, о котором я так много говорил в первом томе этой правдивой истории.

Этот двоюродный брат, артиллерийский офицер, долго жил в нашей семье, и теперь его перевели в Кронштадтскую крепостную артиллерию. Мой старший брат решил тоже переехать в Питер, а затем и мать, чтобы быть ближе к нам, решила поселиться вместе с племянником в Кронштадте. Младший брат поступил в Петербурге в реальное училище.

Приходилось думать о заработке. Я продолжал рисовать атласы, брал еще чертежи, рисовал географические карты для печати, вместе с старшим братом переводил для Окрейца романы по семи рублей с печатного листа и вообще занимался подобной черной работой. Раз в неделю для отдыха мы с братьями сядили на кронштадтский пароход и воскрес-

нье проводили у матери.

Так прошел второй год, так же начинался третий.

Осень этого года застала меня в корректурном бюро некоего Студенского. Это было для меня самое тяжелое время. Мой старший брат, кажется, первым пристроился к корректуре, стал работать у Демакова, а затем поступил на постоянную работу к Студенскому.

Это была фигура оригинальная, в чисто диккенсовском роде. Высокий, худой, желтый, лицо почти безусое и дряблое, все в мелких складках и морщинках, светлые, неопределенного цвета глаза, производившие впечатление мутных льдинок, и при этом — прекрасные волнистые светло-каштановые кудри, в рамке которых странно выступала эта безжизненная маска.

Он предложил брату постоянное жалование и комнату. Брат принял предложение, а затем Студенский предложил то же и мне. Для первого знакомства он поднес нам свое литературное произведение. Это была небольшая брошюрка с очень длинным заглавием: думаю, что память мне не изменяет, —

оно было следующее:

*ЦИТАЦИЯ И ТОМИЗАЦИЯ ЗАКОНОВ В
ПРИМЕНЕНИИ К ТИПОГРАФСКОМУ ИС-
КУССТВУ*

а равно

Произведение это предлагает
новое расположение светил небесных
и букв в азбуке

Другое его произведение носило не менее
оригинальное заглавие:

ФИЛОСОФ, КОКЕТКА
и упраздненный третий

Что касается содержания обоих этих творе-
ний, изложенных безукоризненно в грамма-
тическом и корректурном смысле, то это бы-
ло какое-то запутанное слово-извитие, ли-
шенное всяких признаков здравого смысла.

— Изволили прочитать? — спросил он ме-
ня на следующий день.

Я прочитал, заинтересованный заглавием,
но затруднился дать какой-либо отзыв.

— Да, это требует некоторой философской
подготовки, — самодовольно заметил автор.

Вначале я просто подумал, что имею дело с

сумасшедшим маниаком, и на меня напала легкая жуть. В особенности когда он сообщил, что, кроме полистной работы, у нас будет еще особая работа по часам над некоторым его личным учено-литературным начинанием.

— Я осуществляю оригинальнейшую мысль, — говорил он своим тусклым, мертвым голосом, — издаю русско-французский словарь, в котором слова будут расположены не по начальным буквам, а по окончаниям.

Однако оказалось, что этот человек с такими фантастическими идеями отлично устраивал свои практические дела. Он основал бюро, в котором сосредоточил корректуру нескольких более или менее крупных предприятий. Он корректировал «Родник», «Неделю», «Французско-русский словарь» Макарова, какой-то научный еженедельник, все, что печаталось в огромной типографии Демакова и еще в нескольких маленьких типографиях. Сам он был корректор превосходный, очень быстро применялся к индивидуальным корректурным требованиям каждого издания и каждого отдельного автора. Но работал он чрезвычайно медленно и, конечно, не мог бы

справиться с такой массой работы. Поэтому он раздавал ее по рукам нуждающимся молодым людям и девицам, причем отлично оценивал ту степень горькой нужды, которая отдавала их в его руки. Редко он платил им половину того, что получал сам.

Не могу вспомнить без содрогания об этих двух-трех месяцах моей жизни, когда мы с братом жили у Студенского. Квартира его помещалась в узком Демидовском переулке, почти против пересыльной тюрьмы. Под нею в подвальном этаже находилась шоколадная фабрика. Из нее несся вместе с пряным удушливым запахом постоянный глухой гул машины, от которого слегка вздрагивали полы и окна. Когда мы открывали окна, выходящие в Демидовский переулок, волны пряного пара врывались порой в комнату. Отдельвая квартиру по своему странному вкусу, Студенский распорядился оклеить ее темно-синими обоями. Двери и карнизы были черные, даже потолок довольно темного цвета. В общем, комната напоминала гроб. От времени до времени черная дверь приоткрывалась, в ней показывалось лицо-маска, и длинная сухая рука

Студенского протягивала в щель большой корректурный лист, резко и траурно белешший на темном фоне... На меня нападала невольная оторопь.

За вычетом довольно высокой платы за комнату, мы зарабатывали с братом рублей по пятидесяти. Но для этого приходилось работать с раннего утра до поздней ночи, едва урывая час, чтобы наскоро пообедать в какой-нибудь дешевой кухмистерской и пробежать там номер газеты. Если выдавались какие-нибудь промежутки в основной работе, Студенский тотчас же старался заполнить их работой «по часам». Это значило, что он снимал со стены длинные полосы «словаря по окончаниям», и нам приходилось тянуть эту бесконечную и бессмысленную канитель. Это была работа «хозяйская», очень дешевая (что-то копеек по шести в час) и совершенно бессмысленная, а потому особенно тяжелая. Человек с мертвой маской вместо лица и с тусклыми ледяными глазами держал нас все это время в цепких костлявых руках, точно фантастический вампир. Оказалось вдобавок, что сердце его доступно обычным человеческим

слабостям. Поэтому он иногда прикомандировывал к нам в качестве «чтицы» некую барышню, совершенно не способную даже к этой нехитрой работе.

Мы становились под влиянием обстановки болезненно-нервными, а брат, обладавший вообще нетерпеливым темпераментом, часто выходил из себя.

— Тут не так, — говорил он, пока еще сдержанно, ожидая, что «чтица» поправит неправильность по рукописи. Но бедная помощница давно потеряла текст и теперь тщетно старалась найти требуемое место. Брат начинал терять терпение:

— Я жду, — говорил он, уже волнуясь, но помощница, потеряв всякую надежду найти в рукописи требуемое место, вдруг подымала глазки к потолку и с наивно-любопытным видом произносила:

— Вот что. Я давно хотела спросить вас: что такое «сквоттер» и «фермер»?

Брат окончательно терял терпение, хватался за голову, начинал топтать ногами и произносил с бешенством:

— К черту сквоттеров!.. К дьяволу ферме-

ров!.. Ко всем чертям всех вместе!.. Давайте рукопись и сидите молча... Я буду читать один...

Глаза бедной барышни расширились от испуга, и на них появлялись слезы...

— Погодите, она разовьется, — говорил Студенский, до слуха которого доходили эти вспышки...

Вскоре в этой обстановке и в этой тяжелой атмосфере, насыщенной глухим вздрагивающим гулом и удушливыми парами, у меня повторились припадки нервной астмы, которой я был подвержен с детства. Она всегда повторялась в периоды тяжелой жизни, исчезая с переменой настроения...

Подошла ясная, теплая осень, тот период, когда на петербургских улицах в полусумраке увеличивающихся вечеров начинают зажигать фонари. Однажды в такой сумеречный час я только что вернулся из кухмистерской. Брата не было, на столе еще не лежала корректура. Открыв окно, я лег на подоконнике и высунулся в переулок. Было свежо и приятно. Резкий ветер от взморья освежил воздух, дышалось легко. Мимо нашего окна быстро про-

бежал фонарщик с лестницей на плече, и вскоре две цепочки огоньков протянулись в светлом сумраке...

Я почувствовал, как внезапная, острая и явно о чем-то напоминающая тоска сжала мне грудь. Она повторялась в эти часы ежедневно, и я невольно спросил себя, откуда она приходит. В ресторане я прочитывал номера «Русского мира», в котором в это время печатался фельетоном рассказ Лескова «Очарованный странник». От него веяло на меня своеобразным простором степей и причудливыми приключениями стихийно бродячей русской природы. Может быть, от этого рассказа, от противоположности его с моею жизнью в этом гробу — веет на меня этой тоской и дразнящими призывами?

Я взглянул вдоль переулка. Цепь огоньков закончилась. Они теперь загорались дальше, наперерез по Мойке и Малой Морской. Я вдруг понял: моя тоска от этих огней, так поразивших меня после приезда в Петербург. Тогда были такие же вечера, и такие же огни вспыхивали среди петербургских сумерек. С внезапной силой во мне ожило настроение

тогдашней веры в просторы жизни и тогдашних ожиданий. А затем быстро пронеслись в памяти эти два года: мансарда на Малом Царскосельском, голод, бессмысленная работа над атласами, Веселитский, Паша Горицкий, чертежная доска в институте, Ермаков, целый ряд разочарований... И вот теперь этот гроб...

Тихо скрипнула дверь, показалось мертвое лицо Студенского, и сухая рука протянула полосы словаря. Я подошел к дверям и как-то неожиданно для себя сказал:

— Я прошу вас рассчитать меня: через несколько дней я уезжаю в Москву.

Наша компания первого года вся рассеялась. Гриневецкий перешел в Горный институт, поселился в самых дальних линиях Васильевского острова, не показывался оттуда к прежним товарищам и упорно занимался, вновь получая деньги от родителей. Сучков уехал в Москву, где поступил в Петровскую академию. Там же было в это время еще несколько земляков, в том числе Мочальский, один из лучших моих товарищей. Получив как-то мое грустное письмо, он предло-

жил бросить все в Петербурге и приехать в академию. Меня примут, хотя год уже начался. На первое время я поселюсь с земляками, а там, наверное, со своим рисованием опять найду работу.

Сначала мне это показалось совершенно невыполнимым, но теперь эта острая тоска по чему-то дорогому, потерянному, странный язык этого полусумрачного вечера с огоньками фонарей — сказали другое. Через неделю, получив у Студенского несколько десятков рублей, я съездил в Кронштадт, чтобы попрощаться с матерью. Она даже обрадовалась моему проекту. Впереди ей рисовалась для меня карьера лесничего, скромный лесной домик, в котором под ее крылышком вновь соберется наша семья...

Через несколько дней я был уже в Петровской академии.

Часть третья

В Петровской академии

I. Первые впечатления

В этом месте моих воспоминаний на меня точно веет струя свежего воздуха, и прежде всего в прямом, не переносном смысле. Уже от Москвы дорога пролегла лесными аллеями с запахом свежего снега и сосны. Пустые дачки среди леса, потом красивое здание академии, церковка, парк, плотина, пруд под снегом в одну сторону, открытые дали в другую и своеобразный поселок с двухэтажными Ололыкинскими номерами (незадолго перед тем переименованными в номера Благосклонного). Всюду только фигуры крестьян и студентов. Понятно, как все это подействовало на меня после Демидовского переулка, комнаты с темными обоями и черными дверьми и «корректорного бюро Студенского». С этого времени начинается для меня новый период жизни и новое настроение...

Петровская академия была открыта 21 ноября 1865 года во дворце, принадлежавшем

когда-то Разумовскому. Ровесница крестьянской реформы, академия отразила на первом уставе своем веяния того времени. По этому уставу никаких предварительных испытаний или аттестатов для поступления не требовалось. Лекции мог слушать каждый по желанию — какие и сколько угодно. Кроме постоянных слушателей, допускались и посторонние с платою по шестнадцать копеек за лекцию. Первые три лекции, если разрешал профессор, могли быть и бесплатными. Переходных курсовых испытаний не полагалось, а были лишь окончательные экзамены для лиц, желавших получить диплом. Курс был трехгодичный, но экзамены можно было сдавать в какие угодно сроки... Группа студентов заявляла о своем желании, и профессор назначал день экзамена. По выдержании экзаменов по всем предметам выдавался диплом на степень кандидата. На слушателей смотрели «как на граждан, сознательно избирающих круг деятельности и не нуждающихся в ежедневном надзоре».

Все надежды, оживлявшие интеллигенцию освободительного периода, отразились в

этом уставе, нашли в нем свое выражение. Свобода изучения и вера в молодые годы обновляющейся страны — таковы были основания устава. Наука не искала усердия по принуждению. Развертывая перед жаждущими все свои средства, она с достоинством ждала всего от любви к знанию и верила в эту любовь, не гоняясь за нею с контролем и регламентацией... Таинственное покрывало Изиды, делающее из науки что-то вроде профессиональной тайны для посвященных, снималось. Все призваны, и каждому предоставляется судить о своей пригодности. Дипломы не дают знания, а истинное знание найдет себе применение и без казенного диплома.

Таковы были основные идеи этого устава, который просуществовал только семь лет. В 1872 году последовало преобразование, приблизившее академию к обычному типу высших учебных заведений. «Слишком либеральный устав» не выдержал испытания...

Один мой земляк, студент Петербургского университета Гродский, нарочно пришел ко мне, чтобы рассказать о Петровской академии. Он был много старше меня, учился ра-

нее в Московском университете и хорошо знал нравы петровцев. Он был юморист, и рассказы его были проникнуты насмешкой над либеральным уставом. В академию налетели отовсюду лентяи, не одолевшие в гимназии бездны премудрости, помещичьи сынки, выгнанные из низших классов, которым родители пожелали наиболее легким способом дать звание студента. Вообще, по словам Гродского, академия представляла из себя что-то вроде студенческой казачьей вольницы... Рассказчик с большим юмором рисовал картины «вольной жизни» петровцев. В роще, в парке, по уединенным дачам в лесу, над прудами, в весенние и летние ночи от зари и до зари гремели песни, шли попойки, и Москва была полна рассказами о необыкновенных выходках петровских студентов, вроде, например, внезапного появления перед публикой, гуляющей по главной аллее парка, какого-нибудь гуляки, выходящего из пруда в костюме Аполлона Бельведерского. Отсутствие контроля и принуждения повело к тому, что некоторые студенты экзаменовались много раз, зная лишь часть курса, в надежде

на то, что наконец попадетя счастливый билет... Гродский с большим юмором рассказывал о каком-то казаке, который на вопрос о центре тяжести задумался, потом хватил себя по лбу и радостно воскликнул:

— А, знаю, знаю... Центр тяжести... это если тело повесить на нитке...

На недоуменное замечание профессора — он подтвердил безапелляционно:

— Не говорите мне... Я теперь верно вспомнил: если тело повесить на нитке, то это и будет центр тяжести. Посмотрите сами у Гано!..

Другой сообщал, что клеточки размножаются при помощи яйцекладов, а насекомые — посредством самозарождения от нечистоты и т. д. Гродский рассказывал и о том, как «Московские ведомости» вели против академии систематическую кампанию, а идеалисты профессора, участвовавшие в создании устава, не находили теперь аргументов в его защиту...

Еще недавно тон Гродского мне бы очень не понравился, и я бы назвал его «циником», каким считал когда-то Ардалиона Никулина. Теперь два года петербургской жизни остави-

ли в моей душе скептический осадок... Либеральный устав был, очевидно, основан на вере в «настоящего студента». А я знал, что такого идеального студента нет на свете, а есть только Васьки Веселитские или такие малоинтересные молодые люди, как я сам.

Теперь устав изменен, и отлично. Я поеду туда в качестве скромного ученика, буду аккуратно посещать лекции, получу диплом, поступлю на службу... Конец романтическим мечтам!.. И только еще где-то в дальнем уголке души таилась надежда: в лесном домике я напишу повесть... А там... В этом сосредоточились и притаились мои отдаленные мечты, а пока я наслаждался новыми впечатлениями и радостью встречи с товарищами.

Прошение мое о приеме в число студентов академии я послал еще из Петербурга. Если бы мне отказали, то я решил приготовиться в полгода и держать на второй курс. Но меня приняли. Товарищи сказали, что мне нужно сходить к директору Филиппу Николаевичу Королеву. В директорском кабинете меня принял седой старик небольшого роста, с большой головой, крупными чертами лица и

суровым выражением. До получения этой должности он был директором одной из московских гимназий, известной своей дисциплиной. Кажется, ему покровительствовал Катков, как человеку, который способен «подтянуть академию». Он встретил меня совершенно по-директорски. Сурово и сухо он сообщил мне, что совет согласился зачислить меня в середине учебного года условно: если я не перейду на второй курс, меня исключат. Я поклонился и вышел, чувствуя себя вновь точно гимназистом.

Когда вместе с одним из товарищей я вышел на расчищенную дорожку в парк, нам навстречу попала компания: в центре ее обращал внимание старик с седыми пышными кудрями и моложавым лицом. Товарищ поклонился, и старик ответил, скользнув по нас взглядом живых печальных глаз.

— Это профессор земледельческой химии, Ильенков, — сказал товарищ. — Один из творцов прежнего устава.

Я с любопытством оглянулся на эту фигуру типичного шестидесятника, и мне невольно вспомнился Ермаков. И действительно, в от-

ношениях Ильенкова к студенчеству, вежливых и холодных, чувствовалось какое-то отчуждение, и, идя к нему впоследствии на экзамен, я боялся: вдруг он взглянет по-ермаковски и скажет: «Так и знал»...

Я все-таки был очень доволен, что меня приняли. За эти годы я стосковался по правильным занятиям, и мне было приятно опять аккуратно посещать лекции, составлять записки, «подзубривать», чувствовать себя наконец неплохим студентом.

Вся обстановка академической жизни приводила меня прямо в восторг. Все кругом было своеобразно и интересно, и особенно интересно было соседство этого студенческого быта с простой жизнью Выселок. Тотчас же за плотиной находилось большое двухэтажное строение, номера Благосклонного. Это было довольно дряхлое здание, стены которого как будто навсегда пропахли табаком и пивом. В нем было два коридора (вверху и внизу), в которые выходили двери отдельных номеров. Акустика была такая, что слово, сказанное громко в одной комнате, отдавалось всюду. Кроме этих номеров, студенты ютились

также в маленьких «дачках», и вся жизнь студенчества, как и жизнь «выселковцев», шли параллельно, были на виду.

II. Старые студенты

Я приехал к концу рождественских каникул, и некоторое время мне оставалось только жадно наблюдать новую обстановку. Улицы, дворики, крыши были покрыты снегом, и товарищи посоветовали прежде всего заказать себе длинные сапоги. Мерку пришел снимать молодой сапожник, бледный чахоточный крестьянин. Поздоровавшись со мной за руку, он наморщил брови и важно спросил:

— Вельфис ур ис ее?[5]

На мой удивленный взгляд товарищи, смеясь, объяснили, что это он говорит по-немецки.

— Шпрехен зи дейч?[6] — все так же важно пояснил он и, вынув часы, прибавил — Ее ис дрей ур...[7]

— Это его обучили старые студенты — для шутки, — пояснили после товарищи. Молодой сапожник любил щеголять знакомством с прежними студентами, а к новым относился пренебрежительно. «Измельчал народ, — го-

ворил он, — нет теперь настоящего студента. Вот Иван Семенович был... Кулаком двери в один раз вышибал... Собаку, бывало, за хвост поймает, сейчас на дерево зашвырнуть норovit... Теперь таких уже и нет...»

Действительно, новый устав резко изменил и возрастной состав, и физиономию петровского студенчества. От прежних осталась только небольшая группа, которую так и называли — «старые студенты».

Через несколько дней после моего приезда в номерах происходила пирушка этих старых студентов. Они пили, пели песни и шумно спорили. Часам к десяти вечера этот шум достиг необычных размеров, а через некоторое время послышалась возня.

— Гонят Орехова, — пояснил пришедший к нам сосед, смеясь. — Теперь начнется история.

В этой компании были два приятеля, отношения которых странным образом напоминали отношения Горицкого и его друга-врага Белавина. Вольфрам с Ореховым были оба кавказцы, гимназические товарищи. Большие друзья в трезвом виде, они становились вра-

гами, как только напьются... Начинаясь обыкновенно Орехов, который по мере опьянения становился язвительно остроумен и придиричив. Вольфрам сначала уступал, а потом лез в драку... Товарищи знали, что Орехов необыкновенно силен, а пьяный вдобавок свирепеет, и вступались общими силами за Вольфрама. На этот раз тоже кончилось тем, что Орехов общими силами был извергнут из номера.

— Теперь пойдет по Выселкам и будет искать, с кем подраться, — пояснил тот же наш сосед.

Мне нужно было за чем-то в лавочку, и я вышел в коридор. Внизу горела тусклая лампочка. Едва я сошел вниз, ко мне из-под лестницы внезапно выбежал рослый красавец Орехов. Он был строен, необыкновенно широкоплеч и тонок в стане. Выскочив из темного угла, он вдруг схватил меня за плечи, но затем, взглядевшись в мое лицо черными глазами, горевшими на бледном лице, сказал:

— Вы кто такой?.. Вы не от них?.. Нет?.. А, это новичок!.. Ну, извините... У меня нет с вами никаких счетов...

И, выйдя вслед за мной, он скоро исчез в

снежной зимней тьме... На следующий день стало известно, что он учинил большую драку в фабричном поселке, верстах в двух от Выселок.

А пирушка продолжалась долго за полночь... Под утро я проснулся от разговора в соседнем номере. Надежда Ивановна, сожительница Вольфрама, укладывала его в постель. Он плакал и говорил, что ему надо идти разыскать Орехова... Орехов оскорбил ее, Надежду Ивановну, а он, Вольфрам, не позволит никому оскорблять ее. Правда, он сам по отношению к ней — неблагодарное животное... В этом году кончает курс и бросит ее... Откровенно говорит, что бросит... Ему нужно начать новую жизнь... Совсем новую... иначе и он погибнет, и она с ним... Но все-таки он — скверное животное... Впрочем, все люди животные, и Надежда Ивановна тоже... И не то что животные, а просто машины... Конечно, машины... А вы этого и не знали?.. Думали: душа и прочее... Пустяки... Человек — машина, и кончено!.. И вы машина... О, да какая вы умная машина вдобавок... Успела уже стащить сапоги...

И долго еще он говорил что-то, куда-то прорывался, и порой ему отвечал женский голос, кроткий и печальный. Вскоре, очень заинтересованный, я познакомился с Вольфрамом и Надеждой Ивановной, а потом и с Ореховым. Вся компания напомнила мне петербургских знакомых-костромичей, и особенно Пашу Горицкого. Это были последние могикане прежней академии. В их лице сходило со сцены целое поколение нигилистического периода.

III. Разрушитель Эдемский

Была и еще одна чрезвычайно характерная фигура из этих старых студентов. Это был некто Эдемский. Он поступил еще при старом уставе, потом был исключен, как привлеченный к нечаевскому делу, отбыл ссылку и поступил вторично при новом уставе. О своем «нечаевском» прошлом он говорить не любил. В академии вообще мало говорили об этой истории, хотя в мое время еще существовали развалины «Ивановского грота» и были люди, которые знали действующих лиц этой трагедии. По всем рассказам, которые мне пришлось слышать, Иванов, убитый нечаевцами, был прекрасный человек, и не могло

быть никакого сомнения, что он не собирался донести о заговоре, как в этом уверял Нечаев. Он просто разглядел приемы Нечаева и решил уйти из организации, а Нечаев, в свою очередь, решил убить его, чтобы «скрепить кровью» свою первую конспиративную ячейку. Он думал, что можно всю Россию охватить сетью таких отдельных конспиративных кружков, связанных железной дисциплиной, хотя бы цементом явился только обман...

Каждый член кружка обязуется основать такой же кружок. Таким образом, «революция» растет в геометрической прогрессии. В известный день приказом сверху, от центрального кружка, — в России объявляется свободный строй. Приказ идет от кружка к кружку, не знающих даже друг друга, и страна вдруг узнает, что она чуть не вся революционна и свободна... Впоследствии, уже в Сибири, мне довелось встретиться с людьми, которыми этот человек успел овладеть теми же приемами, то есть обманом и кровью. Но об этом мне придется говорить в другом месте, а пока скажу лишь, что нечаевское дело было характерно для нигилистического периода.

Никакой веры, на которую могло бы опереться это поколение, — как последующее, например, верило в народ... У них был только крайний рационализм и «математический расчет», более наивный, чем любая, самая наивная вера.

Эдемский был великоросс и, кажется, бывший семинар. У него было лицо дегенерата, с резко выдающейся нижней челюстью и черными, горящими глубокой страстью глазами. Он ходил в каком-то охабне вместо пальто, с суковатой палкой. В обыкновенное время молчаливый и угрюмо-сдержанный, он дружил только с двумя-тремя товарищами много моложе себя. По временам он напивался и тогда становился страшен. У него являлось странное красноречие, и он с пламенным пафосом произносил речи о необходимости всеобщего разрушения. При этом он ломал попадавшиеся ему под руку картины, фотографии, зеркала. Однажды, навязав на кнут камень, он пошел бить выпуклые стекла в здании академии. В другой раз, наготовив кучу ядер из снега, он сделал вечером засаду и с диким криком засыпал ими подъезжавшего на из-

возчике студента, ничего дурного ему не сделавшего. Однажды он рвался пьяный к приятелю с ружьем в руках и, наверное, застрелил бы его, если бы его не схватили сзади. Любимой темой его мрачных разговоров была необходимость кровавого террора и «миллиона голов».

По этому поводу рассказывали, что однажды удивленный собеседник заметил:

— Слушай, Эдемский, пожалуй, ты уничтожишь все человечество и останешься один...

Эдемский мрачно сверкнул глазами и, разбив об стол пивную бутылку, ответил:

— Уничтожу подлое человечество!.. Один останусь, черт возьми, и новый человеческий род произведу!..

К счастью, несмотря на устрашающий вид и неразлучную суковатую палку, он был слаб, как куренок, и все его разрушительные попытки усмирять было нетрудно. Однажды, именно в тот раз, когда он разбушевался с ружьем, кто-то пригласил ночного сторожа, и Эдемского связали. После этого дня два он ходил такой мрачный, что приятелю, позвавшему сторожа, советовали остерегаться. Каза-

лось, это может кончиться убийством, но кончилось благополучно. Эдемский потребовал третейского суда, явился на него очень торжественно и прочел длинное пламенное заявление, написанное с присущим ему мрачным пафосом.

Он начал с самообвинения... Да, он признает себя виновным: к лучшему другу он, в увлечении принципиальным спором, рвался с ружьем и хотел его убить. Он признает, что заслужил какой угодно отпор, более того: если бы его убили, застрелили из его собственного ружья, разmozжили ему голову каблуками, он не сказал бы ни слова. Но с ним поступили гораздо хуже: призвали подлого альгвазила, представителя грубой силы, слугу деспотического порядка, представителя власти — той самой, которая...

За этим следовало несколько страниц, на которых а тем же мрачным красноречием излагались все преступления русского правительства, начиная чуть ли не с Иоанна Грозного.

Третейские судьи переглядывались с недоумением, но приговора, кажется, даже не по-

требовалось: изложив с большим волнением и искренностью обуревавшие его чувства, Эдемский как будто истощил при этом весь запас гнева и всю жажду мести. Он заплакал и протянул руку бывшему другу.

Забегая вперед, скажу, что этот странный человек кончил тоже довольно странно. В ссылке, где-то в Архангельской губернии, он женился на простой необразованной девушке, и у него пошли дети. По окончании срока он поселился в Нижнем Новгороде и по нужде поступил на место ярмарочного смотрителя с ничтожным жалованьем.

— Конечно, при этом бывают сторонние доходы от купечества, — простодушно пояснил мне человек, передавший эти сведения.

Я собирался посетить бывшего товарища, но через некоторое время узнал, что он умер.

IV. Новые студенты. — Григорьев и Вернер

Вскоре я, конечно, перезнакомился со своими сверстниками и товарищами. Жизнь петровского студенчества и теперь резко отличалась от жизни других заведений... Через некоторое время мы переселились из Высе-

лок на шоссе, наняв втроем комнату на так называемой «архиерейской даче». Прямо против ее ворот стоял густой сосновый бор, и однажды волк нагло утащил у нас собаку. Самая дача, собственно, была нежилая зимой и страшно холодная. Мы покрывались всем, чем могли, и все-таки страшно зябли. Такие же дачи, только лучше приспособленные для зимы, были раскиданы и в других местах в стороне от шоссе и в лесу. На Выселках жили два жандарма, но, разумеется, никакой возможности уследить за этими уединенными дачками у них не было, и сходки происходили часто. Помню, как в первый раз я с интересом пробирался по запорошенной свежим снегом тропинке. Огонек светил сквозь стволы деревьев, и в замерзшие окна все-таки были видны очертания многочисленных фигур. Никто не боялся выслеживания: забраться сюда сыщикам было бы небезопасно. Помню, как меня в этот первый раз поразила на сходке живописная фигура студента семинара Владимирова, который явился с револьвером на красной перевязи и, кажется, еще с кинжалом. На первый взгляд — длинные лохматые

волосы, борода, высокие сапоги и это оружие придавали ему вид настоящего разбойника, но, в сущности, это был самый добродушный человек, впоследствии с честью занимавший видное место в лесном департаменте. Сам он, кажется, относился шутливо к своему воинственному виду, и, когда у него спрашивали, зачем он это делает, он отвечал, улыбаясь, цитатами о карбонарах, приходивших на лесные сходки «вооруженными до зубов». У него была необыкновенная библиографическая память, и даже спорил он не иначе, как цитатами...

Вообще, ничего серьезного на этих сходках не происходило. На этот раз говорили о том, что Королев старается ввести школьническую дисциплину и относится к студентам как к ученикам той гимназии, где он был директором. Некоторые «ораторы» призывали к протесту, но все понимали, что это не серьезно, как не серьезен револьвер Владимира, которым стрелять, наверное, не придется...

На пирушках громко пели революционную «Дубинушку»:

Чтобы барка шла ходчее,

*Надо гнать царя в три шеи...
Эй, дубинушка, ухнем,
Эй, зеленая, сама пойдет,
Пой-де-ет...*

Или:

*Отречемся от старого мира,
Отрясем его прах с наших ног...*

Песня разносилась далеко, отдаваясь в парке... Ходили по рукам революционные издания вроде «Отщепенцев» Соколова и «Анархии по Друдону» Бакунина. Многое тут было очень «крайне» и даже свирепо. Бакунин прямо предлагал соединиться с «ворами и разбойниками русской земли», как с элементом инстинктивно революционным и анархическим... Мне кажется теперь, что это являлось тоже остатком прежнего нигилистического периода и совершенно не имело почвы в психологии новой молодежи. Студенты читали книжки об анархии, пели революционную «Дубинушку», произносили общезажигательные речи, потом получали дипломы и сливались со средой, как будто все это ни к чему их не обязывало. И сходка в занесенной снегом

даче не произвела на меня большего впечатления, чем в свое время тайное собрание в Измайловском полку.

Правда, еще в Петербурге, уже во второй год моего пребывания в Технологическом институте, в редкие дни, когда я заходил на лекции, я не мог не заметить некоторого особенного оживления в студенческой среде. Между прочим, оно сказывалось на своеобразной литературе объявлений в рекреационной зале. Среди обычных объявлений о подписке на лекции, «ищут сожителя в удобной комнате» и т. д., теперь замелькали рассуждения, обличения, даже полемика. Помню, например, «вопрос о зеленых околышах». Формы тогда у технологов не было. «Но мы так пропитаны казенщиной, — писали какие-то обличители, — что не можем обойтись хотя бы без околыша. Такого-то числа компания молодых интеллигентных саврасов устроила грандиозный скандал в таком-то ресторане, причем была оскорблена женщина... Как вы думаете, товарищи: не было ли там зеленых околышей?» и т. д.

К этой литературе начальство сначала от-

носились снисходительно. Но вот однажды я увидел около одного листка густую толпу, сквозь которую старался пробиться кто-то из академической администрации с двумя педелями. Я тоже пробился к стене и увидел стихотворение, озаглавленное, кажется, «К бою». Оно призывало к открытому, громкому протесту против деспотизма и кончалось следующим четырехстишием:

*И если деспот мощною рукою
Тебя за горло схватит наконец
И ты не в силах будешь кликнуть
к бою,
То молча плюнь в лицо ему, боец.*

Стихотворение быстро разошлось по рукам. Я тогда уже был в своем скептическом периоде, и на меня оно не произвело впечатления. Через несколько дней я зашел к одному из своих земляков-ровенцев. Этот бедняга попал в полосу вроде нашей, но вдобавок не отличался ни выносливостью, ни энергией. Вскоре он совершенно оголодал, позеленел и даже распух от постоянного лежания в кровати. Но у него были тоже фантазии. Поднявшись и став в позу, он неожиданно задекла-

мировал «К бою», и это окончательно убило стихотворение в моих глазах...

В Петровской академии в этот первый год у меня продолжалось то же настроение. Я ожил, поздоровел, повеселел, но на всю массу студенчества смотрел уже без прежнего интереса и прежних ожиданий. Старые студенты будили во мне хотя бы художественное любопытство. Их фигуры были колоритнее, и у них чувствовался некоторый драматизм. В новом студенчестве я не видел и не хотел видеть даже этого.

Год подошел к концу, и весь наш ровенский кружок, в том числе и Сучков, потерявший, как и я, время в Технологическом институте, отлично выдержали экзамены. Я не только перешел на второй курс, но и получил стипендию (которых тогда было много) и собирался съездить в Кронштадт к матери. Но ранее отъезда у меня произошла одна встреча, которая имела самое решительное влияние на мое настроение и послужила началом горячей дружбы, оставшейся на всю жизнь.

Как-то в жаркий день начала лета, проходя по площадке мимо академии, я увидел моло-

дого офицера, шедшего под руку с маленькой старушкой. Он только что вышел из канцелярии и теперь оглядывался как человек, совершенно незнакомый с местностью. Увидев меня, он вежливо поклонился и спросил, можно ли теперь осмотреть академию. Мне делать было нечего, и я предложил пойти с ними. Я провел их обоих по пустым аудиториям и кабинетам, а затем предложил осмотреть и парк. В парке тоже было почти пусто, и мы разговорились. Оказалось, что его зовут Василий Николаевич Григорьев, а старушка — его мать. Он офицер инженерной академии, второго курса, но сейчас подал прошение о приеме его в Петровскую академию. С ним поступает также его товарищ, Константин Антонович Вернер.

Это вызвало во мне внезапный интерес и глубокую симпатию. Эти офицеры не удовлетворены своей обстановкой и ищут чего-то, как и я искал когда-то. Найдут ли?.. И меня точно вдруг прорвало. Мы подошли в это время к Ивановскому гроту... Теперь это была только развалина. Вершина холма обрушила потолок, и часть грота засыпало. Место было

глухое, в стороне от больших аллей. Поблизости сочился ручеек и шумели деревья. Каждый раз, когда я заходил сюда, меня охватывало чувство какой-то особенной тоски. Под шорох деревьев и тихое журчанье ручья я старался угадать значение мрачной драмы. При этом личность погибшего Иванова будила во мне странную симпатию. Может быть, он изверился, как и я...

Это ощущение нахлынуло на меня и теперь, и вот перед этим незнакомым человеком, возбуждившим во мне внезапную симпатию, я неожиданно для себя излил всю горечь, накопившуюся за эти годы. Я рассказал ему о старых студентах с их драмой, и о Паше Горицком, и о нашем поколении, которое казалось мне таким мелким и неинтересным...

Григорьев слушал внимательно, и в его серых глазах, глядевших на меня из-под крутого лба, я видел глубокий интерес и участие. Но мне казалось, что этот интерес вызывается не столько самым содержанием рассказа, сколько моим настроением. Я чувствовал, что все, что я рассказывал, не ново для этого молодого офицера, что он меня понимает, но

что у него есть уже на все это какой-то свой ответ. Я, в свою очередь, перешел к вопросам, но Григорьев был очень сдержан. Он рассказал только, что, окончив инженерное училище, несколько лет служил в армии. Служба его не удовлетворила. Поступил в инженерную академию, но пришел к заключению, что и это не его дорога... И вот — поступает к нам...

Было что-то в этом новом знакомом, что меня влекло к нему и вместе импонировало. Несмотря на минувшие уже двадцать лет, я совсем еще и не видел жизни и порой чувствовал себя мальчиком. А передо мной был человек, немногим старше, но уже повидавший жизнь. Я угадывал в нем свое настроение, только... Он как будто видел еще что-то, чего я не вижу. И это-то придает такую твердость и определенность взгляду его серых глаз.

В одну из последующих встреч Григорьев по какому-то поводу процитировал из Писарева: «Скептицизм, переходящий за известные пределы, становится подлостью». У Писарева это сказано несколько иначе, но мысль

та же, и именно в этой форме в устах Григорьева она произвела на меня сильное и неизгладимое впечатление. И мне показалось, что я слишком самонадеянно стал преподавать ему уроки своего скороспелого разочарования.

Григорьев поступил в академию, и, так как я отправился в Петербург и Кронштадт, он просил меня непременно побывать у его друга, К. А. Вернера, и передать ему программу и письмо. Вернера я разыскал в мансарде на Пушкинской улице. Это был молодой офицер в форме инженерной академии, в обтрепанном мундирчике с талией, короткой не по росту, с буйными волосами и вообще совершенно не военного вида. Мне показалось, что, прочитав письмо, он с любопытством взглянул на меня. Мне он понравился.

Вернер также поступил в академию, и, вернувшись с каникул, я близко сошелся с обоими, особенно с Григорьевым. С этих пор многое, что происходило выдающегося в дальнейшем, мы переживали уже вместе.

Этот второй академический год отмечен для меня близким участием в студенческой

жизни. В академию поступило несколько архангельцев, в том числе два брата Пругавины и Личков. В Архангельске жил в эти годы в ссылке Василий Васильевич Берви (Флеровский), в доме которого бывало много молодежи, и архангельцы явились с значительным «настроением». Кроме того, у Григорьева была особенная способность сходиться с людьми, и через некоторое время он сообщил мне, что среди наших студентов он встретил несколько человек очень интересных. И он рассказал, что именно в них интересно. Я их не заметил ранее вследствие своего предубежденного взгляда, и теперь те же люди представились мне уже в другом свете. Поэтому и интерес к студенческой жизни возрастал. Я бывал на сходках, которые продолжались по-прежнему, но дело теперь пошло гораздо живее. Взносы в студенческую кассу утроились, а неофициально существовавшая библиотека значительно обогатилась. На сходках обсуждались конкретные вопросы быта, и это придало им живой интерес, привлекая значительные круги прежде равнодушного студенчества. Но этим не ограничи-

ЛОСЬ.

V. Статья Ткачева и «Вперед»

Однажды Григорьев дал мне прочитать номер нелегальной заграничной газеты (кажется, «Набат») со статьей Ткачева. Ткачев был довольно известный писатель, работавший в благосветловском «Деле», и эмигрировал после нечаевского процесса, к которому привлекался вместе с своей «гражданской женой», Дементьевой. В нечаевском процессе оба они занимали особое место, и тогда много говорили по их поводу, между прочим и о «гражданском браке». Статья Ткачева, которую дал мне Григорьев, была полемическая и была направлена против Лаврова, который тоже бежал из ссылки (в Вологодской губ.) и основал за границей журнал «Вперед». Я знал Лаврова по его «Историческим письмам», печатавшимся в «Неделе» и потом вышедшим отдельной книгой, которая была изъята цензурой (в нашей неофициальной библиотеке она вся была сброшюрована по номерам «Недели»). Ткачев полемизировал против программы Лаврова, звавшего молодежь «в народ» для пропаганды социалистических

идей. При этом он ставил пропагандистам требования предварительной умственной подготовки, требовавшей значительного труда и времени. Ткачев считал это лишним. Его точка зрения была другая. Он звал тоже в народ, но звал идти в революционном порыве для проповеди немедленного восстания. В центре своей статьи, написанной очень красиво и страстно, он поставил образ народа-страдальца, распятого на кресте. И вот, писал он, нам предлагают изучить химию, чтобы исследовать химический состав креста, ботанику, чтобы определить породу дерева, анатомию, чтобы определить, какие ткани повреждены гвоздями. Нет, мы не в состоянии исследовать... Мы охвачены одним страстным желанием — снять жертву с креста сейчас, немедленно, без предварительных и ненужных изысканий.

Я цитирую на память и не могу, конечно, передать горячего пафоса Ткачева. Помню, что сначала статья произвела на меня впечатление именно этим своим пафосом. Мне казалось, что так должен говорить истинный революционер. Григорьев ничего не возра-

зил, но вскоре дал мне «Вперед», в котором была программа и еще статья Лаврова: «Разговор последовательных». Я прочел все это залпом и был совершенно захвачен стройной системой революционного народничества. Небольшая статейка Ткачева нравилась мне просто как красивое литературное произведение. Программа и статьи «Вперед» сразу всколыхнули глубоко слагавшиеся в уме мысли и чувства, которые отлагались из всех непосредственных впечатлений жизни и литературы.

Я не стану много распространяться о народничестве... Теперь нетрудно подвести итоги и той моральной правде, которую, впрочем, многие склонны теперь отрицать, и ошибкам этого направления. Среди последних, конечно, главнейшая — это наивное представление о «народе» (под этим словом в то время еще разумели преимущественно крестьянство), о его потенциальной, так сказать, мудрости, которая дремлет в его сознании и ждет только окончательной формулы, чтобы проявлять себя и скристаллизовать по своему подобию всю жизнь...

Представление о «народе» со времени освобождения занимало огромное место в настроении всего русского общества. Он как туман лежал на нашем горизонте, в него вглядывались, старались уловить формы, роившиеся в этой туманной громаде, разглядеть или угадать их. При этом разные направления видели разное, но все вглядывались с интересом и тревогой и все апеллировали к «народной мудрости». Не говоря о славянофилах, в системе которых народ занимал такое огромное место, но даже Катков и консерваторы указывали на «мудрость народа», который, по их мнению, вполне сознательно поддерживает устой существующего строя... Для Достоевского народ был «богоносец», а Иван Аксаков еще в восьмидесятых годах любил в своей газете прибегать по разным поводам к речениям «русских мужичков», хотя бы эти «мужички» были, в сущности, толстосумы из крестьян, давно и с большим успехом перешедшие в купеческое звание. Это все равно. Уже самое происхождение из народа давало своего рода патент на обладание истинно народной мудростью. В одном рассказе Златовратского

(«Золотые сердца») выведен интеллигент из крестьян, медик Башкирцев. Он говорит почти нечленораздельно, но все чувствуют, что он знает что-то не известное мятущимся интеллигентам; и когда заговорит в нужную минуту, то скажет какое-то новое настоящее слово.

Невольно напрашивается сближение между этим героем довольно слабой народнической повести и Каратаевым из «Войны и мира», одного из величайших произведений русской литературы. Каратаев тоже не может связать правильного предложения, но его краткие изречения Пьер Безухов вспоминает всю жизнь, стараясь истолковать их в каком-то таинственном и почти мистическом смысле. Это же отношение к каратаевщине, несомненно, было присуще и самому Толстому, а с ним чуть не всем русским критикам, касавшимся «Войны и мира».

Вот почему система революционного народничества так быстро и всецело овладела умами нашего поколения. В социальной жизни есть свои предчувствия. Туча действительно лежала на горизонте нашей жизни с само-

го освобождения. Она еще не шевелилась. В ней одно время не видно было даже зарниц и не слышно даже отдаленных раскатов, но загадочная тень уже ложилась на все предметы еще светящейся и сверкающей жизни, и взгляды невольно обращались в ее сторону. Молодежь, наиболее впечатлительная и чуткая часть общества, сделала свои выводы.

Социальная несправедливость была фактом, бьющим в глаза. От нее наиболее страдают те, кто наиболее тяжело трудится. И все, без различия направлений, признают, что в этих же массах зреет, или уже созрело, какое-то слово, которое разрешает все сомнения.

Вот что тогда было широко разлито в сознании всего русского общества и из чего наше поколение — в семидесятых годах подходившее к своему жизненному распутью — сделало только наиболее последовательные и наиболее честные выводы. Если общая посылка правильна, то вывод действительно ясен: нужно «отрешиться от старого мира», нужно «от ликующих, праздно болтающих, обагряющих руки в крови», уходить туда, где «работают грубые руки» и где, кроме того, зре-

ет какая-то формула новой жизни.

Это было наивно? Да, но эту наивность разделяли наименее романтические представители русского культурного общества того времени. Часть литературы легальной и вся нелегальная сделала из этого логические, нравственно наиболее честные выводы. А молодежь внесла присущий ей энтузиазм. И вот «революционное народничество» готово. Старик Лавров и совсем еще молодой Михайловский нашли для этого настроения ясные формулы. «О, если бы я мог, — писал в семидесятых годах Михайловский, — утонуть, расплыться в этой серой, грубой массе народа, утонуть бесповоротно, но сохранив тот светоч истины и идеала, какой мне удалось добыть насчет того же народа... О, если бы и вы все, читатели, пришли к такому же решению, в особенности те, у кого светоч горит ярче моего... Какая бы это вышла иллюминация и какой великий исторический праздник она отметила бы собою. Нет равного ему в истории...»

В этой пламенной тираде — все настроение того поколения и вся теория «хождения в

народ», которую «Отечественные записки» проводили в легальной литературе, а «Вперед» приносил нелегальными путями из-за границы. Через некоторое время я весь был захвачен последовательностью, стройностью этой программы, которая вносила порядок во все жизненные и литературные мои впечатления. Народничество внесло в наше поколение то, чего не доставало «мыслящим реалистам» предыдущего: оно вносило *веру* не в одни формулы, не в одни отвлеченности. Оно давало стремлениям некоторую широкую, жизненную основу.

В Москве и в академии собирались теперь кружки, горячо обсуждавшие лавровскую программу. В это же время я увлекся статьями Михайловского и пропагандировал их между товарищами, указывая на прямую непосредственную связь его мыслей с тем, что мы обсуждали только на тайных сходках... Теперь я нашел то, чего напрасно искал в Петербурге: в наших тайных собраниях мы дружески и просто говорили о том, как нам жить честно и что надо делать. Я уже не искал настоящего «идеального студента». Этот

неуловимый образ заменился более широким и более заманчивым образом великого, таинственного в своей мудрости народа, предмета новых исканий и, может быть, новых иллюзий... Наряду с этим я нашел многое, чего искал ранее в студенческой среде, только пришло оно проще и по-иному.

VI. Гортынский

Мне вспоминается, между прочим, один случай. В то время я был библиотекарем, и у меня в номере так называемых казенных номеров в широком шкафу помещалась вся наша нелегальная библиотека. Однажды ко мне пришел студент одного из младших классов, Гортынский, и спросил какую-то книгу славянофильского направления, кажется Страхова. Выдавая ее, я не удержался от замечания, что эта книга «односторонняя». «Вот затем я и беру ее, чтобы не быть односторонним», — ответил он.

Я с любопытством посмотрел на него. Он был одет с каким-то странным щегольством, в новенькой кургузой тужурке. Усы у него были подвиты в концах, держался он с почти военной выправкой и вообще по наружности

мне не понравился. На щеках горел подозрительный румянец.

Когда я сказал Григорьеву о его замечании, тот заинтересовался, а через некоторое время, вернувшись из Москвы, рассказал мне эпизод, который, как это бывает порой, сразу запал в мою память как нечто важное и определяющее.

На небольшой сходке в частной квартире обсуждались нравственные вопросы в связи с растущим революционным настроением. Поставили вопрос, может ли цель оправдывать средства. По этому поводу говорилось тогда много, в том числе много пустяков, но это все-таки не было пустым разговором. Между прочим, в тот раз кто-то поставил вопрос конкретно: предстоит, скажем, украсть «для дела». Можно это или нельзя? Сразу общее настроение выразилось ясно: красть для доброго дела не следует, даже с утилитарной точки зрения. Кража раскроется, и тому самому делу, для которого она предпринята, будет нанесен огромный нравственный удар. Один из присутствовавших, человек последовательный, привыкший додумываться до конца,

тотчас же постарался лишить собеседников этого легкого аргумента. Допустим, что кража никогда не откроется, и в этом существует полная уверенность. Например, слабоумный Плюшкин, не знающий счета собственным деньгам, раскидал на столе свои сокровища при внуке, которому вполне доверяет. Он выходит на время из комнаты, и внуку, настроенному радикально, представляется дилемма: взять для дела, которому как раз в это время нужны деньги до зарезу, — или воздержаться... Дед даже не узнает о пропаже. Никто не страдает. А для дела так нужно!

После некоторого молчания стали «подавать голоса». Один за другим, одни легко, другие с некоторым усилием отвечали:

— Взял бы... Взял бы... Взял бы...

Когда очередь дошла до Гортынского, румянец на его щеках загорелся сильнее. Он подумал еще и сказал:

— Да, вижу: надо бы взять... Но лично про себя скажу: не смог бы. Рука бы не поднялась.

На меня этот ответ и тогда произвел сильное впечатление, и впоследствии его «рука не поднимается» вспоминалось много раз. Рос-

сия должна была пережить свою революцию, и для этого нужно было и базаровское бесстрашие в пересмотре традиций, и бесстрашие перед многими выводами. Но мне часто приходило в голову, что очень многое было бы у нас иначе, если бы было больше той бессознательной, нелогичной, но глубоко вкорененной нравственной культуры, которая не позволяет некоторым чувствам слишком легко, почти без сопротивления, следовать за «расколыгаковскими» формулами. Это «рука не поднимается» сыграло впоследствии важную роль в некоторых случаях моих колебаний... Да, русские руки часто слишком уж легко подымались и теперь подымаются на многое, на что бы не следовало.

Я припомнил свое первое впечатление от Гортынского и устыдился. Это все еще были поиски идеального студента. Идеал — значит, уж во всем, до костюма и усов... И вот человек в куцей тужурке и с подкрученными усами говорит такое слово, которое драгоценным камнем падает в душу и остается в ней навсегда...

Гортынский умер рано от чахотки...

VII. Министр и студенты

Среди описанного настроения кончился второй год моего пребывания в академии. Я перешел на третий курс. Сходки на лесных дачках продолжались. Кроме того, происходили порой собрания в Москве с техниками и студентами университета. Сказывалось ощущение движение «в народ». То и дело кто-нибудь оставлял академию и исчезал. То и дело появлялись приезжие из Петербурга, собирали небольшие собрания в Москве или академии, звали с собой и «устанавливали связи». Однажды в Москве я увидел знакомого медика Харизоменова. Он шел с двумя рабочими в картузе и поддевке и, остановившись, усердно крестился на церковь. Он сделал знак, и я не узнал его. Вместе с этим усилились аресты и параллельно возникло какое-то особенное беспокойство в студенческой среде.

Как-то в начале летних каникул академию вдруг посетил министр П. А. Валуев.

Мы имели уже удовольствие и честь видеть у себя этого знаменитого государственного деятеля. Однажды во время экзаменов

случилась неожиданность: профессор Ильенков, экзаменовавший нас по земледельческой химии, прервал экзамен и вдруг прочитал лекцию о каком-то новом способе пудлингования стали, недавно примененном на уральских заводах. Мы переглядывались: специальные способы пудлингования стали не имели никакого отношения ни к земледельческой химии, ни к нашей будущей деятельности как агрономов или лесоводов... Ильенков, не пускаясь в разъяснения, попросил нас просто запомнить то, что он говорит, и приступил к продолжению экзаменов.

Вскоре дверь химической аудитории открылась, и в нее в сопровождении академической администрации и своих чиновников вошел Валуев. Высокий, сухой, важный и даже несколько напыщенный, он уселся за профессорским столом, провожатые расселись на скамейках, и экзамен пошел обычным порядком. Но вдруг Валуев вежливо попросил у Ильенкова позволения, с своей стороны, предложить несколько вопросов. Ильенков поклонился. На серьезном лице профессора промелькнула чуть заметная ироническая

улыбка. Загадка странной лекции для нас объяснилась. Его превосходительство сразу заинтересовался вопросом: известны ли студентам обычные способы пудлингования стали? Обычные способы оказались известными. А не известны ли вдобавок новейшие способы, применяемые на уральских заводах? Студент повторил то, что сейчас слышал от Ильенкова, и при этом сделал некоторые ошибки. Это доставило видимое удовольствие министру. Он авторитетно исправил ошибки и ушел, видимо удовлетворенный, после чего Ильенков стал продолжать экзамен. Мне казалось, что старому профессору несколько совестно глядеть на своих молодых слушателей.

Посещения Валуева заканчивались порой и менее благополучно. Он явился как-то на экзамен физики к профессору Цветкову. Яков Яковлевич Цветков был человек чрезвычайно оригинальный. Одновременно с профессорством в академии он исполнял обязанности тьютора катковского лицея и на лекции в академию (за десять верст) ходил всегда пешком, невзирая на погоду. В записках какого-то

туриста, напечатанных со временем в «Неделе», была отмечена встреча с Цветковым за границей. Там он тоже путешествовал пешком, и так же у него были загрязнены и обтертаны нижние края брюк. Его считали страшно скупым, но когда он умер, то узнали, что свои средства он расходовал на стипендии. Так вот, на экзамене этого оригинала Валуев тоже вдруг предложил студенту какой-то вопрос. Студент молчит. Валуев предлагает тот же вопрос в новой форме. То же недоуменное молчание. Министр поворачивается к профессору с видимым ожиданием, что тот какими-нибудь наводящими вопросами выведет студента из затруднения. Но птичья физиономия Цветкова с длинным носом, напоминавшая несколько профиль молодой галки, на которую бы надели очки, сохраняет бесстрастное молчание. Положение становится неловким.

— Студентам это неизвестно? — произносит наконец министр, глядя в упор на Цветкова.

Тот пожимает плечами и говорит бесцеремонно:

— Мне тоже неизвестно. Если известно вашему превосходительству — просим...

Министр, не считая нужным скрывать обиды, поднялся и вышел из аудитории.

Теперь Валуев явился к нам в неурочное время. Экзамены были уже закончены, и большая часть студентов разъехалась на каникулы. Остались только те, кто совсем не уезжал домой и у кого были практические работы. Академические сторожа бегали по полям, паркам и дачам, приглашая студентов явиться поскорей в рекреационную залу. В высоких сапогах, в блузах, как были на работах, мы явились в академию. Через некоторое время дверь раскрылась. Вошел Валуев. За министром, как-то боком, точно маленькая лодочка, зачаленная к кораблю, перегнувшись в направлении его высокопревосходительства, шел чиновник особых поручений, а за ним в мундире и при шпаге — Ф. Н. Королев и инспектора. Валуев шел прямо, величавой поступью и, не дойдя шага на четыре, остановился перед толпой студентов. Затем, повернувшись пренебрежительно к директору и администрации, сказал:

— Господа, прошу оставить меня наедине со студентами.

Ф. Н. Королев, почтенный на вид старик с белой бородой, почтительно, даже робко, на цыпочках удалился с инспекторами. Затянутая в вицмундир фигура министерского чиновника приняла совершенно балетную позу: верхняя часть корпуса устремлялась к министру, ноги готовы были унести его вслед за директором. Это было так комично, что среди непочтительной молодежи пронесся волной легкий смешок. Валуев, вероятно, отнес этот смех к нашему начальству. Своему чиновнику он милостиво кивнул головой и сказал:

— Вы останьтесь...

Фигура чиновника застыла в том же грациозном перегибе. На лице его выразилось восторженное внимание. Он кинул на нас взгляд, который, казалось, говорил: «Мы присутствуем при историческом событии...»

Министр начал... Он нарочно удалил наше начальство, чтобы иметь возможность свободно говорить с нами. Он понимает молодежь и надеется, что и мы тоже поймем его. В последнее время ему сообщают о прискорб-

ных событиях в жизни академии. Для него не тайна, что академия в этом отношении не составляет исключения: среди учащейся молодежи вообще распространилось антиправительственное направление, и это ведет к самым прискорбным результатам. Студентов арестуют, ссылают... Карьера прерывается или даже гибнет... Государство лишается полезных работников... Вот он и приехал нарочно, чтобы, «просто, по-дружески» поговорить с нами об этих явлениях.

Голос у Валуева был густой, сочный и проникнутый самодовольством. Он видимо любовался собою и кокетничал своим ораторским искусством. Ему, привыкшему говорить перед царями, задача на этот раз казалась легкой. Он продолжал:

— Господа... Вы видите, борода моя поседела в трудах, которые, поверьте, далеко не всегда были мне приятны...

Тут случилась маленькая заминка: высокопоставленный оратор в этом месте речи поднес руку к предполагаемой бороде. Оказалось, что она свежа и гладко выбрита. Из толпы студентов опять послышался легкий сме-

шок. На лице чиновника проступило выражение испуга, негодования, ужаса... Министр продолжал.

Он не станет говорить нам о том, что, получая образование в учреждениях, содержащихся правительством, мы обязаны благодарностью царю как его главе... Мы можем возразить ему, что средства на учебные заведения дает русский народ и, значит, мы обязаны благодарностью только ему, а не правительству...

Он не станет также говорить о тех ожиданиях, которые наши родители, воспитатели, опекуны возлагают на наше учение, на тот диплом, который является формальной целью окончания курса. Опять мы можем возразить, что служить народу можно не только на поприще, которое требует дипломов. Далее.

Речь оратора журчала плавно, сочно и неудержимо. Но от того ли, что до его слуха все-таки доносились те маленькие смешки, которые уже два раза пробежали среди малопочтительной аудитории, или просто он, как соловей, слишком заслушался собственного

пения, только фигура отрицания увлекла его слишком далеко. Он отрицал один аргумент за другим, кокетничая «знакомством с нашей точкой зрения» и подготавливая какой-то последний непобедимый довод. Но когда наконец ему пришлось перейти к положительной части аргументации и нанести нам этот последний удар, то оказалось, что он неосторожно исчерпал все свои аргументы и все опроверг «с нашей точки зрения». Для положительной части не осталось ничего. Оратор остановился в видимом затруднении. На выразительном лице его чиновника проступило страдание.

Прошла четверть минуты томительного молчания, и оратор понял, что ему, привыкшему говорить в высоких учреждениях, — на этот раз трудно выбраться с честью, а главное, нельзя закончить в том же либеральном тоне... Поэтому он вдруг заговорил с каким-то суровым ожесточением:

— Я все-таки должен вам сказать, господа, что так как вы воспитываетесь в заведении, обязанном своим существованием государю императору, то уже одно это обязывает вас

уважать его правительство и подчиняться ему.

Легкий холодный поклон, и министр величаво удалился. Слушатели, несомненно, не были на этот раз расположены ни к какой демонстрации, но ироническое движение заметной волной пробежало опять по молодой аудитории. Министр был уже за порогом, но грациозный чиновник оставался и кинул порицающий и даже враждебный взгляд. Он, без сомнения, увозил с собою в Петербург самое ужасное представление об этих блузах, высоких сапогах и об этой ужасной непочтительности...

Я нарочно восстановил в такой подробности этот небольшой эпизод, перед тем как говорить о разразившихся вскоре студенческих беспорядках, хотя он к ним не имел прямого отношения. Как-то, года через два после этого, мне случилось прочитать в газете отзыв одного англичанина о начавшейся в России волне студенческих беспорядков. «У нас, — говорил этот англичанин, — молодежь не вмешивается в политику. Она молчит и ждет своей очереди, предоставляя говорить Гладсто-

нам и Дизраэли»...

Это мне тогда же показалось очень метким. Полное отсутствие уважения к официальным представителям политической власти, распространенное в русском обществе, играло, конечно, большую роль в волнениях молодежи. В первом томе я рассказал небольшой эпизод, когда среди взрослых я, тогда еще гимназист младших классов, услышал впервые осуждение царя Александра II за «классическую систему». Такими разговорами была полна наша повседневная жизнь. Все, в сущности, порицали правительство; поводы для этого встречались на каждом шагу. Молодежь только экспансивнее отзывалась на это настроение. И вот — перед нами наш российский Гладстон, приехавший убеждать нас. Мы не знали его как государственного человека. Слышали неопределенно и глухо, что с вступлением Валуева, заменившего Ланского, началась в России реакция... Его личные выступления у нас, это явное и легковесное кокетство ни в каком случае, конечно, не могло содействовать престижу власти среди молодежи...

VIII. Волнения в Петровской академии

Может быть, под влиянием приезда министра Королев решил принять меры против растущего настроения молодежи. Меры эти он понимал в смысле чисто гимназической дисциплины: при объяснениях со студентами в канцелярии или при встречах в парке, на ферме или опытном поле он чаще делал студентам замечания за неостриженные волосы, за беспорядок в костюме, за непочтительную позу при разговоре с начальством. Это было самое плохое, что можно было сделать в его положении. Эти придирки способны были волновать и нейтральную в остальных отношениях массу студенчества. Помню одну сходку, на которой студент по фамилии Бердников рассказал об одном из таких столкновений с директором. Многочисленная сходка волновалась и шумела. Между тем студент Бердников, упитанный и самодовольный юноша, с румянцем во все пухлые щеки, был существом самым безобидным, и впоследствии, наверное, из него вышел очень исполнительный чиновник.

Таких раздражающих мелочей, объединяв-

ших студенческую массу на вопросах школьного самолюбия и товарищества, набиралось много. Сторож казенных номеров довольно грубо остановил у входа даму, приехавшую к родственнику-студенту: женщины не допускались в номера, а только в общую приемную, и нам, в том нашем настроении, это казалось обидно: мы были уверены, что сами сумеем не допустить безобразий в своей среде... Некоторые студенты в тех же номерах стали замечать, что в их отсутствие кто-то обыскивает их вещи. Инспектора стали следить за аккуратным посещением лекций, в чем, в сущности, не было надобности. Наконец произошло событие, взволновавшее ту часть студенчества, которая была глубже затронута движением.

Некоторые из разыскиваемых студентов жили в Москве без прописки. И вот в академической прихожей стали появляться облыжные извещения о получении на имя этих скрывающихся денег или посылок. Когда они являлись, администрация задерживала их и передавала в руки жандармов. Один случай такого ареста в конторе произошел успешно

и довольно тихо. В другом случае студент (кажется, Воинов), заподозрив ловушку, успел вовремя выскочить из канцелярии и побежал через двор к парку. За ним выскочил несчастный долговязый старик инспектор и бежал по двору, сзывая сторожей. Картина вышла жалкая и отвратительная. Помню, что на меня рассказ очевидцев об этом происшествии произвел впечатление, перед которым совершенно померкли чисто школьные вопросы о стрижке волос, о выговорах Королева, о недопущении родственниц в номера и о столовой, которую студенты требовали передать в их заведование.

Начались непрерывные сходки. Собирались довольно откровенно в казенных номерах. Когда однажды явился субинспектор с сторожами, перед ним забаррикадировали дверь.

Составлялся коллективный адрес с протестом. История уже длилась около двух недель: все не могли выработать текста этого адреса. У всех была потребность заявить, что отношения с академической администрацией вызывают негодование. При этом только

чисто школьные вопросы объединяли огромное большинство. Наш кружок этим не удовлетворился. Мы требовали также заявления о сыскной роли инспекции, а большинство на это не шло.

Дело томительно затягивалось; занятия не шли на ум, нужно было как-нибудь решить кризис. После одной бурной сходки мы с Григорьевым заявили, что мы более в прениях не участвуем, составим свой адрес и подадим его, хотя бы на нем были только две наши подписи. Нужно, чтобы кто-нибудь сказал правду. После этого мы удалились в мой номер, где я сгоряча составил заявление и подписал его. Григорьев, видимо, не придавая значения тонкостям (что впоследствии причинило нам некоторые неприятности), совершенно одобрил основной мотив: отношения между администрацией и студентами основаны на взаимном неуважении, а в последнее время приняли совершенно недостойные формы: инцидент с попыткой ареста студента такого-то заставляет нас смотреть на контору академии как на отделение Московского жандармского управления, а на представителей

академической администрации как на его послушных агентов.

Подписав заявление, мы вдвоем объявили, что без дальнейших прений приглашаем подписываться всех, кто согласен с его содержанием, но подадим его, во всяком случае, при любом числе подписавшихся. Лист стал покрываться подписями. Первыми примкнули члены нашего кружка — архангельцы братья Пругавины, Алексей и Виктор, Никольский и Личков. Вернер, живший в Москве, приехал нарочно, чтобы присоединить и свою подпись. Вскоре набралось девяносто шесть подписей, и на этом дело остановилось. Большинство, находившее, что упоминание об арестах вводит опасные «политические» мотивы, сразу отшатнулось. Подписавшие выбрали Григорьева, Вернера и меня в качестве депутатов для представления адреса. Сходки прекратились. В академии наступила тишина...

Мы втроем отправились к директору. Он встретил нас серьезно и сухо, взял бумагу и стал читать ее с несколько пренебрежительным видом, в некоторых местах пожимая

плечами. Но когда он дочитал до инцидента с арестами, на его бледном старческом лице вспыхнул вдруг густой румянец, который резко отграниченной полосой залил лоб и стал быстро подниматься по высокому черепу. Я даже испугался, опасаясь, что с ним может случиться удар. Но он овладел собой и сказал угрюмо:

— Вы задеваете такие мотивы, которых я с вами обсуждать не вправе... Ваше заявление будет передано в совет.

Мы откланялись и вышли.

В академии занятия пошли своим чередом; аудитории опять наполнились, но студенческая среда жужжала, как растревоженный улей. В академии было тогда около двухсот пятидесяти студентов. Значит, не подписалось и половины. Некоторые ожесточенно нападали на нас; говорили даже о каком-то контрзаявлении, которое собирался будто бы подать с кружком единомышленников тот самый студент Бердников, который так взволновал сходку рассказом о своем чисто школьном столкновении с Королевым. Многие оставались при встречах и в аудиториях,

горячо оспаривая адрес. Помню особенно студента Аршеневского. Это был сын очень богатого помещика, толстяк, весельчак, отличный товарищ, бурш, кутила и довольно усердный студент. Горячо соглашаясь с чисто школьным протестом, он так же горячо восстал против «введения политики». Мы с Григорьевым возражали, что это те же школьные мотивы, только на более глубокой нравственной почве. На Западе университеты неприкосновенны для полиции, а у нас инспектора собственноручно ловят своих питомцев для передачи жандармам.

Прошло недели две. Поздним вечером академический сторож принес мне официальную бумагу, в которой значилось, что товарищ министра государственных имуществ, светлейший князь Ливен, вызывает студента такого-то для объяснений. Явиться — завтра же, в восемь часов утра, в гостиницу такую-то на Лубянской площади. Такую же бумагу получили Григорьев и Вернер, живший в то время в Москве.

Вызов произвел среди студентов большое волнение. Несмотря на позднее время, това-

рищи прибежали ко мне с расспросами и рассказами. Слышно было от профессоров, что Ливен приехал в этот день и уже совещался с генерал-губернатором. Назавтра его ждут в академию. Так как я был довольно беспечен насчет костюма, то товарищи принесли мне ночью черную пару с иголки. Я надел рубашку с крахмальным воротничком, щегольской галстук и лоснящиеся ботинки; все это сборное. Меня снарядили точно на праздник, и в шесть часов утра следующего дня мы с Григорьевым отправились на выселковском извозчике, носившем шутливое название фиакра, в Москву. К назначенному часу мы входили в подъезд гостиницы, а через несколько минут после нас подъехал и Вернер.

Несмотря на ранний час, князя в гостинице уже не было. Швейцар указал нам его комнату и предложил подождать. Мы ждали час. На улицах уже разгорелось полное движение, а князь не приезжал. Тогда Григорьев предложил написать на лежавшем тут же листке бумаги, что студенты такие-то являлись по приглашению в назначенное время, но, не застав никого, кроме швейцаров, и прождав более

часу, уезжают. Мы поставили свои подписи и вернулись в академию. Впоследствии рассказывали, будто вскоре после нашего отъезда Ливен вернулся и, прочитав оставленную нами своеобразную визитную карточку, отправился к генерал-губернатору Долгорукову с заявлением, что из дерзкого поступка студенческих депутатов видит, что в академии готов вспыхнуть бунт. Поэтому разнервничавшийся светлейший князь требует войск для усмирения... Его успели успокоить.

Между тем в академии уже было получено распоряжение собрать всех студентов в актовом зале. Распространился слух, что мы арестованы, и это обстоятельство могло оказать плохую услугу делу успокоения студентов. Неизвестность о нашей участи чрезвычайно нервировала массу, напрягая до крайних пределов живучее и великодушное чувство товарищества. Когда мы на извозчике подъехали к академическому крыльцу, студенты высыпали из здания и встретили нас прямо восторженно. Нам пожимали руки, нас обнимали, расспрашивали наперебой. Толстяк Аршеневский, выслушав наш рассказ, горячо об-

нял меня и сказал:

— Превосходно. Так и надо: вы поддержали честь студенчества. Теперь мы все с вами.

Оказалось, что в часы этой томительной неизвестности кем-то предложен лист для дополнительных подписей. Теперь этот лист заполнился: к нашему заявлению присоединилась, за небольшим исключением, вся академия.

Часов около двенадцати нас всех пригласили в рекреационную залу. К директорскому подъезду подкатила коляска. Первыми вызвали нас троих как депутатов. Князь Ливен принял нас в директорском кабинете в присутствии Королева, кажется, декана, профессора Собичевского, и своего чиновника. Он заявил нам, что командирован по высочайшему повелению. Государь чрезвычайно огорчен нашим коллективным заявлением. Нам должно быть известно, что по нашим уставам студенчество не составляет корпорации. Коллективное заявление само по себе составляет преступление. Он требует, чтобы прежде всего мы принесли извинение в этом незаконном поступке. Он уверен, что остальная студенче-

ская масса лишь слепо пошла за жожаками и от нас зависит теперь вернуть ее на путь законности.

Затем он обратился к каждому из нас в отдельности, требуя ответа.

Общее настроение студентов, сказавшееся при нашей встрече, воодушевляло нас так радостно и внушило нам такую уверенность в полном единодушии, что мы, не задумываясь, ответили с искренней уверенностью: мы являемся не жожаками, а лишь выразителями мнений и чувств всех товарищей. Я прибавил к этому, что отрицать корпоративное чувство студенчества — большая ошибка: где есть известная масса людей, объединенных общими интересами, идейными и бытовыми, там, несомненно, есть и корпорация. Это жизненный факт — признается ли он уставами или нет. Ливен сделал вид, что приходит в ужас от этого крамольного заявления, и, слегка повернувшись к Королеву, сказал:

— Если действительно таков дух, господствующий среди студентов, то я уже не знаю, как я осмелюсь доложить об этом его величеству... Академию останется только закрыть.

— Но пока, — прибавил он, опять поворачиваясь к нам, он надеется, что мы честно дадим ему возможность удостовериться в том, что наши товарищи действуют вполне сознательно, а не слепо следуют за нами.

Поэтому он ждет от нас честного слова, что мы, хотя отнюдь не арестованные, подчеркнул он, останемся в течение переговоров со студентами в директорской квартире, не стараясь каким бы то ни было образом влиять на товарищей.

Мы охотно дали требуемое честное слово. Помню, что в эти минуты я горячо любил всю эту молодую взволнованную массу товарищей, стоявших за нами. Я любил их всех вместе, любил и уважал теперь коллективное существо, называемое «петровский студент», «петровец». Мы глубоко верили в искренность и глубину общего порыва. Поэтому мы охотно обещали не пытаться влиять на решение остальных товарищей.

После этого нас удалили в особую комнату и приставили к ней какой-то караул. Вскоре у наших запертых дверей послышался взволнованный голос профессора Климента Аркадьев-

вича Тимирязева:

— Вы не смеете не пропустить меня: я профессор и иду к своим студентам...

Дверь раскрылась, и Тимирязев быстро вошел к нам. Торопливо пожимая нам руки, он заговорил сразу:

— Знаете, господа, я не могу согласиться в вашем заявлении со многим...

Высокий, худощавый блондин с прекрасными большими глазами, еще молодой, подвижный и нервный, он был как-то по-своему изящен во всем. Свои опыты над хлорофиллом, доставившие ему европейскую известность, он даже с внешней стороны обставлял с художественным вкусом. Говорил он сначала неважно, порой тянул и заикался. Но когда воодушевлялся, что случалось особенно на лекциях по физиологии растений, то все недостатки речи исчезали, и он совершенно овладевал аудиторией. Я рисовал для его лекций демонстративные таблицы и каждый раз приходил к нему в деревянный домик, у самого въезда в академическую усадьбу, с таким же чувством, как когда-то к Авдиеву в Ровно. У Тимирязева были особенные симпатиче-

ские нити, соединявшие его со студентами, хотя очень часто разговоры его вне лекций переходили в споры по предметам «вне специальности». Мы чувствовали, что вопросы, занимавшие нас, интересуют и его. Кроме того, в его нервной речи слышалась искренняя горячая вера. Она относилась к науке и культуре, которые он отстаивал от охватывавшей нас волны «опростительства», и в этой вере было много возвышенной искренности. Молодежь это ценила. Кроме того, мы были уверены, что его не менее нас возмущала сыскная роль инспекции... Поэтому мы с интересом приготовились выслушать его замечания, но беседа была прервана в самом начале. Следом за Тимирязевым торопливо вбежал субинспектор и сообщил, что собрался совет и что его ждут в директорском кабинете. Кажется, его свидание с нами возбуждало некоторую тревогу в близорукой администрации — хотя, конечно, если что-нибудь способно было пошатнуть нашу уверенность, то это могли быть слова Тимирязева. Но его точка зрения совпадала с казенной... Впоследствии мы узнали, что Тимирязев резко протестовал

против того, что Ливен опрашивает администрацию и даже полицейских, не имеющих никакого отношения к академии, ранее чем обратиться к совету. Вскоре началось заседание, и по временам до нас доносился звонкий голос Тимирязева, хотя слов разобрать было невозможно.

Когда Тимирязев ушел, дверь к нам опять открылась. Вошел местный исправник, по фамилии, если не ошибаюсь, Ржевский. Это был пожилой мужчина, белокурый, с проседью, вообще какой-то белесый, что придавало ему добродушный вид. Войдя к нам, он отстегнул саблю и распустил пуговицы мундира, отчего вид у него стал еще добродушнее. Затем он попросил позволения присесть с нами и тотчас же вступил в разговор с видом снисходительного дядюшки, беседующего с племянниками:

— Ох-о-хо... Устал я с вами... Что делать... Сам был молод, сам когда-то учился и увлекался.

И из уст его полились бесконечные рассказы. Все они велись в тоне балагура, много видавшего в жизни, старого воробья, которого

не проведешь на мякине.

— Вот вы, господа, увлекаетесь Щедриным. Конечно, остроумный старик, громит чиновников и помещиков. А вам это и любо... Ну а сам?.. Сам не что иное, как бывший советник вятского губернского правления... В Тверской губернии у него имение, и мне лично пришлось по долгу службы усмирять крестьян в его имении.

Он рассказал какую-то историю, в которой М. Е. Салтыков фигурировал якобы в роли крепостника. За этим рассказом последовал другой, третий, и все они были в том же роде, раскрывали некрасивую изнанку каких-нибудь «популярных деятелей». Через некоторое время он заболтался до того, что рассказ о Салтыкове повторил уже относительно Тургенева: ему приходилось усмирять крестьян в Спасском-Лутовинове. Григорьев, с присущей ему прямоотой, дал ему почувствовать, что он завирается, и исправник стушевался.

Между тем в академии события шли своим чередом. После совета все начальство прошло в актовую залу, и здесь Ливен обратился к студентам с небольшой речью, в которой ска-

зал то же, что говорил нам, погрозил закрытием академии, предложил принести от всех курсов извинение и удалился, предоставив дальнейшие убеждения профессорам. Нас опять вызвали к нему, и он потребовал продолжения нашего обязательства до завтрашнего дня. Ему, конечно, не приходит и мысли об аресте. Если бы мы, например, согласились на сегодня удалиться в Москву и не вступать ни прямо, ни косвенно ни в какие сношения с товарищами до двух часов завтрашнего дня, то этого будет совершенно достаточно. Он поверит нашему рыцарскому слову и просит утром явиться к нему на квартиру его родственников, туда-то. Мы согласились, и нам подали извозчика. Когда мы садились, кучка студентов выбежала из здания и окружила нас. Подумали, что нас арестуют. Если бы это было так, то, без сомнения, товарищеское чувство вспыхнуло бы, как порох, и нас бы непременно отбили. Мы объяснили, в чем дело: мы не арестованы, а только отпущены на честное слово до завтрашнего дня. Студенты расступились, и мы уехали.

В Москве в этот день только и говорили в

интеллигентных кругах об, истории в Петровской академии. Стало уже известно к вечеру, что студенты приносят извинение, причем главным мотивом служит забота о нашей участи: мы серьезно пострадаем, если беспорядки будут продолжаться. Помню, как огорчило нас это известие. Мы как-то совсем не считались с последствиями для себя. Мы считали, что сказали правду, и нам хотелось устоять на ней до конца. Нам было обидно, что соображения лично о нас могли нарушить товарищеское единодушие и испортить моральное значение всей этой истории.

К двенадцати часам следующего дня мы были у Ливена. На этот раз он принял нас тотчас же в скромном кабинете своего родственника. Обращение его было чрезвычайно радушно и мягко. Впоследствии мы поняли, что тогда он нас боялся: мы могли еще и теперь испортить все дело...

Он сказал нам, что огромное большинство студентов уже поняли незаконность своего поступка и он уверен, что все кончится для академии благополучно. Нас он просил только продолжить еще на сутки данное слово и

оставаться в Москве. Григорьев ответил на это решительным отказом.

— Если, конечно, мы не будем арестованы... — начал он, но Ливен живо перебил его:

— Неужели вы думаете, что я приехал сюда с такими полицейскими мерами? Поверьте, ни о каком аресте не может быть речи... — Затем, взяв меня за руку (я сидел к нему ближе других), он стал говорить почти растроганным голосом, что встретил в нас противников, но противников честных: мы рыцарски сдержали слово, и ему не приходится раскаиваться, что он доверился нашей чести...

— Это дает нам основание рассчитывать, что и в вашем лице мы имеем дело с таким же противником, — сказал Григорьев.

Князь повернулся к нему и ответил торопливо, с оттенком как будто некоторого удивления перед смелостью студента:

— О конечно, конечно!.. Итак, что же: вы согласны остаться еще сутки в Москве? Где вы будете в это время? На тех же квартирах?

Первым ответил опять Григорьев:

— Срок моего обязательства истекает в два часа. После этого я вернусь в академию.

Мы с Вернером ответили то же, после чего откланялись и вышли.

— Нас непременно арестуют до двух часов, — уверенно сказал Григорьев.

Вернер, мягкий, благодушный, доверчивый, упрекнул его:

— Ты всегда не доверяешь людям...

Через два часа нас действительно всех арестовали и препроводили в Басманную часть, за Красными воротами. Везли нас на двух извозчиках, причем Григорьев приехал значительно раньше нас с Вернером. Мы застали его в канцелярии части. С своей обычной открытой манерой он спрашивал у пристава: по чьему распоряжению мы арестованы? Нельзя ли посмотреть приказ?

— Это я не вправе сделать, — ответил пристав.

— Ну так скажите по крайней мере, кем подписан этот приказ?

— Обер-полицеймейстером.

— И только?

Пристав взглянул на бумагу, привезенную арестовавшими нас полицейскими, и, понизив голос, сказал:

— По распоряжению высочайше командированного светлейшего князя Ливена.

Помню, что это открытие доставило мне нечто вроде сознания моральной победы: «правительство» в лице Ливена унизилось до хитрости и лукавого обмана... Ливен разыгрывал перед нами роль.

Провожатые получили расписки и уехали. Нас препроводили в камеру. Пристав извинялся, что вынужден бывшим офицерам (он говорил о Григорьеве и Вернере) отвести камеру в подвальном этаже: наверху все занято. Через несколько минут мы очутились в зловонном коридоре подвального этажа Басманной части...

Из нас троих Вернер раз уже испытал прелести ареста в московских частях и, как человек бывалый, старался «приготовить нас к худшему». Но когда нас ввели в камеру с сырыми стенами и с маленьким оконцем вверху вровень с землей, то оказалось, что из нас троих он поражен больше всех. С его слов мы «приготовились к худшему», для него же самого этот подвал оказался самым худшим сюрпризом. Вдоль стены под окном были на-

ры, на которых лежали три грязных узких тюфяка, набитых соломой. Тюфяки были покрыты толстыми простынями из мешочного холста. Но что привело Вернера прямо в содрогание, так это одеяла из серого арестантского сукна, по которым ползали огромные участковые вши, сразу кидавшиеся в глаза на темно-сером фоне одеял. Отодвинув эти постели, мы устроились на краях нар и стали пить чай из принесенных городовым оловянных кружек.

Так мы просидели довольно долго, прислушиваясь к разнородным звукам, несшимся из соседних камер. Тут были пьяные песни, крики, ругательства... С улицы то и дело приводили пьяных. Приводимые сначала шумели и сопротивлялись. Тогда городовые принимались их бить смертным боем. В коридоре раздавались пронзительные крики, сменявшиеся вскоре тихими жалобными стонами. Тогда дверь отворялась и усмиренного кидали в какую-нибудь общую камеру. Впоследствии я много раз писал об убийствах, совершаемых повсеместно в наших участках. И каждый раз мне вспоминался этот первый вечер моего

первого ареста.

Усталость этих двух дней с их волнующими впечатлениями брала свое. Глаза у нас начинали слипаться. Наконец Григорьев первый решился: расправив свою «постель», он перекрестился шутливо три раза и кинулся на свое ложе, точно в холодную воду. Я последовал его примеру. Только злополучный чистеха Вернер долго сидел на краю нар, опершись плечом о стенку, и клевал носом, не решаясь на этот героический подвиг.

Так прошла моя первая арестантская ночь.

Часть четвертая

Вологда, Кронштадт, Петербург

І. Высылка. — Я становлюсь государственным преступником

Дня через два меня первого потребовали в канцелярию части.

Поставив столик на нары и поднявшись таким образом к окну, мы могли видеть, что делается во дворе. Я как раз смотрел в окно, когда во двор части с грохотом въехала карета, из которой вышли два жандарма. Из этого

мы поняли, что означает мой вызов. Высылают!.. Благодаря «открытому образу действия» Ливена мы совсем не были приготовлены к этому: приходилось уезжать без денег, без белья. На мне был чужой сборный костюм и легкое пальто, а туго накрахмаленный воротничок неприятно подпирал мою шею.

Сборы не заняли много времени. Мы крепко обнялись, и через полчаса жандармы доставили меня на Ярославский вокзал. Я не рассчитывал на такую стремительность, и мне было особенно грустно уезжать, не попрощавшись с сестрой в институте.

Меня ввели в битком набитый вагон третьего класса. В самом углу, у стенки, тоже между двух жандармов, сидел человек небольшого роста, с длинной черной бородой, напомнивший мне сказочного Черномора. Мы познакомились. Господин оказался Бочкаревым, земским деятелем из кружка И. И. Петрункевича. Перед самым отходом поезда на платформе произошел некоторый шум. Оказалось, что несколько петровских студентов, карауливших в Басманной части, попытались войти в наш вагон, но их не пустили.

Я видел, как мимо окон пронеслась фигура Эдемского, в его оригинальном охабне, высокой барашковой шапке, с большой дубиной в руках. Вероятно, именно эта живописная фигура обратила внимание сыщиков. Поезд вскоре тронулся.

Во время краткой остановки на станции Пушкино к нашему окну подошла молодая красивая брюнетка с выразительным, даже драматическим лицом. Остановясь против нашего окна, она уставилась глазами в Бочкарева, точно на икону. Разговаривать через двойные окна было нельзя, и она простояла неподвижно, с трагическим выражением в лице, пока поезд не двинулся. Бочкарев раскланялся с нею и вздохнул.

Среди ночи я вдруг проснулся точно от толчка и долго не мог сообразить окружающих меня обстоятельств. Мне приснилась мать, и острая тоска о ней теперь сжимала мое сердце. В вагоне было накурено и душно. Волны дыма застилали тусклый свет фонаря. Напротив меня и рядом клевали носом четыре жандарма. Я наконец сообразил свое положение, и мысль о матери ясно встала в уме.

Все это время я мало думал о ней. Она больна, и как-то она встретит известие о моей ссылке, если оно появится в газетах. Нервная усталость этих дней сказалась: я почувствовал, что на глаза просятся слезы... Скорей на место, чтобы написать ей что-нибудь определенное... А пока незачем поддаваться малодушию: другие мысли сменили и вытеснили тоску. Я не раскаивался. Несмотря на исполнившиеся двадцать два года, я испытывал мальчишеское чувство гордости: в Басманной части мне объявили формально, что я высылаюсь «по высочайшему повелению» в Усть-Сысольск, Вологодской губернии... Мне вспомнилось первое «тайное собрание» в Измайловском полку. Тогда были мобилизованы полицейские силы одной полицейской части. Теперь против меня приведен в движение аппарат самой верховной власти...

Не помню точно, где мы расстались с Бочкаревым. На прощание мы горячо обнялись, точно члены братского ордена, объединенные общим преследованием. Меня жандармы привезли с вокзала в ярославское полицейское управление, окна которого выходили на

Волгу. По реке медленно двигались широкие льдины начавшегося ледохода. Все население полицейского управления собралось у окон: следили за тем, как бравый прокурор, председатель общества спасения на водах, переправляет почту из Вологды на спасательной лодке. Когда переправа благополучно закончилась, помощник полицеймейстера, старик добродушного вида, принял меня от жандармов, и от него я впервые узнал, что я «государственный преступник».

— Вы ошибаетесь, — сказал я. — Я только студент и высылаюсь за коллективное заявление своему начальству.

— Ну, ну, — ответил он с положительной уверенностью. — Это самое и есть... «По высочайшему повелению», батюшка!.. Как же не государственный преступник...

И опять должен признаться: что-то при этом слегка пощекотало мое самолюбие.

Вскоре пришел полицеймейстер, человек черноволосый, военного вида, с повелительными манерами. Он успел сходить к губернатору и принес распоряжение его превосходительства: отправить меня в тюрьму. Я предъ-

явил убедительнейшую просьбу не задерживать меня в пути и послать по возможности сегодня же дальше. Мысль о матери опять захватила меня, и опять при этом глаза что-то щекотало. «Государственный преступник», вероятно, имел довольно жалостный вид, и полицеймейстер отнесся к моей просьбе с видимым участием. Он осмотрел мой парадный костюм, заметил полное отсутствие какого бы то ни было багажа и понял, что задерживать меня действительно не следует.

— Если вы не побоитесь ледохода, — сказал он, — то я похлопочу у прокурора, чтобы вас переправили завтра с почтой. А пока — что делать? Придется переночевать в тюрьме... Дайте провожатого поприличней, — обратился он к одному из подчиненных.

Явился провожатый городской, но он оказался как раз совершенно «неприличным». Тогда в губернских городах полицейские еще не успели принять щеголеватого вида, и явившийся городской напоминал одного из подчиненных гоголевского Держиморды: его шинель была вся в отрепьях с разноцветными заплатами, а сабля висела просто на ста-

рой веревке.

— Уберите его. Прислать другого, попрличней, — сказал брезгливо полицеймейстер.

Пришел другой. У этого заплата были того же цвета, что и шинель, а сабля висела частью на ремне и только частью на веревке. Полицеймейстер посмотрел и махнул рукой.

— Ну, не взыщите... Чем богаты, тем и рады... Что делать.

Я поблагодарил его за добрые намерения и пешком через весь город отправился в тюрьму. Нас было четверо: забракованный городской провожал какого-то злополучного субъекта в короткой арестантской куртке с бубновым тузом на спине. Дорогой я услышал, что этот субъект о чем-то препирается со своим провожатым, и, оглянувшись, увидел, что городской, схватив его за широкую мотню арестантских шаровар, старается осадить назад.

— В чем дело? — спросил я.

— Известно, невежество... — пояснил мой городской. — Видите, он хочет идти рядом с вами. Говорит: мы товарищи.

Воспользовавшись остановкой, субъект

выскочил вперед и бойко спросил у меня:

— Вы высылаетесь?

— Высылаюсь.

— На подзор полиции?

— Вероятно.

Он с торжествующим видом повернулся к своему провожатому и сказал:

— Ну, и я тоже на подзор полиции. Как же не товарищи!

Дальше мы уже шли рядом — я в легком чужом, но все-таки парадном костюме со стоячим крахмальным воротничком и в круглой шляпе, а он в арестантском бушлате с бубновым тузом на спине. Городовые шли сзади. Проходящая публика оглядывалась с ироническим любопытством.

Ярославская тюрьма была первая, с которой мне пришлось познакомиться. Меня ввели в камеру и оставили ее незапертой. Вскоре ко мне вошел арестант невысокого роста, в очках и с эспаньолкой. Это был мой сосед, уголовный из «привилегированных». Оказалось, что меня посадили в дворянский коридор. Отрекомендовавшись, он спросил:

— Вы, вероятно, по делу Иванчин-Писаре-

ва и графини Потоцкой?

Фамилию Иванчин-Писарева я тогда слышал в первый раз. Новый знакомый рассказал мне, что в Ярославской губернии раскрыт кружок революционеров, в центре которого стоял Иванчин-Писарев. Многие арестованы, некоторые сидят теперь в этой же тюрьме. Иванчин скрылся. Арестант часто упоминал фамилию графини Потоцкой, намекая на свое знакомство с нею и предлагая, если мне угодно, передать ей записку. Мне нечего было сообщить графине Потоцкой, и я отказался, к явному разочарованию любезного соседа.

Был, помнится, какой-то праздник, и после арестантского обеда староста, благообразный нестарый арестант, принес мне в камеру кружку чаю и целую грудку калачей и будок. Меня поразили их вид: тут были куски французской булки, куски ситного хлеба, маленький ломтик пирога и полбублика, воткнутого в ситный.

— Нынче было подаяние, — пояснил староста, — кушайте на здоровье.

Дворянский коридор был почти пуст. Я рано ушел в свою камеру и проспал почти весь

день и ночь. Утром в шесть часов меня разбудили. Полицеймейстер исполнил обещание: на берегу Волги меня ждала уже спасательная лодка, переправлявшая почту на Вологду. Вместе с провожатым полицейским и почтальоном мы уселись в лодку на полозьях, стоявшую на берегу. Подвижки льда прекратились, и только на середине тихо плыли, сталкиваясь и шурша, то мелкие льдины, то широкие ледяные поля. По льду лодку тащили на полозьях, потом, раскатившись, она погрузилась в воду и плыла среди ледяного «сала», пока, разогнавшись на веслах, не вкатывалась опять на большую льдину. Эта переправа не была лишена довольно сильных ощущений. Затем мы тихо покатались по узкоколейной вологодской дороге.

II. В Вологде. — Черты тогдашней ссылки

В Вологде губернатором в то время был старик поляк Хоминский, человек довольно либеральный и очень добродушный. Поэтому, вероятно, меня поместили не в тюрьме, а в дежурной комнате при полицейском управлении. Дело было на страстной неделе, и на

мою просьбу отправить меня немедленно далее — полицеймейстер ответил, что меня отправят на третий или четвертый день праздника.

Полицеймейстер оказался человеком тоже благодушным; он предложил мне расположиться в дежурной комнате, «как у себя дома», и спросил, не желаю ли я отправиться в баню. Я отказался: у меня не было чистого белья. К вечеру он прислал мне смену белья, предложив отдать мое для стирки. Его обращение произвело на меня впечатление самое благоприятное. Но, увы, я должен сказать, что в своей ссыльной карьере я ближе встречался таким образом с тремя очень радушными полицеймейстерами, и все они, по странной случайности, попадали под суд.

В первый день пасхи меня неожиданно посетил губернатор Хоминский. Оказалось, что его сыновья, студенты Института путей сообщения в Петербурге, получив сведения от товарищей-петровцев, успели телеграфировать отцу, и добродушный старик пришел, чтобы ободрить меня и спросить, не нуждаюсь ли я в чем-нибудь. Вскоре после него пришел

также делопроизводитель его канцелярии, молодой еще человек огромного роста. Он сидел у меня около часу и рассказывал о громкой истории расхищения северных лесов. Об ней тогда много писали в газетах. Молодой чиновник возмущался стачкой чиновников лесного ведомства с какой-то иностранной компанией. Работает экстренная следственная комиссия, но едва ли ей удастся раскрыть все: замешаны очень сильные лица и огромные иностранные капиталы.

Посещение губернатора и его чиновника, очевидно, произвело сильное впечатление на личный штат полицейского управления, начиная с николаевского кавалера сторожа и дежурных чиновников и кончая самим полицеймейстером. Придя ко мне и похристосовавшись в первый день праздника, он предложил мне прогуляться по городу.

— Вероятно, с провожатыми? — спросил я.

— Со мной, если ничего не имеете против. Я ничего не имел против, и мы пошли.

— Не хотите ли посмотреть наш арестный дом? — сказал он и, не дожидаясь ответа, поднялся по лестнице в здание под каланчой. Ме-

ня несколько удивило то обстоятельство, что здесь уже нас как будто ждали. Коридоры были чисто выметены, и воздух проветрен. Пройдя со мной по коридору и предложив взглянуть в камеры через глазок, он неожиданно сказал ключнику:

— Есть свободная камера?

— Так точно: номер девятый.

— Отопри... Не угодно ли вам взглянуть внутри? — И он сделал жест любезного хозяина, пропускающего вперед гостя.

Мне вспомнилась сцена между городничим и Хлестаковым, и я, как Иван Александрович, не прочь был отказаться от любезного приглашения. Но скрепя сердце переступил через порог и спустя некоторое время благополучно вышел из камеры. Очевидно, полицеймейстер имел в виду только похвалить чистотой помещения.

Удивление мое еще усилилось, когда, выйдя на крыльцо, я увидел во дворе выстроившуюся в порядке пожарную команду.

— Где-нибудь пожар? — спросил я.

— Нет, это я нарочно: может быть, вам интересно взглянуть на наши новые машины?

Он сделал знак, и команда тронулась со двора. Сытые лошади рвались вперед, звенели колокольчики, развевался пожарный флаг, сверкали новенькие насосы, окрашенные ярким суриком, блестели медные каски пожарных, я с полицеймейстером стоял на крыльце, краснея и чувствуя себя действительно в положении Хлестакова: для меня столько людей и лошадей потревожили в такой большой праздник...

Да, это был странный период российской ссылки, вскоре прекратившийся. В ссылках захолустях жили еще, очевидно, смутные воспоминания о тех временах, когда люди попадали в ссылку, чтобы потом, при перемене обстоятельств, сугубо возвыситься. Телеграмма губернаторских сыновей, посещение самого губернатора вызвали, очевидно, в голове благодушного полицеймейстера ту же идею, и на всякий случай он нашел не лишним показать свое хозяйство в образцовом порядке...

Когда мы возвращались с прогулки вдоль лицевого фасада полицейского управления, случилась маленькая неожиданность: одна из дверей внезапно приоткрылась, и из нее

показалась небольшая фигура мещанского вида. Чья-то рука крепко держала ее за шиворот и затем сильным толчком кинула вниз с невысокой лестницы. Неизвестному грозило довольно неприятное падение, если бы, размахивая руками и шатаясь из стороны в сторону, он не ударился головой в живот полицеймейстера. Последний схватил его сверху за шиворот, сердито встряхнул раза два и, установив прочно на ногах, спросил довольно грозно:

— Это что такое? Ты пьян?

Мещанин действительно был пьян, но все-таки пытался оправдать себя: он пришел в полицейское управление за справкой, а они вот какую справку выдали: по шее да с лестницы!..

И, внезапно вдохновившись, он воскликнул с настоящим пафосом:

— Ваше высокоблагородие... Что ж это у нас за порядки? Республика, что ли?..

— Ну, ну, ступай. За справкой придешь в будни и трезвый. — И, улыбнувшись с грустной снисходительностью, он повернулся ко мне и сказал — Вот, не угодно ли, — какое по-

нятие о республике!..

Можно было догадаться, что собственные его понятия о республике — другие. В общем, повторяю, у меня осталось приятное воспоминание о добродушии этого человека, и мне хотелось бы думать, что служебные неприятности, его постигшие через некоторое время, не имели особенно предосудительного характера.

III. Мой провожатый. — Остановка в Тотьме. — Знаменательная встреча

Вскоре мне пришлось тронуться в дальнейший путь. Весна быстро надвигалась с юга. В Ярославле Волга уже трогалась, но Северная Двина лежала еще подо льдом. Снега были глубоки, но дни стояли теплые, и всюду под снегом журчали весенние ручьи. Ехали мы быстро, но все же подъехали к Тотьме по совершенно рыхлой дороге, а местами прямо и по грязи.

Судьба послала мне в провожатые человека очень оригинального. Это был городской по фамилии, кажется, Федоров (точно не помню), очень малого роста, плотный, с шарообразной головой и пухлыми щеками, среди ко-

торых совершенно утопал маленький нос. Настоящий Квазимодо по безобразию, он оказался человеком благодушным и разговорчивым. Между прочим, он питал почему-то пламенную ненависть к жандармам...

— Терпеть не люблю, — говорил он. — Жандарма есть самый последний человек: ябедники, доносчики, фискалы. Не то что на товарища — на отца родного донесет.

В этом неодобрении мы с ним сходились, хотя по разным причинам.

В Тотьме на почтовой станции мне сказали, что меня к себе приглашает исправник. Он сообщил мне, что утром получена телеграмма от губернатора: предложить студенту Короленко на выбор — следовать далее в Усть-Сысольск или же под надзор полиции на родину.

Подумав немного, я написал, что предпочитаю отбыть ссылку «в г. Кронштадте, где живет моя мать». На родине, в Житомире, у меня никого уже не было. Кроме того, я еще живо помнил, как рвался из своих мест, и потому решил написать наудачу: авось попаду в Кронштадт. Исправник принял бумагу и дал

тут же полицейскому предписание везти меня обратно в Вологду...

Лошадей на станции не было — недавно прошла почта на Архангельск. Пришлось ожидать. Мы дружелюбно сидели на крылечке почтовой станции, беседуя с моим Квазимодо, как вдруг лицо его нахмурилось.

— Смотрите, смотрите: жандарма идет... Шнырит чего-нибудь, подлец... Непременно об вас пронюхал. Смотрите, будто и не видит нас, а сейчас остановится... Вот увидите...

По другой стороне улицы, представлявшей море жидкой грязи, шел жандарм. В шинели нараспашку, с заломленной фуражкой, он имел вид праздного фланера и беспечно глядел по верхам. Но вдруг взор его как будто случайно упал на нас. Он остановился, приятно пораженный.

— Ба, господа проезжающие! У нас такая редкость заезжие люди... Позвольте побеседовать. Откуда будете? Из Москвы?

Он оглянулся направо и налево, но нигде не было перехода. Тогда он решился и пошел вброд по глубокой грязи, с трудом вытаскивая ноги.

— Так изволите ехать из Москвы? Студент? Петровской академии? Скажите... Как это приятно... У меня там землячок, даже, признаться, родственник: Суровцева не изволите знать? Здоров ли? Что-то давно не пишет.

Мой провожатый делал мне какие-то знаки. Суровцев в это время скрывался, и жандарм «разведывал». Я ответил спокойно:

— Суровцева знаю. Товарищи. Видел его перед самым отъездом. Здоров. Просил кланяться родственникам, если встречу.

— Да не может быть... — изумился жандарм, и глаза его забегали. — Где же он проживает, если вам известно?

— Конечно, известно: проживает в академии, на Выселках, где жил и прежде...

— Обрадовали вы меня... Пойти сейчас же не сказать... Честь, имею кланяться. — И он быстро ушел...

— Эх вы-ы! — сказал мой провожатый с выражением крайнего порицания. — Зачем сказали? Суровцева-то ищут! На телеграф теперь побежал, телеграмму даст непременно.

Я засмеялся и сказал, что пошутил: Суровцев скрывается, и адрес его неизвестен. Горо-

дового охватил бурный восторг, лицо его исказилось невероятными гримасами, и он так судорожно качался из стороны в сторону от хохота, что я думал — он упадет с крыльца.

В ожидании лошадей я получил неожиданное приглашение: в городе жил чиновник лесного ведомства, бывший студент Петербургского лесного института. Считает меня, как петровца, своим товарищем и просит прийти к нему попить чаю. Я охотно согласился, провожатый не возражал.

Пригласивший меня оказался лесным таксатором с семинарской фамилией Успенский или Предтеченский — теперь не помню. Это оказался человек симпатичной, но чрезвычайно унылой, даже мрачной наружности. Жил он в холостой, неуютной обстановке вместе с сожителем, лесным кондуктором. По случаю праздничного времени оба были в легком подпитии, которое действовало на них противоположно: таксатор был, по-видимому, угнетен и уныл сверх меры, кондуктор весел, развязен и говорлив. Тотчас после моего прихода Успенский отвел в сторону кондуктора и стал что-то шептать ему. Тот с само-

довольным видом ответил:

— Ну что ж. Нам наплевать, — и тотчас же, демонстративно вынув кошелек, отправился «распорядиться».

Смуглое лицо Успенского (я буду так называть его), казалось, потемнело еще больше. Видя, что секрет его разоблачен, он потупился и сказал:

— Добрый малый... И товарищ... Но взяточник и потому вполне благополучен. А я, видите ли, старых идей держусь, студенческих. Противлюсь взяточничеству. Поэтому придираются ко мне... Вот сделали начет... Третий месяц получаю только треть жалованья.

И он рассказал мне, что не согласился подписать какую-то сделку и за это ему мстит непосредственное начальство.

— И дурак, ха-ха-ха, — с неприятной развязностью сказал вошедший на эти слова кондуктор. — Ну кого ты, скажи пожалуйста, своею честностью удивить хочешь? В нашем деле, я вам скажу, господин, главное, уметь неправильность соблюсти... Тогда, ха-ха-ха, жить можно...

Лицо Успенского передернулось страдаль-

ческой гримасой.

— Замолчи. Ты пьян, — сказал он.

— Ты больно трезв... Только я пьян на свои, а ты в долг, — ответил развязный молодой человек.

Через час к квартире таксатора подали почтовую тройку. Мои хозяева, захватив несколько бутылок, уселись со мной в просторные почтовые сани и поехали провожать меня до следующей станции. Дорогой они продолжали пить. При этом Успенский все глубже увязал в меланхолии, а его сожителю становился все веселей и развязнее. Он кидал в проезжих мужиков пустыми бутылками, заливался громким хохотом, горланил песни, вообще становился несносен. В одном месте он вдруг остановил ямщика. У дороги лежали штабели свежесрубленного хорошего строевого леса. Несмотря на опьянение, он живо, хотя и пошатываясь, прошел по глубокому снегу, что-то посмотрел и, вынув записную книжку, с веселым видом стал делать в ней какие-то отметки.

— Комлями в разные стороны... Не по правилам — штраф с подрядчика, или откупайся,

голубчик!.. — говорил он весело, взобравшись опять в сани.

— Постыдился бы человека, — с печальной укоризной произнес Успенский...

На следующей станции мы расстались.

Успенский горячо обнял меня и заплакал:

— Завидую вам... Избрали благую часть... — говорил он слегка заплетающимся языком, — а я погибаю вот тут... Видите: торжествующая свинья, а мне товарищ...

— Ну, ты не очень. Чего лаешься? Кто виноват, что сам глуп, не умеешь неправильность соблюсти.

И он тоже полез целоваться со мной. Дальше я поехал один, унося с собой резкое и глубокое впечатление.

Юность склонна к быстрым обобщениям. Назад я оставил светлейшего князя Ливена, высшего представителя ведомства, в котором я собирался служить. В то время, после коварного поступка с нами, он казался мне совершенным негодяем. Потом — рассказы губернаторского чиновника о грандиозных хищениях лесного ведомства, охвативших чуть не весь север, с которыми бессильно справиться

правосудие. И вот, наконец, эта яркая иллюстрация уныло страдающей добродетели в лице Успенского и торжествующего порока в лице этого маленького взяточника — все это складывалось для меня в яркое и цельное настроение. Мои еще недавние намерения и мечты матери, связанные с дипломом, разлетелись прахом... И пусть... Нет, я уже не пойду на службу к этому государству с Ливенами и Валуевыми вверху, с сетью мелкого неодолимого хищничества внизу. Это — разлагающееся прошлое. А я пойду навстречу неведомому будущему...

IV. Лесными дорогами. — Рассказы о скитниках. — Определяющая минута жизни

Все эти мысли роем неслись за мной по дороге под скрип полозьев и звон колокольчика. Под вечер мы ехали меж двух стен дремучих темных лесов. Они тянулись по обеим сторонам дороги, молчаливые и таинственные, а мой разговорчивый провожатый рассказывал мне о том, как он, когда был помоложе, ходил в команде с исправником по этим лесам и разорял кельи лесных скитни-

ков. Ходили на лыжах, проникали в глухие трупщобы, где находили избушки на курьих ножках, из которых хозяева по большей части успевали скрыться. Порой у иконы еще теплились лампадки. Избушку разоряли, из бревен складывали костер, кидали туда же всю утварь, иконы и лампадку, костер зажигали, а сами уходили.

— А что же хозяева, — спросил я, — как же они?

— А уж это как бог... Иной добредет до деревни или жительства — ну, тот счастлив. А который не успеет, захватит его мороз в лесу или пурга в поле, так и замерзнет. Нашли такого одного: сидит старче под деревом, закуржавел весь. Глаза открыты, и на глазах снег. А пальцы сложены двуперстием...

— И вы не чувствовали, что это грех? — спросил я, взволнованный этим рассказом.

Рассказчик слегка вздохнул.

— По приказу начальства... Конечно, может, и грех. С начальства и взыщется... Ну, и начальству тоже нельзя иначе. Тоже и им приказывают — потому много и из скитников этих беспаспортных бродяг, беглых сол-

дат, даже так, что и разбойников с каторги.

Мы ехали дальше. Опять скрипели полозья, звенел колокольчик, глухо шумели отодвигавшиеся назад леса, давно утонувшие в ночном сумраке. А в голове, такие же сумрачные и значительные, плыли мысли. Может быть, и теперь в этих чащах теплятся огоньки перед иконами, и таинственные старцы, удалившиеся от грешного мира, молятся, вздыхая о правде. Замечание рассказчика о том, что среди них бывают бродяги и даже разбойники, как-то проскользнуло мимо моего внимания, как когда-то проскальзывали «циничные» замечания Ардалиона о Веселитском... Темный умом, преданный суеверию, но светлый духом — таким рисовался мне образ лесного скитника. И душой я был с ним против гонителей, в том числе и таких, как мой провожатый, не ведающий, что творит...

Мы ехали всю ночь, чтобы захватить еще остатки разрушающейся дороги. На следующий день, выехав с одной из почтовых станций, мы вскоре остановились в большой деревне. Тут жила семья везшего нас с этой станции ямщика, и он на минуту забежал в

свою избу. День был яркий, солнечный и теплый. Вдоль широкой и длинной улицы стояли просторные, по большей части, двухэтажные, избы. На них лежал еще снег, но кое-где чернели уже темные пятна тесовых крыш, и вдоль всей улицы, прохваченной горячими весенними лучами, сверкала веселая живая капель. Нигде ни садика, ни длинного забора. Мне вспомнилось, что природу нашего севера назвал кто-то золотушной.

Из избы, куда за ямщиком ушел мой провожатый, вышел хозяин, вероятно отец ямщика. Он был высок и моложав. У него были светлые рыжеватые волосы, такие же небольшие рыжеватые усы и бородка. Он был широкоплеч и, по-видимому, силен, с большими рабочими руками, но грудь у него была впалая, и вся фигура странно гармонировала с этой кипящей жизнью, но все-таки золотушной, северной природой. Он был без полушубка и без шапки и в руках нес большой жбан... Подойдя к саням, он поклонился мне с какой-то истовой и важной ласковостью.

— Испей, приятель, не побрезгуй: на праздник варили... — И он подал мне жбан с бра-

гой.

Я выпил и от души поблагодарил его. Когда он ушел, меня вдруг охватило какое-то особое ощущение, теплой и сильной волной прилившее к сердцу, ощущение глубокой нежности и любви к этому человеку, нет, ко всем этим людям, ко всей деревне с растрепанными под снегом крышами, ко всей этой северной бедной природе, с ее белыми полями и темными лесами, с сумрачным холодом зимы, с живой весенней капелью, с затаенной думой ее необъятных просторов... Судьба моя сложилась так, что это захватывающее чувство мне пришлось пережить на севере. Случись такая же минута и при таких же обстоятельствах на моей родине, в Волыни или на Украине, может быть, я бы почувствовал себя более украинцем. Но и впоследствии такие определяющие минуты связывались с великорусскими или сибирскими впечатлениями...

Теперь все, что я читал у Некрасова, у Тургенева, во всей народнической литературе, внезапно вспыхнуло и осветило ощущение этих дней и особенно этой дороги между дву-

мя стенами дремучего леса, под рассказы о пустынных скитах и их разорителях. И над всем как будто поднялся облик этого высокого, но точно изможденного богатыря, подходящего с величавым поклоном и приветливым словом к незнакомому гонимому человеку...

V. Царская милость. — Встреча с товарищами-петровцами. — Статья исправника в «Голосе»

Мы приехали в Вологду. Опять та же дежурная комната в полицейском управлении и тот же радушный полицеймейстер. Приехал я к вечеру, а ночью ко мне неожиданно ворвался мой брат. Узнав о беспорядках в академии и о том, что я был депутатом, он тотчас же бросился в Москву. Товарищи в академии дали ему указания, и он поехал в Вологду. Здесь он сделал такой стремительный натиск на дежурного чиновника, что тот растерялся, и я неожиданно проснулся в объятиях брата. Мы оба хохотали, когда наутро этот чиновник, небольшой субъект с круглым лицом и усами, как у таракана, успевший уже зарядиться, по случаю

праздника или для храбрости, говорил мне:

— Напугал меня, знаете ли, ваш любезный братец, знаете ли!.. Ворвался, знаете ли: где, говорит, мой брат? Я уже думал: не мазурик ли, знаете ли? А это, оказывается, не мазурик, а ваш любезный братец...

Явившийся утром полицеймейстер только головой покачал, узнав об этом неожиданном вторжении. Это было тоже проявление сравнительно благодушных нравов тогдашней ссылки, совершенно невозможное впоследствии...

В тот же день ко мне вторично явился губернатор Хоминский с моим заявлением о желании вернуться в Кронштадт в руках.

— Но разве Кронштадт ваша родина? — спросил он.

Я ответил откровенно, почему написал о Кронштадте. Если туда нельзя, то я предпочитаю Усть-Сысольск. Хоминский подумал и махнул рукой.

— Хорошо, я удовлетворюсь вашим ответом и препровожу вас в Петербург. Но согласятся ли там — это вопрос. Вас все-таки могут отправить в Волынскую губернию...

Дня через два мы отправились в обратный путь по узкоколейной вологодской линии в сопровождении прилично снаряженного, даже щеголеватого городского. Брат, конечно, ехал со мной в том же вагоне.

В Москву мы приехали утром. Поезд на Петербург отправлялся, кажется, часа в четыре, и мы уже условились с моим благодушным провожатым, что я поеду повидаться с сестрой в институт, а он тоже повидает в Москве каких-то своих родственников и затем явится на вокзал. Мы так и сделали, но, по-видимому, у полицейского явились все-таки некоторые сомнения, и вместо вокзала он приехал за мной ранее в институт. Его появление и мой уход в сопровождении полицейского произвел в институте настоящую сенсацию. В окнах мелькали любопытные юные лица, а почтенный швейцар провожал меня изумленным и как будто шокированным взглядом. Это был, вероятно, в летописях института первый случай такого посещения.

Брат присоединился ко мне уже в поезде, при остановке у платформы Петровской академии, в двенадцати верстах от Москвы. Вме-

сте с ним в вагон ввалилась гурьба студентов-петровцев, узнавших о моем проезде. Мы горячо обнялись, но я заметил какое-то облако в их настроении. Помню, тут был, между прочим, поляк Керсновский. У него были прекрасные волнистые волосы. Теперь он был низко острижен. На мое шутливое замечание по этому поводу он угрюмо отвернул голову, и густой румянец показался на его тонком и нервном лице.

— Надо было совсем обрить голову, — сказал он. — Дались в обман, как последние идиоты.

Они рассказали мне о том, что происходило в академии после нашего отъезда из Москвы. Профессора убеждали студентов подчиниться. Особенно горячо говорили профессор богословия священник Головин, известный в Москве красноречивый проповедник, а также профессор Иванюков. Видя, что со всей массой справиться трудно, так как некоторые курсы влияют на остальных, администрация потребовала, чтобы студенты разошлись и решали по курсам отдельно.

На этом одно время сосредоточилась вся

борьба. Несколько раз начинали уже расходиться, но каждый раз это течение останавливал Эдемский. Стоя на окне большого рекреационного зала, возбужденный, с мрачно сверкающими глазами, он несколькими окриками удерживал уходящих, и толпа шарахалась назад. Она была охвачена невероятным возбуждением. Богослов-священник произнес горячую речь, в заключение которой заплакал. Слово его произвело некоторое впечатление, но в это время из рядов выбежал маленький белобрысый студентик, бывший семинарист. Это было незаметное, бледное, тщедушное существо. Он жил как-то уединенно, ни с кем не сходясь. Вероятно, в какой-нибудь отдаленной бурсе он много натерпелся от духовного начальства, и в его сердце накопилась болезненная ненависть. Выбежав вперед, он истерическим голосом выкрикнул, в свою очередь, какой-то текст из пророка и продолжал:

— А, вы почувствовали, что пришел конец вашему царству, царству Велияла... Да, пришел, пришел конец!

И он как сумасшедший выбежал из рекре-

ационного зала. Одним из главных аргументов сторонников подчинения было соображение о судьбе депутатов. Аргумент был хорошо рассчитан, и толпа наконец подалась, сначала разошлась по курсам, а затем один курс за другим стал посылать к Ливену делегации с повинной.

Результат был достигнут, но какой ценой? Когда нас все-таки выслали, вся эта молодежь почувствовала себя обманутой, а представители того государства, которому они скоро будут служить, явились в ее глазах обманщиками.

Студенты провожали меня на протяжении двух-трех станций. Если я был «вредным смутьяном», то в этой встрече, в горячих чувствах, ею вызванных, сказалось несомненное моральное торжество «смуты» над официальным «порядком».

И сколько поколений русской молодежи проходило и ранее, и после этой истории через ту же волну горячего подъема. Глубокая моральная болезнь существующего порядка сказывалась в этом. Не вопросы о столовых или землячествах, не частные вопросы

академического быта, а полное отсутствие уважения к основам строя — вот что периодически потрясает нашу молодежь. Молодость бескорыстна и великодушна. Еще не связанная путами житейской практики и личными интересами, становясь у порога жизни, она колеблется отдать свои силы на службу тому строю, в основании которого она чувствует неправду. И вот в первом порыве, по любому поводу, в наиболее доступной ей форме она готова открыто высказать эти свои чувства. Силой, непомерными репрессиями или лукавством и хитростью, как в нашем случае, достигается формальное подчинение «порядку». А потом, пережив этот опасный период, — молодежь втягивается в служебную лямку, из которой ей нет уже выхода. Но входит она туда часто с глубоким надломом. Поговорите с любым состарившимся на службе чиновником, и в минуту откровенности вы непременно откроете в его душе уголок, своего рода часовенку, где, как некие реликвии, он хранит воспоминания о том, что «и мы были молоды, и мы увлекались». И это прошлое, когда он стоял еще на рубеже жизни и чув-

ствовал себя противником строя, которому теперь служит, он, наверное, считает лучшим периодом своей жизни...

Товарищи передали мне, что Вернер выслан в Глазов, Вятской губернии, а Григорьев — в Пудож, Олонецкой. Кажется, смягчая мою участь, государь (Александр II) захотел отметить разницу между ими и мною: как бывшие офицеры, они должны были нести более суровое наказание. Этим я и был обязан предложением отбыть ссылку на родине.

Поезд, с которым я ехал, был какой-то медленный, и в Петербург, в здание градоначальства, меня привезли довольно поздно. В канцелярии давно уже никого не было, и меня провели какими-то ходами в комнату в нижнем этаже. Здесь мне пришлось дожидаться довольно долго, пока мою бумагу носили к секретарю градоначальства, если не ошибаюсь, Фурсову.

Брат мой был юноша предприимчивый: прямо с вокзала он отправился к одному из наших близких товарищей, земляку Бржозовскому, и оба они по свежим следам отправились в градоначальство. Здесь, не знаю уже

каким путем, им удалось проникнуть в ту комнату, где я дожидался, и мы дружески беседовали втроем, когда неожиданно входная дверь открылась и в комнату вошел секретарь. Это был мужчина высокого роста, одетый в штатское, с большими пушистыми усами. Видно было, что его подняли с постели, что он недоволен, даже сердит. Войдя, он остановился в изумлении.

— Эт-то что еще за компания? Как вы сюда попали, кто вас сюда пустил? Я вас сейчас арестую.

Он быстро открыл дверь, чтобы позвать кого-нибудь, а я в это время в другую дверь выпроводил брата и Бржозовского. Когда Фурсов вернулся с каким-то полицейским, их и след простыл. Он накинулся на моего вологодского провожатого, но тот мог только сказать, что один из посетителей мой брат и приехал вместе со мной, а другого он не знает. На гневный вопрос, обращенный ко мне, я ответил спокойно, что не вижу никакой надобности называть ему моего товарища.

Это привело его в совершенную ярость. Пробежав бумагу от вологодского губернато-

ра, он сказал:

— Ну, это дудки-с! Что за место ссылки Кронштадт! Нет-с, батюшка! Ваша родина Волынская губерния?.. Ну так вот, сейчас же в пересыльную и в Житомир.

Он поднялся по узкой винтовой лестнице наверх.

— К Трепову пошел, — прошептал полицейский, которого Фурсов привел с собой, чтобы арестовать моих посетителей. — Плохо ваше дело: разбудит... Генерал осердится... Не иначе, в пересыльную отправит...

Однако через полчаса сердитый господин спустился по той же лестнице и, проходя через комнату, обронил, пожимая плечами:

— Странно. Генерал находит возможным... Кронштадтский пароход отходит завтра, в девять часов утра, но раньше идет поезд на Ораниенбаум. Выбирайте. А ты, — обратился он к вологодскому полицейскому, — повезешь до места и сдашь кронштадтскому полицеймейстеру. Сейчас получишь бумагу.

Я решил ехать на Ораниенбаум, и мы отправились на вокзал дожидаться поезда. Ранним утром с ораниенбаумским пароходом мы

высадились на кронштадтской пристани.

Таким образом, мой первый ссыльный путь был кончен.

Чтобы покончить также и с нашей академической историей, мне приходится сказать еще несколько слов. После известных крупных студенческих беспорядков в конце 60-х годов и после нечаевского процесса заметные движения среди молодежи стихли, студенческих беспорядков не было... Начиналось что-то в Медико-хирургической академии, но быстро стихло. Среди этого затишья наша, в сущности, незначительная история разразилась, как гром среди ясного неба. О ней много говорили в обществе, но не решались писать в газетах. Появились только самые краткие сообщения с упоминанием трех наших фамилий. Газеты ждали, вероятно, правительственного сообщения, но его тоже не было. Наконец «Голос» Краевского решился напечатать заметку об этом деле, вероятно, потому, что она исходила из самого «благонадежного» источника: ее прислал знакомый уже нам старый балагур, исправник Ржевский. Он изложил ее по-своему. Студенты подали ребяче-

ское заявление, в котором, между прочим, «требовали себе женщин». Они волновались и не хотели принести извинения, но, к счастью, тут случился местный исправник, человек опытный и знакомый с нравами молодежи. И вот достаточно было нескольких простых и сердечных слов, сказанных этим стариком, любящим молодежь и любимым ею, чтобы беспорядки сразу стихли.

Брат доставил мне эту заметку уже в Кронштадте. Он и еще несколько студентов являлись в редакцию для объяснения, и там им сообщили, что заметка напечатана именно потому, что написана исправником. В обществе ходят толки и слухи, а печатать ничего нельзя. Газета поэтому «рискнула» поместить сообщение из «благонадежного источника». Так как при этом были упомянуты фамилии депутатов, в том числе и моя, то я счел своим формальным правом послать «письмо в редакцию», в котором с юным негодованием опровергал измышление исправника. Но мне ответили, что последовало положительное запрещение касаться этой истории.

Этот эпизод оставил во мне накипь пре-

зрительного негодования к «либеральной» газете Краевского. Я написал новое письмо, хотя уже не для печати, в котором говорил, что газета, поместившая «гнусную клевету из полицейского источника», нравственно обязана снять ее, не считаясь с запрещением...

Разумеется, ответа не последовало.

VI. В Кронштадте. — Полицеймейстер Головачев

Кронштадт и тогда был на особом положении: управляли им моряки. Полицеймейстером был капитан Головачев, а комендантом, вроде губернатора, адмирал Козакевич. Головачева прозывали в городе Капитаном Носом, так как нос его заканчивался большими синими желваками. Это был нестарый человек, в морском мундире, с кортиком, подвижной, деятельный, экспансивный и предприимчивый до такой степени, что в скором времени попал под суд по обвинению зараз в тридцати двух преступлениях. Одно из них состояло в том, что, выйдя на базар за пять минут до окончания церковной службы и увидя, что торговцы вопреки приказу поторопились открыть уже свои лавки, он стал сре-

ди площади и крикнул зычным голосом:

— Братцы матросики... Грабь их в мою голову. Чтобы помнили закон...

Толпа не заставила повторить себе этот приказ. Матросы разных наций кинулись на лари с криком: «Ура! Капитан Нос приказал», — и, кажется, еще до конца службы базар был разграблен.

Это было уже слишком громко, и решительный полицеймейстер был наконец отдан под суд. Но в то время, когда я прибыл в Кронштадт, он был еще в полной силе, и его темперамент совершенно соответствовал взглядам высшей морской администрации.

Моряки были тогда народ либеральный. Пробежав бумагу, Головачев галантно пожал мне руку и сказал:

— А, знаю. Ваша фамилия упоминалась в газетах... Ну что ж, добро пожаловать... Сейчас мы отправимся к адмиралу.

Моего провожатого отпустили, а мы с полицеймейстером отправились на его лошадах в адмиральский дворец. Было еще довольно рано, и мне пришлось дожидаться в гостиной, где мебель была покрыта чехлами. Нако-

нец адмирал вышел вместе с Головачевым. Последний имел такой вид, как будто привез к начальнику некоторую редкость, которая должна ему доставить удовольствие. Адмирал, по-видимому поднятый с постели, имел вид несколько заспанный, но встретил меня радушно.

— Добро пожаловать, — сказал и он. — Очень рад с вами познакомиться... Жалею, что знакомство произошло при таких обстоятельствах. Ну, да авось недолго. Надеюсь, мы с вами ссориться не будем. Теперь вы свободны.

Выбежав из дворца, я нанял извозчика и поехал на квартиру двоюродного брата.

Мать была нездорова и лежала в постели. Болезнь ее была чисто нервная, а в последние дни она замечала, что от нее что-то скрывают, и догадывалась, что это относится ко мне. Она широко открыла глаза, когда я в сопровождении двоюродного брата и его жены вбежал в ее комнату и обнял ее, весело смеясь. Она удивилась и обрадовалась. Пользуясь этим моментом радостного возбуждения, я сразу сообщил ей, что ее мечты о хозяйстве в

лесном домике разлетелись прахом, но зато мы будем жить вместе. Она смеялась и плакала в одно и то же время.

Итак, я зажил «на подзоре», по выражению моего ярославского тюремного товарища, в Кронштадте. Сестра моя кончила институт, и мы решили поселиться отдельно от двоюродного брата на своем хозяйстве. Младший брат в это время поступил вольнослушателем в строительное училище и жил в Петербурге. Старший продолжал работать в корректуре, но уже самостоятельно. Он тоже вырвался из цепких когтей Студенского. Младшая сестра жила с матерью. Мне пришлось искать работу в Кронштадте, и я сделал объявление в местном «Вестнике», что «студент ищет занятий». При этом я перечислил: уроки, чертежи, рисунки и... корректуру.

В тот же день я получил экстренное приглашение к Головачеву.

— Батюшка... Что же вы это со мной делаете? — И он указал на объявление. Я удивился, что же именно приводит его в такое негодование — уроки, чертежи, корректура?

— Вот, вот, она самая. Уроки — ничего, но

кор-рек-тура!.. Это невозможно! Вот чертежи другое дело. Можете ли вы, кстати, начертить нам для полицейского управления пожарный обоз нового образца?.. Да чтобы краски как в натуре... Можете?.. Превосходно. Едем сейчас же в часть...

И стремительный полицеймейстер повез меня в одну из частей, где стоял пожарный обоз нового образца, какой один раз мне уже был продемонстрирован в Вологде. Я его зачертил, вымерил, и через неделю весь обоз, с бочками, насосами, телегой для пожарной лестницы и багров, ярко раскрашенный суриком и синею краскою, был доставлен Головачеву, а еще через неделю, вставленный в изящные рамы, он украсил стены полицеймейстерского кабинета в управлении.

— Вот это так, — говорил Головачев в восторге, — это не кор-рек-тура-с. Этим занимайтесь сколько угодно... А можете вы составить план спасательной станции?

— Это уже не по моей части, — сказал я. — Я не архитектор.

— Ну, пустяки... Съездите в Ораниенбаум, срисуйте там спасательную станцию, как вы

присовали обоз, и дело в шляпе.

— Но ведь с меня взята подписка о невыезде за черту города.

— Наплевать! Ездите сколько угодно, только не попадите в какую-нибудь историю. Скандальчик какой-нибудь, знаете, с протоколом или что-нибудь в этом роде — тогда, конечно, неприятность. А сейчас поедем посмотреть выбранное мною место. Я уже его и огородил... Думские подлецы подали ябеду за самовольный захват. Крючкотворы!.. — Он вздохнул. — Думаете, мы не боремся? Боремся, батюшка, не хуже вашего.

На этот раз «думские крючкотворы» восторжествовали, и наша станция не состоялась.

Однажды Головачев опять пригласил меня и сказал:

— Есть у меня приятель, начальник минного офицерского класса, Владимир Павлович Верховский. Я ему говорил об вас и показывал рисунки пожарного обоза: хотите поступить в минный класс чертежником?

Я несколько удивился неожиданному предложению: Головачева испугала коррек-

тура, и он же предлагает работу в таком учреждении. Впрочем, может быть, я удивляюсь задним числом: тогда террор еще не разгорелся, химия и взрывчатые вещества не играли никакой роли в революции, и вскоре я стал проводить утренние часы за чертежной доской в минном офицерском классе.

VII. Среди соряков. — В.П. Верховский и деловая философия. — Адмирал Попов

И учреждение, и его работа, и начальник его представляли много интересного. В моем столе хранились чертежи всех мин, не исключая и чуда тогдашнего минного искусства — мины Уайтхеда, которая, получив приказание, могла идти со скоростью тридцати верст в час на любой глубине под водой, взорвать подводную часть корабля, а в случае неудачи вернуться обратно. В той же комнате, где я работал, офицеры читали матросам лекции, а в соседней, где находился большой бетонированный бассейн-колодезь, производились опыты небольших взрывов под водой. Там же готовились взрывчатые патроны с гвардовой ртутью. Однажды в той комнате вдруг раздался взрыв. Оказалось, что у одного

минера оторвало кисть руки. Его увезли в больницу, а офицер тотчас же собрал минеров и прочел им лекцию об изготовлении патронов. Он перечислил все предосторожности и закончил:

— Но так как все-таки, несмотря на все предосторожности, говардова ртуть взрывается иногда от неизвестной причины, то каждый работающий минер не должен иметь ее в данное время более чем на тридцать патронов. Тогда в случае взрыва погибнет минер, пострадает, может быть, комната, но здание останется цело.

Из этого я вывел приятное заключение, что и я работаю рядом с такими сюрпризами. Беспечен русский человек. Проходя ежедневно купаться по одной из дамб, выдававшейся далеко в море, у откоса которой была построена избушка для сушки пироксилина, я не имел случай наблюдать, как матросы набивали цилиндрические мины пироксилином, держа в то же время горящие трубки в зубах.

— Никто как бог, — уверенно ответил на мое замечание матрос.

И эта теория получила вскоре блестящее

подтверждение: пироксилин как-то пересушили, и он вспыхнул. Надо заметить, что взрыв и простое сгорание пироксилина дают различные результаты. На этот раз он просто сгорел. Домик все-таки разнесло от напора быстро развившихся газов, но матроса, стоявшего в это время у открытого окна (может быть, того самого, который изрек эту философскую сентенцию), только выкинуло саженей на двадцать в море, причем он отделался простым испугом и купаньем.

Я попал в новую среду — моряков, и с любопытством присматривался к ней. Заведующий минным офицерским классом В. П. Верховский казался мне человеком замечательным: небольшого роста, полный, отчасти напоминающий Наполеона лицом и шевелюрой, он был замечательный математик и прекрасный администратор. Распоряжения его всегда были быстры, точны, отчетливы. Мне казалось, что ему предстоит большое будущее. Но... он все-таки был русский человек и жил в русских условиях, которые напомнили мне Тотьму, унылого таксатора Успенского и его веселого сожителя взяточника...

Однажды Верховский заказал мне небольшой чертеж антресолей для склада мин. Я выполнил эту работу, причем спроектировал два окна, так как считал освещение недостаточным, лестницу с балюстрадой и такие же перила вдоль антресолей. Верховский остался очень недоволен.

— Эх, — сказал он с досадой, — ведь строить-то будем не мы, а военно-инженерное ведомство. Ну, они нам каждую балясину вгонят в десятки рублей... Мы это сделаем все своими средствами, без плана. — И мне пришлось переделать чертеж.

Через некоторое время явился военный инженер в сопровождении подрядчика Кузьмы. Инженер был чрезвычайно благообразный старичок с лицом сладким почти до святости. Посмотрев на чертеж, он сказал, обращаясь ко мне:

— Вы не знаете своего дела, молодой человек: свету мало, перил нигде нет.

Я усмехнулся и промолчал. Верховский одобрительно посмотрел на меня и тоже смолчал. Святой старичок, казалось, понял и проследовал дальше, а подрядчик Кузьма

остался. Молодые офицеры окружили его и стали смеяться.

— Что, Кузьма, на этот раз не выкусите?

Кузьма, кажется, рязанский мужичок, в синем армяке, с окладистой бородой, с скуластым умным и хитрым лицом, стал огрызаться:

— Да много ли тут и всего-то, если бы были перила и окна? На все ведь справочные цены.

— Ну уж, чтобы вы не нашли, с вашим инженером, на чем украсть? — сказал, помнится, Перелешин, впоследствии погибший на «Весте».

Кузьма посмотрел на него заискрившимся лукавым взглядом и сказал с удивившей меня откровенностью:

— Ну уж, не найти!.. Чай, у нас головы-то не опилками набиты. Найде-ем. Теперь-то мы вашего капитана еще пуще того прижмем... Не мудри он!

Кузьма смеялся, офицеры тоже смеялись, и только мне с непривычки казалась поразительной эта циническая откровенность. В Тотьме — кондуктор. Здесь — Кузьма со своим инженером. «Всюду гниль и разложе-

ние», — думал я среди общего смеха и шуток военной молодежи.

В другой раз Верховский поручил мне расчертить все отдельные части медной цилиндрической мины, чтобы сдать крупный заказ артиллерийскому заводу в том же Кронштадте. Чертежи вернулись с завода с расценкой. Взглянув на них, я был прямо поражен явным и ни с чем не сообразным хищничеством: простые медные дюймовые винтики были оценены по семи рублей. Я был молод и наивен. Верховский мне казался очень порядочным человеком, и я не удержался от выражения удивления. Лицо его слегка вспыхнуло, и он тотчас же послал матроса за мастером, делавшим расценку. Явился субъект в мундире чиновника военного ведомства, с лицом еврейского типа. Я слышал из-за дверей, как Верховский кричал и горячился: «Я вас под суд отдам! Лично поеду к генерал-адмиралу. Это грабеж...»

Субъект возражал что-то слегка визгливым и смиренным голосом. Когда он вышел из кабинета, лицо его было красно и все в поту, но губы передергивала ироническая и, как

мне казалось, все-таки торжествующая улыбка. Через день или два расценки вернулись исправленными, но исправления были таковы, что казались просто насмешкой. Вероятно, в моем взгляде Верховский опять заметил недоумение. Он понял настроение «неопытного студента» и, глядя на меня своим умным и твердым взглядом, сказал:

— Я мог бы уже десять раз отдать этого мерзавца под суд. Но ведь я знаю: на его место будет назначен такой-то, фаворит генерала NN, русский, но вор в десять раз загребистее. С тем будет еще труднее. Ну, а мне, — закончил он, твердо отчеканивая слова, — нужно, чтобы шла моя деловая работа... Бороться с общими порядками мне некогда. Я человек деловой.

Вся атмосфера Кронштадта была проникнута той же «деловой» философией. Она побеждала и затягивала даже честных людей. В то время много говорили о следующей истории. На одно военное судно был назначен новый командир. Это был человек молодой, талантливый, отличный служака, обожаемый командой и очень честный. На первых же по-

рах он отказался принять большую партию угля, совершенно не соответствовавшего условиям. Подрядчик представлял большую силу в ведомстве, и среди офицеров, не в одних морских кругах, с интересом ждали, чем кончится это столкновение заведомо честного человека с заведомым вором.

Кончилось оно неожиданно: в один прекрасный день на судно явился генерал-адмирал великий князь Константин Николаевич (как известно, либерал и сторонник реформ). На судне все оказалось в образцовом порядке. Обойдя корабль от палубы до трюма с сдержанным видом, великий князь сказал на прощанье:

— Хорошо... Но, говорят, вы притесняете подрядчика. Это не надо...

Офицеру оставалось сделать шаг чисто революционный: выйти в отставку в виде протеста или подчиниться... Кажется, офицер подчинился установленному «порядку».

В морской среде ко мне, «высланному студенту», относились вообще хорошо.

Однажды в чертежную, где я работал, растянувшись над большой чертежной доской,

неожиданно вошла гурьба офицеров. Впереди шел в сопровождении Верховского старый адмирал небольшого роста, очень полный, с грубым, невыразительным лицом. Я встал навстречу вошедшим, поздоровался с знакомыми, а затем опять принялся за работу в прежней позе. По-видимому, это было нарушением привычной для адмирала почтительности: чертежник должен бы стоять все время, пока он в комнате. Это был знаменитый в те времена всеильный в морском ведомстве Попов, строитель не менее знаменитых «поповок», оказавшихся на деле совсем негодными. Попов был известен как грубый самодур. Если не ошибаюсь, его вывел впоследствии Станюкович в рассказе под названием «Грозный адмирал».

Вся компания остановилась в той же комнате у цилиндрической уайтхедовской мины, но, прежде чем приступить к осмотру, адмирал обратил внимание на непочтительного чертежника.

— Кто? — кинул он громко, кивнув головой в мою сторону.

— Чертежник, студент, — ответил Верхов-

ский и прибавил тише несколько слов.

— А... — И грозный адмирал успокоился. Они осмотрели устройство мины и ушли дальше.

Через некоторое время Верховский прибежал ко мне из другой комнаты и, торопливо набросав эскиз, попросил меня сделать чертеж сооружения вроде железной короткой и широкой лестницы. Это были так называемые кринолины, изобретение Попова, которыми он предполагал ограждать на ходу броненосцы от вражеских мин. Верховский горячо восставал против этого проекта, доказывая, что кринолины страшно замедлят ход. Через месяц производилось испытание их на Севастопольском рейде, и Верховский поделился со мной его результатами.

Они оказались блестящими; последовал крупный заказ кринолинов. Но в письме, присланном Верховскому одним из товарищей, говорилось, что результат испытания просто рабелепная подделка: судно с кринолинами шло якобы очень быстро, пока на нем находился адмирал Попов. Но стоило ему сойти с палубы, броненосец не только не об-

легчился, но сразу пошел почти вдвое тише. «Гниль и разложение, — констатировал я еще раз про себя. — Ложь сверху донизу».

Чтобы покончить с воспоминаниями о минном офицерском классе, скажу, что впоследствии я с участием следил, не всплывет ли среди событий имя Верховского, которого я считал выдающимся человеком. И оно действительно всплыло. Раз или два оно было упомянуто в связи с каким-то молебном при участии Иоанна Кронштадтского. Я вспомнил, что Верховский был набожен и крестился каждый раз, проходя мимо креста на церкви штурманского училища, рядом с минным классом. Мне это тогда в нем нравилось, как черта характерная.

«Кто на море не бывал, тот богу не маливался», — вспомнил он раз при мне. Но вот во время русско-японской войны какой-то юродивый или просто шарлатан нашел явленную икону, причем некий благолепный старец, явившийся ему в вещем сне, предсказал победу и одоление российскому воинству, как только икона сия будет доставлена на театр военных действий. Икона торжественно пре-

провождена в Маньчжурию, никакого одоления, разумеется, не последовало, и я с некоторою грустью прочитал, что это шутовство произошло при посредстве В. П. Верховского. К тому времени он был известен в морских кругах как владелец завода, исполнявшего военные заказы...

Так заглохла среди казенщины и рутины эта крупная сила. Очевидно, размышления юного «ссылного студента» о «гнили и разложении» строя были не так уж наивны...

VIII. Военная молодежь. — Чижов и Дегаев

Из первого тома этой «Истории» читатель вспомнит моего двоюродного брата, артиллериста. Он был настроен тоже довольно радикально. Много читал, увлекался Боклем, Белинским, Добролюбовым и Писаревым, вообще был проникнут новыми идеями, гуманно обращался с солдатами и водил знакомства с людьми того же настроения. Когда он переехал в Кронштадт, у него бывала преимущественно интеллигентная военная молодежь.

Когда-то Иван Аксаков писал отцу и брату

о настроении тогдашнего общества: если нужно найти в провинции честного человека, то следует искать его среди поклонников Белинского. «У человека, способного сострадать несчастиям угнетенных, у честного доктора, честного следователя, готового на борьбу», — вы нашли бы непременно портрет Белинского, а также, наверное, письмо его к Гоголю. То же, конечно, можно было сказать о следующем поколении, воспитавшемся на Добролюбове и Чернышевском.

Реформаторская деятельность Александра II вызвала к жизни лучшие стремления во всей стране, выдвинула много свежих сил, которые стремились к дальнейшему обновлению жизни. Можно сказать без преувеличения, что готовность на борьбу с простыми злоупотреблениями была в это время связана с представлением о Белинском, Добролюбове, Чернышевском и становилась неблагонадежной. И наоборот — официальная благонамеренность была связана с старыми традициями взяток и злоупотреблений или по крайней мере с терпимостью к ним. В очень нашумевшем в свое время романе «Марево» (Ключни-

кова) это было подчеркнуто с наивной откровенностью: герою, которого автор рисует самыми идеальными чертами, его подчиненный, взяточник, говорит прямо: «Вот вы оказались хорошим человеком. А уж как мы вас боялись, когда узнали о вашем назначении». «Хорошим человеком» он оказался потому, что не считает себя праведником, не вступает в «ненужную и заносчивую борьбу» с бытом и сливается с затягивающим общим тоном жизни.

Если бы было понято в свое время это трагическое противоречие, этот голос простейшей правды, требовавшей хотя бы постепенного, но твердого дальнейшего обновления жизни, то царствование Александра II закончилось бы тем, чем началось, и могло бы стать одним из славнейших в истории. Но для этого нужен был более крупный ум и характер, которого у Александра II не было. И вот почему, начав великим призывом своего народа к свободе, он закончил комически жалкими наставлениями «с высоты престола»: «Домовладельцы, смотрите за своими дворниками».

Вообще то время представляется мне точно взморье во время начавшегося прилива, когда по всему простору кипят и пенятся набегающие и попятные волны. Благонамеренность в конце концов победила в официальной России, и роковым образом с нею воскресали дореформенные нравы, взяточничество и хищение. Элементарная честность становится «неблагонадежной». И вот почему самые крайние революционные акты встречали в то время такое широкое сочувствие в образованном обществе...

То же происходило и в военной среде. Из милютинских военных гимназий в армию хлынула масса молодежи, хорошо знакомой с Белинским и Добролюбовым. А в казармах она встречалась с застаревшими или воскресшими вновь дореформенными злоупотреблениями, на помощь которым шла военная дисциплина и благонамеренная традиция. Эти два течения ужиться не могли, и милютинская реформа была устранена.

Когда через некоторое время после моего приезда сестра моя окончила институт и мы решили поселиться отдельно от двоюродного

брата, то его товарищи, молодые офицеры, стали посещать нас и на новом месте. Трое из них впоследствии примкнули к революционной деятельности. Один, Васильев кажется, эмигрировал, другой, Чижов, попал в Восточную Сибирь, третьему суждено было приобрести громкую, но печальную известность: это был Дегаев, ярый революционер, террорист, потом предатель, выдавший, между прочим, Веру Фигнер и, наконец, в довершение всего устроивший убийство Судейкина, который втянул его в предательство.

В нашей маленькой квартирке, состоявшей, собственно, из одной большой комнаты с перегородкой, где жил я с матерью и двумя сестрами, вечера часто проходили в оживленных разговорах. Отчасти эту молодежь привлекала к нам моя старшая сестра — живая, хорошенькая и умная.

Самой яркой фигурой этого кружка был, несомненно, Дегаев. Маленький ростом, широкоплечий, с тонким станом, очень подвижной и нервный, он был склонен к парадоксам и легко загорался. Гораздо менее эффектна была фигура Чижова. Большой, несколько

неуклюжий, с плохой военной выправкой, он был не блестящ, но искренен и серьезен. С Дегаевым он был приятель, но у них постоянно происходили идейные столкновения. Чижов был назначен ротным командиром и сразу наткнулся на целую сеть хозяйственных злоупотреблений. Он тотчас же затеял борьбу с хищниками, заставлявшую говорить о себе в военных кругах. Дегаев насмеялся над этим «донкихотством» и резко высмеивал «борьбу с ветряными мельницами». Чижов защищался просто и неэффектно. Моя сестра горячо приняла сторону Чижова... Дегаев скоро вспыхнул и в полемическом увлечении прибег к следующему соображению: армия — главное орудие порабощения. Кто держит Россию под властью тиранов?.. Солдатчина. Поэтому — чем более морят этих скотов воры каптенармусы и иные хищники — тем лучше. Сестра возмущалась этой теорией, и спор принял довольно резкий оборот. На следующий день, к удивлению людей, знавших Дегаева, он прислал сестре письмо, в котором извинялся за излишнюю страстность спора и, «по зрелом размышлении», признавал себя

неправым по существу.

Еще через месяц я встретил его в ораниенбаумском поезде. Он, по-видимому, только что прочитал или перечитал статью Добролюбова о Кавуре, и ему показалось, что она имеет отношение к его спору с Чижевским. Чижева он причислял к людям кавуровского типа, себя — к типу Гарибальди. Это вновь укрепило его на прежней точке зрения. Впоследствии мне часто вспоминались эти колебания Дегаева, когда я узнал о парадоксальной карьере этого человека.

Вспоминаю еще факт, характерный для тогдашней военной среды. Один из сослуживцев моего двоюродного брата, артиллерийский офицер, по фамилии Франк, задумал перейти на жандармскую службу. Для этого ему пришлось просить об отставке и об отзыве для представления новому начальству. Военная молодежь отнеслась к этому с нескрываемым негодованием. Офицеры постарше не были так решительны, но, в общем, разделяли взгляд молодежи. Франк вдруг был вызван к начальнику артиллерии петербургского военного округа, по фамилии, помнится, Баран-

цов. Когда Франк явился, генерал быстро вышел из своего кабинета в приемную, подошел вплотную к Франку, смерил его взглядом с ног до головы и сказал:

— Я вызвал вас, чтобы посмотреть на офицера, который решается променять честный артиллерийский мундир на мундир шпиона. — Затем, резко отвернувшись и не кивнув головой на прощанье, ушел. Многие офицеры перестали подавать Франку руку. Говорили даже, что ему предложено было старшинами морского клуба, в который принимались и артиллеристы, выйти из состава членов.

IX. В Петербурге. — Похороны Чернышова и «Процесс 193-х»

Через год срок нашей ссылки (моей, Григорьева и Вернера) кончался, и я первый напомним об этом в министерстве внутренних дел. Это напоминание имело успех. Тогда моему примеру последовал Григорьев. Вернер еще раньше подал заявление о желании поступить в армию. Он был отослан офицером на Кавказ, отличился в русско-турецкой войне, а после войны вернулся в Россию свободным человеком и опять поступил в акаде-

мию, где впоследствии стал профессором.

Помню один из последних вечеров в Кронштадте. Я вышел из библиотеки морского клуба, где в последний раз сдал книги. Меня охватило сознание, что беззаботная жизнь в кронштадтской ссылке кончается и на меня ложится ответственность за будущее семьи. Был тихий летний вечер, над деревьями бульвара стояла яркая луна. Я сел на скамью и просидел так часа два. Много мыслей тогда прошло в моей голове. Приходилось совместить одновременно серьезные семейные обязанности, совершенно определенные и ясные, с мечтами об общественной работе, манными, но неясными и неопределенными. Домой я пришел поздно, удивив мать долгим отсутствием. Никакого ясного решения я с собой не принес. В конце концов мы переехали в Петербург, я выдержал конкурсный экзамен в Горный институт и стал искать работу.

Устроились мы на Фонтанке, где-то недалеко от Измайловского моста, купив самую дешевую мебель и обстановку. Однажды брат прибежал сообщить, что он купил мимоходом на Сенной отличную кушетку, но что ее

сейчас же нужно взять. Мы побежали на Сенную и вдвоем принесли кушетку, возбужденные и презрительные взгляды дворника.

Пришлось обратиться опять к корректуре. В это время Иван Васильевич Вернадский, известный когда-то издатель «Экономиста», полемизировавшего с Чернышевским, решил издавать новый еженедельный «Экономический указатель». Это был небольшой, довольно жалкий листок, выходивший четыре раза в месяц, наполненный цифрами. Для него потребовалась корректура, и мы с братом взяли ее на себя. Заработок был ничтожный, что-то около двадцати рублей в месяц, а работа трудная, всё цифры. Но это была своего рода точка опоры: «Указатель» печатался в собственной типографии Вернадского, носившей название «Славянская книгопечатня» и помещавшейся на Гороховой, между Садовой и Фонтанкой. В типографии могли встретиться другие работы. И действительно, вскоре я был приглашен вторым корректором в газету «Новости», в которой работал до новой своей высылки из Петербурга. Работа была ночная и не мешала

мне днями посещать Горный институт.

Должен, однако, сказать, что на этот раз я опять не стал хорошим студентом. В Петербурге закипало движение. Судились участники Казанской демонстрации.

Несколько наших знакомых были привлечены, а младший брат выступал в качестве свидетеля. При этом обвинитель, анализируя его показания, заметил язвительно, что этому свидетелю лишь по оплошности следствия пришлось сидеть на скамье свидетелей, тогда как его настоящее место рядом с подсудимыми. Я был на счету бывшего ссыльного. Полиция сразу стала следить за нами.

Потом пошел памятный «процесс 193-х». Это были жертвы первой волны так называемого «хождения в народ». Теперь все это движение достаточно освещено воспоминаниями многих участников. Основанное на совершенно иллюзорном представлении о «перманентной революционности» народа, об его постоянной готовности к ниспровержению существующего строя и созданию нового на самых идеальных началах, движение это, в сущности, не было опасно. У революционной

интеллигенции и у народа не было ни общего языка, ни взаимного понимания. Но, как всегда, царское правительство перепугалось насмерть. Тревога пошла по всей России: хватали направо и налево заподозренных в «сочувствии» и неблагонадежности, свозили их в Петербург и держали в доме предварительного заключения или в Петропавловской крепости по три и по четыре года. Во время суда обвинитель Желеховский сказал с идиотской откровенностью, что громадное большинство подсудимых посажены на скамью подсудимых только «для фона», на котором должны выступать фигуры главных злоумышленников. И действительно, по приговору суда некоторые из этих молодых людей и девушек были приговорены на один-два месяца заключения, после того как они «для фона» просидели по четыре года.

Все это дело задолго до суда глухо волновало молодежь. На этой почве произошла неожиданная и небывалая еще в таких размерах демонстрация.

В марте 1876 года умер студент Чернышов. Это была одна из жертв большого процесса.

Его тоже держали «для фона», и в доме предварительного заключения он заболел чахоткой. Его перевели в клинику, где он и умер.

Тридцатого марта к выносу тела явились студенты сначала в небольшом количестве, но затем, по мере движения по улицам, толпа росла. На углу Шпалерной и Литейного, у дома предварительного заключения, гроб остановили и, подняв над головами, отслужили литию. Демонстрация была организована так удачно, что даже после этого полиция не спохватилась, и огромная толпа беспрепятственно дошла до кладбища, попутно разъясняя заинтересованной публике значение демонстрации. Только когда начались над могилой откровенно революционные речи, местная полиция спохватилась, но ничего не могла сделать. Я в то время жил еще в Кронштадте и на похоронах не был. Но брат, как очевидец, рассказывал о трагикомическом положении какого-то бедняги квартального, который увидел себя совершенно бессильным в самом центре несомненной политической демонстрации. Он метался и порывался к ораторам, но молодежь тесно окружила его, и он

сам увидел себя в положении арестованного. Вдобавок, когда главные речи кончились, какой-то подвыпивший студентик взобрался на могильную ограду и, картавя, произнес краткую импровизацию:

— И кrome того, дадим тогжественное обещание бить вот этикие полицейские могды...

И он указал на кварталного. Тот отчаянно рванулся к нему.

— Нет, господа, это невозможно. Этого я уже должен арестовать!..

Студент тоже рвался к кварталному, но окружающие, смеясь, развели их. Когда подошли отряды полиции и конные жандармы, все уже было кончено, и даже арестовать никого не пришлось.

Все это будоражило общественное мнение, и в Петербурге много говорили о предстоящем большом процессе. Сначала предполагалось судить всех вместе, но затем испугались этой толпы подсудимых, озлобленных многолетним сидением и явной неправдой «правосудия». Решили разбить массу подсудимых на отдельные группы. Когда им об этом объявили, то в особом присутствии сената произо-

шли бурные сцены. Подсудимые сопротивлялись уводу и произносили страстные протестующие речи. Публика допускалась в очень ограниченном количестве, газетные отчеты строго цензуровались, но все же каждый день Петербург молнией облетали известия о происходящем. Рассказывали, что Рогачев, бывший офицер, богатырского сложения, привел в ужас сенаторов, прорвавшись к решетке и потрясая ее руками. Мышкин, не вполне уравновешенный, фанатичный и страстный, обладавший незаурядным ораторским талантом, произнес речь, в которой сравнил сенаторов-судей с публичными женщинами: «Там бедные женщины из нужды продают свое тело, а вы продаете душу за чины и ордена». Эффект этой речи усиливался оттого, что она была закончена среди борьбы между оратором, кинувшимися выводить его жандармами и другими подсудимыми...

Все это жадно ловилось на лету. Когда я приезжал в это время в Кронштадт, знакомые офицеры и их дамы сходились к двоюродному брату, чтобы выслушать последние известия. Я передавал, что знал сам. Даже военное

общество негодовало, дамы плакали. Идеалы социализма в общих формулах привлекали горячее сочувствие, особенно женщин. Один офицер, большой скептик, сделал как-то практический вывод:

— Но ведь тогда, сударыня, все будут равны...

— Ну что ж. Это так прекрасно, — перебили его женские голоса.

— Виноват, я не кончил... Тогда, значит, не будет, например, ни кухарок, ни горничных...

Дамские лица вытянулись.

— Да-а-а... Это в самом деле на практике неудобно... Суд ходатайствовал о значительном смягчении

участи всех подсудимых, но Александр II не только не смягчил приговора, но еще для некоторых подсудимых усилил его, вследствие чего многие, уже отпущенные в ожидании смягченной конфирмации, были вновь арестованы и посажены в тюрьму. Это произвело самое невыгодное для царя впечатление.

Впоследствии мне довелось слышать от Николая Федоровича Анненского следующее интересное сопоставление:

— В большом процессе наивные идеалисты и мечтатели ругались, потрясали решетками, наводили ужас на судей. Это было в семьдесят восьмом году. А через два-три года перед теми же сенаторами, безупречно одетые в черные пары и в крахмальных воротничках, Александр Квятковский и потом Желябов давали в корректнейшей форме показания:

«Я уже имел честь объяснить суду, что бомба, назначенная для покушения на императора, была приготовлена там-то и состояла из следующих частей...»

Х. Похороны Некрасова и речь Достоевского на его могиле

В конце 1877 года умер Некрасов. Он хворал давно, а зимой того года он уже прямо угасал. Но и в эти последние месяцы в «Отечественных записках» появлялись его стихотворения. Достоевский в своем «Дневнике писателя» говорит, что эти последние стихотворения не уступают произведениям лучшей поры некрасовского творчества. Легко представить себе, как они действовали на молодежь. Все знали, что дни поэта сочтены, и к Некра-

сову неслись выражения искреннего и глубокого сочувствия со всех сторон.

Был у меня в то время приятель, студент Горного института, очень радикальный, очень добродушный и комически-наивный в своем радикализме. Он передавал мне, будто собираются подписи под адресом Некрасову студентов всех учебных заведений. Смысл адреса он на своем выразительно-наивном языке кратко резюмировал так:

— Слушай, брат Некрасов. Тебе все равно скоро помирать. Так напиши ты этим подлецам всю правду, а уж мы, будь благонадежен, распространим ее по всей России.

Я только засмеялся, и, конечно, адрес, с которым студенты обратились к большому поэту, был написан умно, тепло и хорошо. Говорили, что Некрасов был им очень растроган.

Когда он умер (27 декабря 1877 года), то, разумеется, его похороны не могли пройти без внушительной демонстрации. В этом случае чувства молодежи совпадали с чувствами всего образованного общества, и Петербург еще никогда не видел ничего подобного. Вынос начался в 9 часов утра, а с Новодевичьего

кладбища огромная толпа разошлась только в сумерки. Полиция, конечно, была очень озабочена. Пушкин в «Поездке в Эрзерум» рассказывал, как на какой-то дороге, на границе Грузии и Армении, он встретил простую телегу, на которой лежал деревянный гроб. «Грибоеда везем», — пояснили ему возчики-грузины. Тело самого Пушкина, как известно, было вывлочено из Петербурга подобным же образом, бесчестно и тайно. Эти времена давно прошли, и власти были уже не в силах удержать проявление общественных симпатий. Некрасова хоронили очень торжественно и на могиле говорили много речей. Помню стихи, прочитанные Панютиным, потом говорил Засодимский и еще несколько человек, но настоящим событием была речь Достоевского.

Мне с двумя-тремя товарищами удалось пробраться по верхушке каменной ограды почти к самой могиле. Я стоял на остроконечной жестяной крыше ограды, держась за ветки какого-то дерева, и слышал все. Достоевский говорил тихо, но очень выразительно и проникновенно. Его речь вызвала потом много шума в печати. Когда он поставил имя

Некрасова вслед за Пушкиным и Лермонтовым, кое-кому из присутствующих это показалось умалением Некрасова.

— Он выше их!.. — крикнул кто-то, и два-три голоса поддержали его.

— Да, выше... Они только байронисты.

Скабичевский со своей простоватой прямолинейностью объявил в «Биржевых ведомостях», что «молодежь тысячами голосов провозгласила первенство Некрасова». Достоевский отвечал на это в «Дневнике писателя». Но когда впоследствии я перечитывал по «Дневнику» эту полемику, я не встретил в ней того, что на меня и многих моих сверстников произвело впечатление гораздо более сильное, чем спор о первенстве, которого многие тогда и не заметили. Это было именно то место, когда Достоевский своим проникновенно-пророческим, как мне казалось, голосом назвал Некрасова последним великим поэтом «из господ». Придет время, и оно уже близко, когда новый поэт, равный Пушкину, Лермонтову, Некрасову, явится из самого народа...

— Правда, правда! — восторженно кричали мы Достоевскому, и при этом я чуть не сва-

лился с ограды.

Да, это казалось нам таким радостным и таким близким... Вся нынешняя культура направлена ложно. Она достигает порой величайших *степеней* развития, но *тип* ее, теперь односторонний и узкий, только с пришествием народа станет неизмеримо полнее и потому выше.

Достоевский, разумеется, расхотелся в очень многом и очень важном со своими восторженными слушателями. Впоследствии он говорил о том, что народ признает *своим* только такого поэта, который почитает то же, что чтит народ, то есть, конечно, самодержавие и официальную церковь. Но это уже были комментарии. Мне долго потом вспоминались слова Достоевского, именно как предсказание близости глубокого социального переворота, как своего рода пророчество о народе, грядущем на арену истории.

В эти годы померкла даже моя давняя мечта стать писателем. Стоит ли, в самом деле, если даже Пушкины, Лермонтовы, Некрасовы знаменуют собою только крупные маяки на старом пройденном пути. Я никогда; не увле-

кался писаревщиной до отрицания Пушкина и помнил, что Некрасов как поэт значительно ниже и Пушкина, и Лермонтова, но... придет время, и оно, казалось, близко, когда станет «новое небо и новая земля», другие Пушкины и другие Некрасовы... Содействовать наступлению этого пришествия — вот что предстоит нашему поколению, а не повторять односторонность старой культуры, достигшей пышного, но одностороннего расцвета на почве несправедливости и рабства.

Я писал как-то о том, что у меня с юности была привычка облекать в слова свои впечатления, подыскивая для них наилучшую форму, не успокаиваясь, пока не находил ее. В этот период моей жизни привычка эта если не исчезла, то ослабела. Господствующей основной мыслью, своего рода фоном, на котором я воспринимал и выделял явления, стала мысль о грядущем перевороте, которому надо уготовить путь...

Около этого времени среди моих земляков случилась одна трагедия. Был у нас товарищ, Гунько, юноша очень способный, шедший первым учеником в гимназии. Он был това-

рищ младшего брата и Бржозовского. Вначале они продолжали дружить, но тут вскоре началось идейное расхождение. Они увлеклись народническим движением, к которому Гунько относился холодно и насмешливо: он отошел от кружка, нашел новых товарищей, «путейцев», и вот однажды бросился с шестого этажа на мостовую...

Причины этого самоубийства остались для нас неясными. Новые его товарищи не могли объяснить ничего. Может быть, тут была замешана любовь. Но мне казалось тогда, что не может быть иного объяснения этой гибели молодой жизни, как отсутствие у погибшего нашей тогдашней веры. «Если бы он не оторвался от этого захватывающего общего настроения, — думал я, — он бы этого не сделал... Он исцелился бы так же, как и я исцелился от надлома моих неудачных годов». И другие товарищи Гунька думали то же...

XI. Газета «Новости» и ее издатель Нотович

Газета «Новости» печаталась в «Славянской книгопечатне». Корректором в ней был Ф. К. Долинин, пописывавший также статьи. Од-

ного корректора оказалось недостаточно, и Нотович пригласил меня работать вторым корректором. Мы чередовались через день, и, таким образом, времени у меня оставалось достаточно.

Газета шла довольно плохо, и деньги мне приходилось получать с некоторым трудом и по частям, по мере поступления в кассу. Для этого приходилось ходить в редакцию и контору два-три раза в неделю. Кассир каждый раз посылал меня к Нотовичу. Нотович старался отвлечь внимание от разговора о деньгах, ожидая, пока в кассе наберутся десятка два-три рублей, и, таким образом, я провел много часов за разговорами с редактором «Новостей».

Это был человек еще молодой, с тонкими еврейско-аристократическими чертами лица, юрист по образованию. Он издал популярное изложение книги Бокля, которым очень гордился, уверяя, что он только «выжал из Бокля воду». У него была особая редакторская способность: несколько сокращений, несколько поправок — и часто совершенно неграмотная рукопись приобретала вполне литературный

вид. С замечательным искусством умел он использовать всякий клочок исписанной бумаги, попавший в редакцию, а делать это приходилось тем усерднее, что за корреспонденции он совсем не платил.

По этому поводу в печати был оглашен следующий маленький курьез: в «Новостях» печатались одно время очень живые и бойкие статейки из Саратова С. Гусева, впоследствии приобретшего широкую известность под псевдонимом Слово-Глаголя. Тогда он только что начинал литературную карьеру. Нотович быстро оценил молодого «начинающего» и охотно печатал все им присылаемое, но систематически не платил ни копейки. Злополучный автор после настойчивых требований, потеряв терпение, прислал редактору очень страстное и выразительно написанное ругательное письмо, в котором изображал трудное положение провинциального работника, а Нотовича называл пауком, жадным эксплуататором и другими эпитетами в том же роде.

Нотович и здесь выдержал характер: сразу оценив литературное достоинство ругатель-

ного письма, он озаглавил его: «Провинциальные корреспонденты и столичные издатели», очень ловко заменил в тексте обращение к себе изложением в третьем лице, и в «Новостях» появилась яркая заметка, за которую автор все-таки не получил ни копейки.[8]

Нужно сказать, впрочем, что положение газеты в это время было чрезвычайно трудно. Объявлений было очень мало. Чтобы скрыть это печальное обстоятельство, неблагоприятно отражающееся на притоке новых объявлений, газета прибегала к хитрости: она стала перепечатывать объявления из других газет. Казалось, заказчикам это только выгодно: объявление, данное в одну газету, бесплатно повторяется в другой. Но однажды, придя, по обыкновению, за получением хоть части своего корректорского жалованья, я застал в редакции следы большой суматохи. Какой-то спортсмен, кажется из остзейских баронов, поместил объявление о продаже скаковой лошади. На скачках к нему подошел другой спортсмен и сказал, что он читал в «Новостях» его объявление.

— Вы не могли его читать в «Новостях», —

сказал первый спортсмен. Второй настаивал. — Угодно пари? — предложил тот. — Сделайте одолжение.

Пари состоялось на довольно крупную сумму. Первый спортсмен проиграл: «Новости» перепечатали его объявление. Разъяренный барон ворвался в редакцию с требованием вернуть ему проигрыш. Нотович настаивал на своем праве перепечаток в законных пределах. Вышел горячий спор, и барон стал гоняться с палкой за бегавшим вокруг стола редактором.

Другая история имела несколько элегический характер. «Солидный пожилой вдовец» пожелал найти компаньонку средних лет, по возможности приятной наружности, и сдал объявление в этом смысле в «Новое время». «Новости» услужливо перепечатали объявление. Дело вдовца устроилось, компаньонка удовлетворительной наружности была найдена, и жизнь пожилого господина вошла в семейную колею. Но вдруг — опять звонки, и опять туча претенденток средних лет и приятной наружности начинают слетаться в квартиру вдовца... Оказалось, что метранпаж

«Новостей» за недостатком объявлений вытаскивал завалявшееся старое клише, и объявление вновь появилось в «Новостях». Злополучный вдовец не дрался, а только слезно просил прекратить печатание его объявления. Нотович великодушно обещал.

У него было, между прочим, какое-то особое чутье той среднеобывательской пошлости, которая может создать своеобразный успех среди уличной публики, поддерживающей розницу. В Петербурге как-то шел грандиозный процесс Юханцева, кассира одного из банков, совершившего крупное хищение. В Петербурге в это время жил некто Гиллин, американец. Он издал небольшую книжку плохоньких рассказов и в предисловии выражал надежду, что «русская публика поддержит молодого американца, посвятившего свое перо русской литературе». Этот Гиллин предложил Нотовичу за дешевую цену написать сенсационный роман на тему громкого процесса. Нотович ухватился за эту идею и несколько раз присылал справиться в типографию, не прислано ли начало романа. Наконец я прочел первую корректуру начальных

глав. Это была невероятно грубая и пошлая мазня, и я подумал об огорчении Нотовича по поводу обманутых ожиданий. Поздно ночью Нотович пришел в типографию.

— Ну что? — спросил он живо.

— Неужели вы напечатаете эту пошлость? — спросил я. — Ведь это совсем не литература.

Лицо Нотовича омрачилось, и он стал с озабоченным видом просматривать корректуру. Но по мере чтения выражение его лица менялось: оно озарилось улыбкой одобрения, которая не сходила до конца. Прочитав, он поднялся с видимым удовольствием.

— Вы ничего не понимаете, — сказал он. — Превосходная вещь!

А через несколько дней он с торжеством сказал мне:

— Ну, господин строгий критик, кто же из нас прав? Газетные разносчики спрашивают: «Есть ли Гиллин? Тогда давайте пятьдесят номеров...» Без Гиллина — вдвое меньше.

Я понял, что это не была только издательская точка зрения: он сам разделял вкусы толпы, для которой издавал газету.

Он был человек с университетским образованием (юрист), но меня поражало его глубочайшее невежество в других областях. Однажды в яркий весенний день я зашел к нему. По обыкновению, речь шла о моем корректорском жалованье, которое он выплачивал по частям.

— А, вы все о том же? — сказал он с шутливой досадой. — Какие вы, нынешняя молодежь, все материалисты: как будто не о чем больше думать, как о деньгах... Посмотрите сюда...

И он подвел меня к окну. Редакция помещалась тогда прямо против Юсупова сада, темные ветви которого в это утро вдруг зазеленели распускающимися почками.

— Посмотрите. Великая тайна совершается у нас на глазах: вчера еще все это было темно и мертво. И вот... заметьте: глубокою ночью, точно затем, чтобы ничей глаз не мог подсмотреть ее тайны, природа совершает свою работу, и наутро вы видите: она является, как юная невеста. Что же значат все эти ваши натуралисты... Как бессильна их наука! Ни один из них ни разу не сумел подсмотреть

этого решительного творческого момента.

Случайно я только что купил учебник ботаники Томме. Там в рисунках была изображена почка и ее эволюция с начала и до момента, когда листок расправляется, разорвав почелистики.

— Это какое-нибудь последнее исследование? — спросил Нотович. Вместо ответа я указал на обертку учебника.

Тема о жалком ничтожестве точных наук была постоянным коньком Нотовича. В течение нескольких недель в воскресном прибавлении к «Новостям» он печатал фельетоны (кажется, написанные Гиероглифовым), в которых доказывалось, что наше юношество в школах пичкают под видом, например, физики всякими предрассудками. Один из таких предрассудков состоит в том, будто... воздух имеет вес! Автор изощрялся в остроумии, анализируя и опровергая эту, по его словам, явную нелепость.

— А ведь ловко, не правда ли? Какой, в самом деле, чушью набивают головы наших детей эти естественники и физики, — сказал Нотович с таким же самодовольством, с ка-

ким читал роман Гиллина.

Я сказал ему, что вся эта «критика» основана на полнейшем незнакомстве с теми учебниками, которые автор старается опровергнуть, и тут же доказал это на нескольких убедительных примерах.

— Ну что ж... — согласился Нотович. — Все-таки это остроумно, это будит мысль...

— Да, — ответил я, — но если это подхватят в фельетоне «Биржевых ведомостей», то-то достанется вам...

Это соображение произвело очевидное действие: Нотович сел к столу и приписал в выноске: «Ответственность за аргументацию редакция возлагает на автора». Эти курьезные фельетоны и эту приписку редакции любознательный библиограф может, вероятно, найти и теперь в публичной библиотеке.

XII. Выстрел Засулич. — Настроение в обществе и печати

24 января 1878 года я сел в линейку, которая ходила от Горного института, кажется, к Исаакиевской площади, перевозя через Неву профессоров и студентов. Среди других пассажиров прямо против меня уселся дирек-

тор Горного института, профессор Бек. Он знал меня в лицо, так как после приема меня в институт вызвал для сепаратного разговора по поводу петровской истории. Теперь, ответив на мой поклон, он сказал:

— Вы знаете? Трепов убит. Какая-то девушка, говорят, писаная красавица... Конечно, арестовали...

Вся публика в линейке была заинтересована. В июле 1877 года Трепов велел наказать розгами осужденного за демонстрацию на Казанской площади Боголюбова. Говорили, что во время прогулки, проходя мимо градоначальника, Боголюбов не снял шапку.

Это был первый случай телесного наказания политического заключенного. Он произвел огромное впечатление. В обществе все были возмущены, а в доме предварительного заключения произошли крупные беспорядки с избиением и карцерами. Родилось то особое настроение, разлитое одинаково в обществе и в революционных кругах, которое насыщает воздух общим ожиданием: даром это не пройдет.

Прошло, однако, полгода. Впоследствии

стало известно, что из провинции то и дело приезжали в Петербург лица, предлагавшие убить Трепова. Но «процесс 193-х» еще не был кончен. Центральные революционные круги удерживали мстителей, боясь, чтобы покушение не отразилось на судьбе массы подсудимых.

В обществе поэтому стали забывать о боголюбовской истории, когда выстрел Засулич грянул первым террористическим актом в ответ на первое телесное наказание.

История эта всем еще памятна. О ней много писалось, и я не стану приводить здесь подробностей дела Засулич. Скажу лишь, что она сразу стала героиней. Уже в том, что ее дело было отдано суду присяжных, сказалось, несомненно, отношение к Трепову и к Засулич правящих сфер. 31 марта Засулич судили в окружном суде с присяжными. Председателем был Анатолий Федорович Кони, произнесший резюме, на некоторое время приостановившее течение его блестящей юридической карьеры. Присяжные после недолгого совещания вынесли оправдательный приговор.

Это было так неожиданно, что не успели

даже дать приказ об административном задержании Засулич на случай оправдания. Поэтому Кони объявил ее свободной, а смотритель дома предварительного заключения не задержал, и Засулич вышла на волю. Между тем у окружного суда и у дома предварительного заключения собралась с одной стороны довольно значительная толпа, чтобы приветствовать оправданную, а с другой — двигался уже небольшой отряд жандармов, чтобы арестовать ее. Произошло столкновение. Толпа не допустила ареста, но при этом оказался один убитый — Сидорацкий. Сначала все были уверены в Петербурге, что Сидорацкий был убит выстрелом жандарма, но впоследствии явились большие сомнения. Один мой знакомый рассказывал мне, что он был очевидцем, как во время демонстрации и вызванной ею суматохи какой-то молодой человек выбежал на тротуар в нескольких шагах от него, приложил револьвер к виску и выстрелил. Других убитых не было, значит, это и был Сидорацкий. Говорили, будто, когда жандармы остановили карету, Сидорацкий выстрелил в них, но так неудачно, что легко

ранил кого-то из сидевших в карете или на козлах. Кто-то крикнул, что ранена Засулич, и это было причиной самоубийства...

Впечатление оправдательного приговора было по своей неожиданности еще сильнее, чем самый выстрел Засулич. У меня был в то время в Петербурге дядя однофамилец, Евграф Максимович. Я встречался с ним еще прежде на журфиксах у своей двоюродной сестры, но тогда он относился ко мне, как к мальчику. После петровской истории и моей первой ссылки он изменил это отношение и однажды стал журить меня за то, что я не бываю у моего дальнего родственника Ивана Васильевича Вернадского. При этом он открыл мне, что около бывшего издателя «Экономиста» группируется кружок влиятельных петербургских либералов-конституционалистов, к которому принадлежит даже бывший петербургский губернатор Лутковский.

— У нас связи вверху, у вас молодость и энергия. Нам следует сговориться, — говорил старик.

Правду сказать, я ничего не ждал от этого союза. Евграф Максимович был уже очень

стар, хотя кипел какой-то особенной экспансивностью. Когда он говорил, горячась (а горячился он всегда, особенно во время споров), лицо его становилось багровым, так что внушало опасения удара. Старик был очень интересен, умен и оригинален, но спорить с ним и даже выражать при нем несогласное мнение было невозможно, а значит, невозможны были и соглашения. Вернадский в то время представлял почти развалину. Он перенес один удар и даже говорил невнятно. Мы с братом все-таки пошли на один журфикс. Это было после покушения Засулич, но еще до суда. Помню, что все солидное общество, собравшееся у Вернадского, было проникнуто сочувствием к Засулич, начиная с самого Вернадского и Евграфа Максимовича и кончая сотрудничавшим в «Новом времени» историком Беляевым. Здесь тоже повторялась сказочная версия о необыкновенной красоте Засулич и передавались фантастические подробности, делавшие обстановку выстрела особенно Эффектной.

Передавали, между прочим, что, когда царь приехал к раненому Трепову, тот просил

«не оставить его сирот». Когда обнаружилось, что градоначальник оставил сиротам по завещанию несколько миллионов, Александр II очень охладел к нему.

Оправдательный вердикт присяжных довел общий восторг до кипения. Казалось, начинается какое-то слияние революционных течений с широкими стремлениями общества. В «Славянской книгопечатне», кроме «Новостей», печаталась еще газета «Северный вестник», издаваемая Е. Коршем, сыном известного писателя, адвокатом. Газета шла плохо и приносила большие убытки. Вероятно, поэтому Корш рискнул и поместил письмо скрывавшейся Засулич. Газету, конечно, закрыли, и я помню, с каким веселым видом издатель встретил известие о ее прекращении. Номер с письмом рвали нарасхват. Засулич писала в нем, что скрывается не от суда и в случае законной кассации готова вновь предстать перед судом общественной совести. Она скрывается только от бессудной административной расправы.

Выстрел Засулич был одним из таких событий, которые хоть на время изменяют уста-

новившееся соотношение сил. Цензура сразу растерялась и ослабела. Преграды ослабли, и общественное мнение прорвалось. В газетах то и дело появлялись панегирики суду, сближения, намеки, а порой и прямые похвалы героическому поступку Засулич. Особенно смелые статьи печатались в коршевском «Северном вестнике», и это подзадоривало Нотовича. Он тоже написал большую статью. Она начиналась очень патетично восклицанием: «Читатель, Вера Засулич оправдана!..» И далее следовали периоды в самом приподнятом тоне. Но когда «Северный вестник» потерпел крушение, а в типографию стали то и дело заглядывать инспектора, то на редактора «Новостей» напала робость. Красноречивый фельетон был отложен в дальний стол. Однако Нотович потребовал, чтобы статью все-таки не разбирали.

— Авось еще пригодится, — говорил он.

И статья действительно пригодилась. Через несколько месяцев после дела Засулич разбирался процесс Енкуватова, кажется в Одессе, очень характерный для того времени. Енкуватов женился по любви на девушке, ко-

горя его тоже любила. На несчастье, брат Енкуватова тоже страстно полюбил свою невестку. Драма происходила в среде радикальной молодежи. Один из братьев (или даже оба) были в ссылке. Они горячо любили друг друга. На этой почве между братьями произошло своеобразное соглашение: муж отказался временно от супружеских прав, а его брат становился в положение искателя сердца его жены. Молодая женщина любила мужа и прямо заявила об этом, но до истечения срока своеобразного соглашения ее положение стало невыносимым. Безумно влюбленный старший брат перешел за пределы соглашения. Однажды ночью муж, спавший в «нейтральной комнате», услышал, как брат прошел в спальню его жены, и затем раздались крики о помощи. Это превысило меру всякого «идейного» долготерпения. Муж вбежал в спальню и — застрелил соперника-брата. Присяжные его оправдали.

Отчет о процессе печатался во всех газетах, в том числе и в «Новостях». Когда была получена телеграмма об оправдании, я был приятно удивлен встречей со старым знаком-

цем: отложенный фельетон Нотовича появился из-под спуда. Он начинался так же патетично: «Читатель, Енкуватов оправдан!..» И затем следовали те же красноречивые периоды с заменой только фамилии Засулич фамилией Бнкуватова.

XIII. Бунт в Апраксином переулке и мои первые печатные строки

Расставаясь на этом маленьком эпизоде с «Новостями» и их редактором, я должен прибавить, что при своем особом чисто издательском таланте Нотович сумел и меня однажды запрячь в свою колесницу в качестве дарового сотрудника. У него в газете и появились мои первые печатные строки.

Это случилось в первых числах июня 1878 года. Под вечер я шел по Садовой с товарищем Мамиконианом. Около Сенной мы заметили в уличной толпе какой-то особый интерес, обращенный в сторону к Невскому. Туда многие шли торопливо, расспрашивая встречных. Оказалось, что около Апраксина рынка происходит «бунт». Мы с Мамиконианом тотчас же сели в конку, отправлявшуюся в ту сторону. Мы сошли у Апраксина переул-

ка, где увидели большую толпу, запрудившую вход в переулок. Когда мы стали пробираться сквозь нее, нас останавливали, уверяя, что идти туда опасно, что там происходит настоящий бунт, что прошли войска, которые будут стрелять. Да и самая толпа опасна. В переулке, узком и тесном, живет много чернорабочих и прочего люда, кормящегося при Гостином дворе, и теперь они-то и подняли бунт. В те времена массовых вспышек в России совсем не бывало. Волна крестьянских беспорядков после 1861 года всюду улеглась, а в городах все было спокойно. Нас подстрекнули эти рассказы, и мы проникли в глубь переулка. Здесь, приблизительно около середины переулка, у большого семиэтажного дома № 5, стоял отряд жандармов, державших лошадей в поводах. Какой-то военный генерал выслушивал полицейский доклад. Обстановка напоминала военный бивуак. Ворота дома были закрыты. Во дворе происходило что-то глубоко интересовавшее всю толпу. Порой в этой толпе, отжатой полицией и жандармами от дома с закрытыми воротами, раздавались крики «ура». Тогда среди полиции проявля-

лось беспокойство. Городовые, околоточные, жандармы кидались туда, и крики стихали.

Мы с товарищем проникали всюду в собиравшиеся кучки народа и слушали рассказы. Оказалось, что в доме № 5, сплошь населенном беднотой, восемь дворников, и все татары. В день происшествия они хотели отправить в часть какого-то матроса. Сидевшие напротив в трактире мастеровые выбежали из трактира и не дали матросика в обиду. Дворники вооружились подметельниками и стали бить вступившуюся публику. «Били по чем попало», — рассказывали в толпе. Толпа осви-репела и с криком: «Татары бунтуют!» — кинулась на дворников. Они убежали во двор, кинулись по лестницам и квартирам. Их ловили. Одного кинули с шестого этажа во двор.

— На сцене вопрос национальный, — предположил Мамикониан.

Но тут я увидел несколько человек, стоявших у самых ворот дома № 5. Это, очевидно, были жильцы, которых не пускали во двор. У одного в руках был каравай хлеба и селедка, очевидно купленные в лавочке, после чего он уже не мог попасть к себе. Другие были в том

же роде. Я обратился с расспросами к этой кучке, и человек с хлебом рассказал мне всю историю по-своему.

— Дворники сильно притесняют... Придешь попозже — ворота заперты. А станешь стучать — впустят и зададут встряску, особенно если выпивши... Ограбят, да и бока намнут. Жаловались полиции, да что... — Рассказчик только махнул рукой.

— Полиция с ними заодно. — Свой своему поневоле брат. — Делятся, конечно... — возбужденно комментировали другие.

Все это вызывало раздражение. До дворников добирались давно. Случай с матросом послужил сигналом. Первые кинулись на дворников мастеровые, жильцы дома. Быстро собравшаяся у ворот толпа не позволяла полиции заступиться за дворников. Приехавшего пристава схватили за грудь с криками:

— Смотри, тебе то же будет. Вы с ними заодно!

Часов около одиннадцати ночи жандармы сели на лошадей и уехали. Во двор были введены солдаты, которые остались на ночь. Толпа редела... Говорили об одном убитом двор-

нике и нескольких раненых.

В последующие десятилетия такие явления все учащались, но в те годы они еще были невиданы, и апраксинский погром вызвал интерес тревожный и сильный. На следующий день в газетах ничего не было, но я знал, что на месте с полицейскими присутствовал «корреспондент». По наружности я догадывался, что это Юлий Шрейер, которого тогда называли «королем репортеров». Главным источником сведений служили ему всегда отличные отношения с полицией, которая через него и «освещала события».

Мы с Мамиконианом пробыли до ночи и потом ушли. На следующий день с утра я опять был у Нотовича все за тем же, то есть за деньгами. Я застал его в большом волнении.

— Вот, не угодно ли! Вчера, говорят, был чуть не бунт в Апраксином, а тут ни одного моего репортера не дождешься.

«Мои репортеры» — это было, пожалуй, слишком громко: и для репортажа Нотович тогда пользовался случайным сотрудничеством и перепечатками. Я улыбнулся и сказал, что я вчера был на месте и знаю, что бы-

ло в Апраксином переулке. Он схватился за меня.

— Голубчик, выручите, напишите!..

— Хорошо, Осип Константинович, — ответил я. — Но только с условием: я знаю, как вы редактируете поступающие к вам заметки. Я напишу с уговором, что вы напечатаете без перемен.

— Что еще за условие? Вот еще Шекспир нашелся!..

— Как хотите.

— Ну, ну, пишите скорее.

Я написал заметку и отдал ему. На следующий день она еще не появилась, хотя была набрана. Ждали первых сообщений Юлия Шрейера. Когда я увиделся с Нотовичем, он был очень недоволен моей заметкой. Прежде всего плохое начало: нужно, чтобы было видно, что у газеты свои репортеры и что они вовремя на месте. А тут какой-то случайный очевидец. Вообще видно, что вы неопытны. Необходимо проредактировать.

Я на это не согласился, и, как ни трудно было Нотовичу удержать свой редакторский карандаш, он все-таки удержал. Затем, 7

июня кажется, заметка моя появилась одновременно с циркулярно разосланным отчетом Юлия Шрейера, отдавшего его сразу в несколько газет. Шрейер изображал вспышку национальной ненависти против татар и вообще сведения сообщал в чисто полицейском освещении.

— Вот что называется репортерским отчетом... — с завистью говорил Нотович, у которого не было средств приобрести для себя «короля репортеров».

Но уже через некоторое время он изменил свое мнение. Оказалось, что заметка «Новостей» (подписанная моими инициалами) обратила внимание.

— Да, да, — говорил после этого Нотович. — Статейка вам удалась. Вот и Суворин опирается на нее в полемике с Полетикой... Наша газета изменила взгляд всей печати и доказала, что апраксинская вспышка вызвана не национальной ненавистью, а притеснениями полиции и дворников... Удачно, удачно...

Я купил номер «Новостей», еще пахнувший типографской краской, и вот при каких

условиях я испытал известное авторам ощущение первых печатных строк. Я, конечно, был очень доволен своим «шекспировским условием». Иначе мой отчет стал бы похожим на идеальный отчет «короля репортеров».

При расчете Нотович, разумеется, и не подумал уплатить корректору авторский гонорар за случайную статейку. Да я и не требовал.

XIV. Панихида по Сидорацком

«Большой процесс» (так называли иначе «процесс 193-х») не только не ослабил движения в народ, но на некоторое время даже усилил его. Это естественно: его прямые, совершенно отрицательные результаты и их уроки не могли обсуждаться широко и свободно, а события самого процесса окружили участников ореолом. Наш тесный петербургский кружок разделял это настроение, и мы с братом, а также Григорьев решили устроить свою дальнейшую жизнь по-новому. Григорьев был свободен от семейных обязанностей, для нас с младшим братом задача сильно усложнялась. Мы были «лавристы» и смотрели на «хождение в народ» не как на рево-

люционную экскурсию с временными пропагандистскими целями, а как на изменение всей жизни. Григорьев не только разделял эти планы, но, быть может, более всех определял их. На ближайшее время мы с братом решили задачу таким образом: если представится случай участвовать в каком-нибудь предприятии, сопряженном с опасностью ареста, то участвует только один, а другой остается «в семейном резерве».

Такой случай представился вскоре после дела Засулич: во Владимирской церкви предполагалась панихида по Сидорацком. Можно было ожидать побоища и арестов. Мы бросили жребий, который выпал брату. Когда он ушел, в нашу квартиру забежал Григорьев и сказал мне:

— Приехала из Москвы Душа Ивановская. Я думал, что вы пойдете на панихиду. Она тоже будет. По очереди пошел брат?.. Ну, делать нечего... Прощайте пока. — И он спешно ушел.

Ивановская была наша общая знакомая. В последний год наш кружок в академии значительно расширился, и у нас происходили

регулярные собрания в Петровке, в квартире женатого студента Марковского. Кроме того, мы часто собирались в разных местах в Москве. На одном из таких собраний мне бросилась в глаза высокая девушка, которую знакомые называли просто Душей. В нашем провинциальном городишке мы привыкли к особому тону отношений с девушками: мы сходились для танцев, влюблялись, переживали маленькие сердечные драмы, но девушки являлись нам лишь в известной «обстановке», по большей части среди музыки и цветов. Петербургская жизнь ничего не дала мне в этом отношении, и только здесь, в Москве, я увидел собрания, на которые со студентами приходили и девушки. В собраниях они выступали редко, но в более тесных кружках обсуждали все, о чем говорилось, и мнение многих из них приобретало большой вес в наших глазах.

Я был вообще застенчив, но к тому времени я уже свободно говорил в собраниях студентов, и мое имя, наряду с Григорьевым и Вернером, приобретало некоторую популярность в кружках. Однажды, придя довольно

поздно на одно из собраний у Марковского, я поздоровался с двумя-тремя знакомыми и остановился. Недалеко я увидел Ивановскую. Мы бывали вместе на двух-трех собраниях, но нас никто не представлял друг Другу, я еще ни разу не говорил с нею и не знал, как держаться. Может быть, заметив мое легкое замешательство, девушка подошла сама, протянула руку и сказала просто «здравствуйте», назвав меня по фамилии. Это сразу подкупило меня, и мы затем уже встречались запросто. Я узнал, что есть три сестры Ивановские и что брат их, земский врач, носивший в кружках прозвище «Василья Великого», был арестован и убежал из московской Басманной части. Сестры были «на замечании» у полиции, и после нашей встречи Ивановская тоже была арестована. Ходили слухи, что она в заключении заболела. У меня при этих известиях сжималось сердце.

Теперь я узнаю, что она здесь, что я сейчас мог бы ее увидеть, если бы не случайность жребия. Брат с нею не знаком, и я уверен, что, если бы я раньше узнал об ее приезде, он уступил бы мне свою очередь. Но его нет. А

между тем бог знает что может случиться после этой панихиды.

Я решил пойти к Владимирской церкви, разыскать брата и смениться с ним очередями. Подходя к церкви, я увидел, как отряд жандармов проехал на рысях по Владимирской и въехал в один из дворов против церкви, после чего ворота наглухо закрылись. В соседних домах ворота тоже были закрыты; можно было предполагать, что и там есть засада. Я решил произвести небольшую рекогносцировку. Местами, подальше от церкви, в соседних переулках, вдоль стен и в проходах под воротами стояли кучки людей в сибирках и высоких сапогах. На некоторых были наде- ты фартуки, а в руках они держали метлы. Стояли они все точно на каком-то дежурстве. Я понял: полиция узнала о цели панихиды и готовила свой «народ» для расправы с кра- мольниками в помощь полицейским.

Когда я вошел в переполненную церковь, панихида была уже на исходе. В волнах ка- дильного дыма и в торжественных звуках прекрасного пения мне чудилось особое на- строение: мало кто из этих молодых людей и

девушек знал покойного Сидорацкого. Но вот вскоре, быть может, не один и не одна из этой толпы подвергнутся его участи.

Недалеко от входа, у задней церковной стены, я увидел Григорьева, делающего мне знаки, и я пробился к нему через толпу. Рядом с ним стояла приезжая. Так же просто приветливо она поздоровалась со мной и через некоторое время сказала:

524

— Послушайте, Короленко, так нельзя стоять в церкви.

Я действительно стоял спиной к алтарю, а лицом к ней.

Когда панихида кончилась, толпа повалила из церкви, но остановилась у паперти, очевидно ожидая чего-то. Минута была критическая. Темная кучка людей, человек в пятьсот, казалась такой маленькой на этой площади под величавым порталом Церкви. Незнакомцы в передниках и с метлами сбегаются из переулков... А кругом глядят слепые пятна закрытых ворот, скрывающих вооруженную засаду.

Над толпой поднялся молодой человек и

начал говорить со ступеней церковного крыльца. Это был Лопатин (не Герман и не Всеволод, имена которых были уже известны в радикальных кружках). Сказав несколько слов о Сидорацком и о значении панихиды, он стал горячо убеждать толпу ограничиться этим мирным выражением своего отношения к погибшей жертве и разойтись по домам без дальнейших демонстраций. Речь была сказана хорошо и оказала действие: после некоторого колебания плотная толпа как будто дрогнула. Ожидали возражений, слышались отдельные недовольные восклицания, но, вероятно, по предварительному плану распорядителей, речей в другом смысле не было. Кучка за кучкой стали отрываться от компактной массы, и вскоре толпа расплылась в разные стороны. До Невского и в начале Литейного она была все-таки довольно густа, но далее стала смешиваться с безразличной толпой, хотя все еще местами привлекала удивленные взгляды встречной публики. В конце Литейного, у самого спуска к реке, произошел небольшой шум. Кто-то заметил или просто только заподозрил шпиона, и кучка студен-

тов делала вид, что хочет бросить его в полынью на Неве у берега. Дело, однако, кончилось благополучно.

Я провожал Ивановскую и здесь попрощался с ней. Пройдя несколько шагов, я оглянулся. Какая-то дама, очень нарядная, только что встретилась с девушкой и тоже оглянулась. На лице ее появилась насмешливая улыбка, значение которой я понял; высокая худощавая фигура девушки была далеко не нарядна: на ней было темное пальто, точно с чужого плеча, а на голове круглая клеенчатая шляпа с лентой, падавшей сзади на плечи вместе с косой.

Читатель вспомнит первую детскую, но довольно продолжительную любовь «моего современника», начавшуюся среди музыки, детской игры и танцев. И вот теперь, в лице этой нарядной красавицы, прошлая любовь как будто смеялась над настоящей. И он подумал:

«Да, эти клеенчатые шляпы ужасны... Но... Как я люблю ее...»

XV. Убийство Мезенцева. — Второй арест. — В третьем отделении

«Большой процесс», выстрел Засулич, вызвавший общее и очень широкое сочувствие, ее оправдание, заявление ее об уважении к суду присяжных и готовности ему подчиняться — все это были мотивы, казалось, устанавливающие некоторое взаимодействие между широкими общественными течениями и стремлениями революционной молодежи. Но это длилось недолго. Впечатление дела Засулич постепенно сглаживалось в обществе и прессе, а жестокие репрессии, которыми правительство ответило на наивные попытки народнической молодежи, вызывали ожесточение. Движение начало сворачивать на путь изолированной борьбы революционной интеллигенции, на путь террора.

Вера Засулич не была террористкой в прямом смысле. Ее поступок был непосредственным порывом и оттого, быть может, вызвал такое общее сочувствие. Сама она всю остальную жизнь оставалась принципиальной противницей террора. Но вскоре после ее дела появилась брошюра Кравчинского, в которой последний восторженно приветствовал ее подвиг и звал к его продолжению.

И продолжение не замедлило.

4 августа 1878 года убит шеф жандармов Мезенцев. Во время обычной своей прогулки в сопровождении генерала Макарова он встретился на Михайловской улице с двумя изящно одетыми молодыми людьми, которые отделили его от спутника. Один из встречных прижал Макарова к стене, а другой в это время ударил Мезенцева кинжалом. За неизвестными шагом ехала пролетка, в которую они сели и скрылись бесследно. Это было среди белого дня на одной из центральных улиц столицы.

Исполнителями террористического акта были Кравчинский и Баранников. Лошадью правил Адриан Михайлов. В прокламации, выпущенной по этому поводу, выставлялся мотив, близкий к мотиву Веры Засулич: месть за погубленных товарищей. Кроме того, в стихотворении А. А. Ольхина, самом сильном из всего, что им когда-либо было написано, упоминалось о том, как

*Угасает в далекой якутской тай-
ге
Яркий светоч науки опальной...*

По закону Н. Г. Чернышевскому, окончившему срок каторжных работ, предстояло выйти на вольное поселение. Но вместо этого он вновь был заключен в особой тюрьме в Вилюйске. И говорили, что это благодаря Мезенцеву.

Вечером в день этого убийства я долго засиделся в типографии. Возвращаясь поздней ночью в свою квартиру (мы жили тогда на углу Подольской улицы и Клинского проспекта), я был поражен обильным ее освещением. Подозревая недоброе, я быстро вбежал по лестнице с тяжелым опасением за мать. Она все была больна сложной нервной болезнью, на почве которой с нею случались тяжелые припадки. Дверь оказалась незапертой, квартира наполнена полицией и понятыми. И первая фигура, которая мне бросилась в глаза, была совершенно спокойная фигура матери. Я кинулся к ней и, обнимая ее, услышал ее шепот: «Пьянков называется так-то... Он сегодня снял у нас комнату».

Пьянков, участник «большого процесса», оправданный по суду, был все-таки сослан по высочайшему повелению в Архангельскую

губернию, откуда только что бежал вместе с Павловским, впоследствии известным корреспондентом «Нового времени» из Франции (Яковлев). О том, что в этот день что-то предпринимается, было известно в неблагонадежных кругах, и оба беглеца еще с утра попросили у нас приюта, считая нашу квартиру безопасной. Павловский не явился, а Пьянкова я сразу увидел сидящим на окне.

Ничего предосудительного при обыске найдено не было, но все же я и мой младший брат были арестованы, у остальных, то есть у моего зятя, недавно женившегося на старшей сестре, у его приемного отца, только что приехавшего из Петрозаводска, чтобы познакомиться с женой сына, и, наконец, у Пьянкова были отобраны паспорта с обязательством явиться на следующий день в Третье отделение.

Нас с братом доставили в здание у Цепного моста, которое, несмотря на поздний час, было ярко освещено и переполнено движением и суетой. Меня привели в коридор верхнего этажа, ввели в камеру, велели раздеться донага и унесли одежду с собой. Но все-таки я

успел припрятать карандаш, обернутый полуплистиком почтовой бумаги, засунув его в буйные волосы. Я его оставил потом в наследство своему неведомому преемнику по камере. Через пять минут мне принесли белье, халат из тонкого сукна и туфли вроде больничных. Через десять минут я уже спал как убитый.

Ранним утром служитель принес принадлежности для умыванья. Он был в жандармской тужурке. Тогда жандармы не были еще добровольцами, а назначались в «корпус» прямо из сдаточных, как и в другие роды войск. Поэтому между ними встречалось много простых и добродушных лиц без той особой печати, которая отмечала жандармов-добровольцев. Когда служитель входил за чем-нибудь в камеру, часовой, тоже жандарм, становился у двери почему-то спиной к камере. Умывшись и обтирая лицо, я спросил у служителя, «который теперь час», но в ответ получил громкий и довольно грубый окрик:

— Молчать!.. Не велено разговаривать. — Но тут же он прибавил шепотом — Девять часов.

Я понял, что ни этого прислужника, ни

стоящего у двери с обнаженной шашкой часового мне опасаться нечего, и когда он принес мне завтрак, то я опять спросил его:

— Не знаете ли? Мой брат тут же? — Новый, еще более грозный окрик и тихий ответ — В таком-то номере, внизу.

В третий раз, когда явился обед, служитель уже сам мигнул мне, чтобы я спросил у него что-нибудь, и после грубейшего окрика ответил шепотом:

— Вашего брата на допрос повели. Кушайте скорее, сейчас позовут и вас.

Мне действительно скоро принесли собственное платье и повели в канцелярию. В коридорах и в комнатах Третьего отделения шла невероятная суета, все было полно жандармами, сыщиками, арестованными и призванными к явке. Проходя через переднюю, я увидел Лошкарева и его приемного отца. Пьянкова хорошо знали в Третьем отделении, и потому, по общему совету, он не явился.

Меня и брата допросили наскоро, где мы провели первую половину вчерашнего дня, и затем отпустили. Вместе с нами в переднюю вышел молодой жандармский офицер и

окликнул:

— Вызванные с Подольской улицы, дом номер такой-то, здесь?

— Точно так, ваше высокоблагородие, — ответил приемный отец Лошкарева, бывший николаевский солдат, и вытянулся в струнку.

Это, по-видимому, спасло наше положение: офицер благосклонно взглянул на эту колоритно-благонадежную фигуру и, не переключая остальных, отдал ему все паспорта. Таким образом, неявка Пьянкова прошла незамеченной. Мы веселой гурьбой вышли на узкий двор, где навстречу нам попался в парадной форме высокий, полный и красивый жандармский полковник. Нам назвали весьма впоследствии известного телохранителя и личного друга Александра III, генерала Черевина.

XVI. Несколько слов о моей преступности. — Дилетант революции и вольный сыщик

Эпизод с арестом по поводу убийства Мезенцева показал нам ясно, что мы признаны уже бесповоротно «подозрительными» и должны ожидать таких же неожиданностей

по любому поводу.

Теперь, по прошествии многих лет, оглядываясь на это прошлое, я спрашиваю себя: были ли для этого действительные основания? Был ли я действительно опасным революционером? Конечно, в моей квартире находили приют такие ужасные преступники, как Пьянков или Павловский. Впоследствии, как я уже говорил, Павловский трудился на самом благонамеренном поприще, украшая своими статьями столбцы «Нового времени». Правда, будучи уже эмигрантом, он написал как-то по-французски рассказ «En cellule», где изобразил ощущения политического заключенного в одиночке. Тургенев горячо рекомендовал этот рассказ молодого автора французскому редактору, и это навлекло на знаменитого писателя громы и молнии в газете Каткова. Впоследствии, однако, этот рассказ, уже по-русски («В одиночке»), появился в книжке Павловского, вышедшей в России при царском режиме.

Пьянков, сколько мне известно, получив наследство после смерти отца, богатого сибирского виноторговца, тоже стал впослед-

ствии крупным торговцем на Амуре и издавал во время русско-японской войны патристическую и даже ультрашовинистическую газетку.

Таким образом, то, что я дал приют этим двум беглецам, очевидно, не имело для отечества пагубных последствий. Я сам побывал уже в ссылке и готов был дать приют всякому, уклоняющемуся от административного произвола, не справляясь, конечно, намерен ли он впоследствии работать в «Новом времени» или торговать вином.

Что же еще? Я строил планы переустройства своей жизни, связанные с более или менее туманными планами переустройства всего общества. С этими целями я и Григорьев занялись изучением сапожного ремесла, а мой младший брат завел небольшую слесарную мастерскую. Очень вероятно, что через некоторое время мы с братом кинули бы жребий, и один из нас отправился бы «в народ» — я с Григорьевым в качестве странствующих сапожников, брат — слесарным мастерским. Это кончилось бы тем же, чем кончались сотни подобных экскурсий, то есть сознанием,

что народная жизнь настоящий океан, управлять движениями которого не так легко, как нам казалось. Для меня лично это сопровождалось бы накоплением художественных наблюдений, и, вероятно, я скоро бы понял, что у меня темперамент не активного революционера, а скорее созерцателя и художника. Одним словом, степень тогдашней моей преступности даже у нас, с точки зрения даже наших законов, оставалась самое большее в области намерений и предположений, едва ли караемых.

Я был все-таки неблагонадежен?.. Конечно. И именно в той степени, в какой был неблагонадежен в то время любой представитель среднего русского культурного общества. «Ваше величество, — писал Лавров в своем журнале „Вперед“ Александру II. — Вы ходите иногда по улицам. Если навстречу вам попадет образованный молодой человек с умным лицом и открытым взглядом, знайте: это ваш враг»...[9] И это было очень близко к истине.

Самодержавие это чувствовало. Бороться приходилось с настроением, разлитым в воз-

духе, а наша власть гонялась за отдельными проявлениями и привыкла стрелять по воробьям из пушек. Самые законы она стала приспособлять к этой пальбе. Видя, что суд все-таки не так легко подчинить временным надобностям устрашения всего общества и что он не может стать достаточно гибким орудием борьбы не с поступками, а с настроением — власти выработали более послушный механизм. Несколькими краткими законами в порядке верховного управления был создан или значительно расширен механизм так называемого «административного порядка». Эти краткие акты верховной власти можно было бы назвать настоящими «законами о беззаконии». Они вскоре получили вдобавок самое распространенное толкование, и с ними царствование Александра II, «творца судебных уставов», вступало на путь азиатского произвола во всем, что хоть отдаленно касалось политических мотивов.

В это время (к концу 1878 года) мы жили в проходном дворе, узком и длинном, выходявшем одной стороной на Невский проспект против Александро-Невской части, а дру-

гой — на Вторую улицу Песков. С нами жили теперь две сестры Ивановские (Александра и Евдокия Семеновны), отпущенные из Москвы впредь до окончания (административного, разумеется) какого-то их «дела». Времена были патриархальные, и жили они без прописки.

Это был один из лучших периодов моей жизни и — я уверен — также в жизни моей матери и всей семьи. Все мы жили вместе, кроме старшего брата, приходившего к нам раз в неделю. С Ивановскими мы сжились, как с родными. Григорьев называл мать «мамой», и она полюбила его, как сына. Все мы, мужчины (кроме Григорьева), работали по корректуре в разных типографиях, поздно возвращаясь домой. Во втором часу ночи обыкновенно поспевал самовар, мать тоже поднималась к этому времени, и в маленькой кухонке сходилось за чайным столом все население квартирки. Шли разговоры, смех, пока мать, притворно сердясь, но, в сущности, радостная и спокойная, не разгоняла нас по комнатам.

В этот период даже ее нервная болезнь

прошла и припадки не повторялись.

К этому времени я уже бросил мысль о Горном институте, брат оставил строительное училище, и только зять Лошкарев продолжал заниматься в Медико-хирургической академии. По утрам я стал ходить в сапожную мастерскую на Загородном проспекте. И молодой хозяин ее, и все рабочие были финны, уже затронутые «пропагандой», и все очень радушно старались преподать мне тайны своего искусства.

С некоторых пор мы заметили, что за нами установлен систематический надзор тайной полицией. Рядом с нами жили тоже неблагонадежные люди (семья Мурашкинцевых), и для надзора за обеими квартирами были поставлены два шпиона. Лица их нам скоро примелькались. Один был высокий блондин, довольно благообразный, но какой-то тусклый, с вечно подвязанной щекой. Другой — брюнет, невысокого роста, неприятный, с физиономией орангутанга, сильно выдавшейся вперед нижней челюстью и мрачными черными глазами. Они стояли по одному у каждого выхода нашего проходного двора, а ино-

гда устанавливали наблюдательный пост на площадке противоположного дома, откуда можно было заглядывать в наши окна. Стоило кому-нибудь из нас выйти в сторону Невского или Второй улицы Песков, как один из них увязывался за нами. Сказать правду, мы довольно жестоко забавлялись над беднягами. Мне, например, не хотелось, чтобы они знали о моих экскурсиях в сапожную мастерскую, и мы прибегали к военной хитрости: брат выходил с подъезда, тревожно оглядывался и шел к воротам. Шпион тотчас же увязывался за ним. Брат проходил по нескольким улицам в сторону, противоположную той, куда мне следовало идти, заходил даже во дворы, подымался наудачу на лестницы и затем возвращался домой, а я в это время благополучно выходил со двора и шел на Загородный. Филеры сбивались с ног, записывали без толку много дворов и лестниц, но не могли узнать ничего интересного, и, конечно, в них накоплялось против нас понятное озлобление.

Впрочем, гораздо более серьезные последствия имела для нас встреча с двумя сыщиками-

ми, о которых мне приходится рассказать подробнее.

Первый из них был некто Глебов. Это был актер-неудачник. Старший мой брат, Юлиан, совершенно непричастный ни к какой «крамоле», подобрал его в каком-то увеселительном саду в трудную минуту его жизни, когда у него не было даже своей квартиры. Это был молодой человек, обладавший довольно «благородной» сценической наружностью. Высокий, довольно стройный, с роскошной артистической шевелюрой, он, однако, не обладал никаким талантом и потому бедствовал. К брату он переселился с одной только гитарой, на которой аккомпанировал себе, распевая романсы. Пел он сладким голосом, стараясь при этом приятнейшим образом складывать губки ижицей. У брата, как некогда у отца, бывали разные неожиданные фантазии, и когда мы спрашивали, что это у него за жилец и почему он его содержит, брат отвечал совершенно серьезно:

— Это даровитый артист. Он меня учит музыке... Находит, что у меня есть признаки таланта.

Надо заметить, что наша семья не отличалась особенными музыкальными способностями, а старший брат был, можно сказать, самый из нас немusикальный, и мы все, не исключая его самого, от души хохотали, когда он под гитару «артиста» старательно выводил: «По небу полуночи...» Но «даровитый артист» делал самый серьезный вид.

Однажды этот артист внезапно исчез и не появлялся две недели, что возбудило у брата беспокойство. Это случилось вскоре после того, как уехала за границу госпожа Гольдсмит, жена редактора «Слова». Многим было известно, что она должна увезти с собой какую-то корреспонденцию, назначенную для передачи в редакцию «Вперед» П. Л. Лаврову. Среди ее знакомых был, между прочим, и Глебов. Все обратили внимание, что он явился к проводам уезжавшей на Варшавский вокзал, запыхавшись, перед самым отходом поезда и, прощаясь, странно оглядывался по сторонам. Через две или три станции госпожа Гольдсмит была снята с поезда и обыскана. Оказалось случайно, что она раздумала везти корреспонденцию лично и передала ее более

благонадежной особе. Таким образом, по обыску ничего предосудительного найдено не было, госпоже Гольдсмит был выдан за счет Третьего отделения новый билет до Варшавы, а Глебов исчез с нашего горизонта на две или на три недели. Позже говорили, что это был первый его добровольческий подвиг, и за оплошный донос бедняге пришлось высидеть под арестом. Как бы то ни было, брат после этой безвестной отлучки вновь принял «артиста» с распростертыми объятиями, опять зазвучала гитара, только вместо дуэтов теперь раздавалось трио: во время отсутствия Глебова брат пустил нового сожителя, некоего С-ва, бывшего народного учителя, теперь занимавшегося частными уроками и воображавшего себя отчаянным революционером. Это был человек благодушный, но очень недалекий. Ему предстояло вскоре отправиться с каким-то юным дворянчиком в имение в Харьковскую губернию, и он попросил моего младшего брата достать ему несколько номеров нелегальных изданий, выходивших тогда в Петербурге. Брат удовлетворил его просьбу.

Придя после этого к старшему брату, я за-

стал С-ва за укладкой вещей. В этом ему усердно помогал Глебов, увязавший при мне нелегальные издания в тючок, вверху которого были положены бумаги С-ва. Разговоры об этом велись громко, несмотря на то, что комната брата отделялась только одной дверью от соседней, где жили незнакомые люди. Должен сказать, что я считал С-ва человеком легкомысленным и был против его пропагандистских предприятий. Когда Глебов кончил укладку, быстро собрался и убежал куда-то, сказав, что придет попрощаться на вокзал, мне вспомнились вдруг рассказы о случае с госпожой Гольдсмит, и я стал выговаривать С-ву за его неосторожность:

— Ведь мы совсем не знаем этого Глебова. Смотрите, как бы и вас не остановили на второй или третьей станции. Об нем уже ходят нехорошие слухи...

— Ну, если бы это случилось, тогда дело ясное: значит, Глебов шпион.

— А знаете ли вы, — сказал я, понижая голос, — кто вот тут слышит все наши разговоры в соседней комнате?..

С-в уехал на вокзал. Вагон, куда он вошел,

был набит битком. Большой чемодан, бывший с ним, носильщик положил на первое незанятое место на верхней полке, а самому С-ву пришлось усесться в другом конце вагона. К самому отходу поезда опять примчался запыхавшийся Глебов, разыскал С-ва, заботливо посмотрел, удобно ли он устроился, и выйдя в последнюю минуту на платформу, успел снабдить его на дорогу несколькими иудиными поцелуями.

На одной из близких станций С-ва пригласили в жандармскую комнату вместе с вещами. Разумеется, он захватил только один небольшой чемоданчик, лежавший рядом с ним, а другой чемодан благополучно проследовал дальше. Благодаря этому обстоятельству у С-ва, как и у госпожи Гольдсмит, ничего предосудительного не найдено. Жандармский офицер, добродушный старик, с соболезнованием покачал головой и сказал:

— У вас, господин С-в, есть в Петербурге плохой приятель.

Между тем чемодан с нелегальными изданиями и с бумагами С-ва доехал до Москвы, где и был оставлен в качестве бесхозьяного

багажа. Разумеется, С-ву оставалось только явиться к начальнику станции и потребовать свои «забытые вещи». Это была единственная вероятность отделаться благополучно. Но С-в был человек несообразительный и трусливый. Поэтому он предпочел отправиться в Харьковскую губернию и ждать там пассивно до тех пор, пока неизвестно кому принадлежащий чемодан (с бумагами С-ва) не был вскрыт, после чего владелец арестован и доставлен в Петербург.

Между тем Глебов вновь «безвестно отлучился» с квартиры брата, как после прощания с госпожой Гольдсмит. Этому неудачнику-артисту, очевидно, не везло также и на новом поприще, и каждое трогательное прощание на вокзале кончалось для него новым арестом. С-в на вопрос о том, кто ему дал нелегальные издания, сказал прямо, что получил их от Глебова. За этим последовала новая, уже третья, безвестная отлучка Глебова, а С-в был отпущен.

Как-то в разговоре с С-м по поводу сего инцидента я сказал ему, что на его месте я никогда больше не брался бы ни за какие неле-

гальные предприятия. Ведь нельзя даже быть вполне уверенным, что выдал именно Глебов (как это ни правдоподобно), а не неизвестные соседи за дверью. С-в долго после этого сидел в углу, а затем подошел ко мне и сказал расстроганным голосом:

— Знаете, ваши слова смутили мою совесть... Но что же в таком случае мне сказать завтра в Третьем отделении, куда я пойду за получением бумаг? Ведь если снять оговор с Глебова, то придется сказать, что я получил нелегальные издания не от него, а от вашего брата?

Я с удивлением посмотрел на него и сказал:

— Сделайте одолжение... Скажите, что получили их от меня...

Он, видимо, обрадовался, но скоро на его лице показалось смущение.

— А... А что же будет с вами? — спросил он.

— Обо мне не беспокойтесь, — я просто скажу, что С-в известен в нашем кружке как отчаянный лгун: сначала налгал на Глебова, а когда мы стали стыдить его за клевету — он пытается оболгать нас.

Лицо его совсем увяло. Это был дилетант от революции, считавший для себя обязательными откровенные ответы на всякий вопрос начальства. Революционная деятельность представлялась ему делом занимательным и не особенно опасным: раздавать с конспиративным видом подпольные издания юношам и особенно девицам. В случае провала умило-стивлять начальство «откровенными показаниями», освободиться этой ценой и — приниматься за старое уже в звании «пострадавшего». Наивный человек, по-видимому, не видел в этом ничего предосудительного.

— Послушайте, С-в, что я вам скажу, — продолжал я. — Брат не навязывал вам нелегальных изданий. Вы сами выклянчили, чтобы он достал их для вас. Если же вы считаете, что вы вправе после этого донести на него, то нужно предупредить об этом ваших знакомых. Впрочем, успокойтесь насчет Глебова. Конечно, если он не шпион, то вы обязаны снять с него оговор. Но это мы вскоре выясним.

Действительно, мы с братом решили во что бы то ни стало выяснить этот вопрос.

Некоторые сомнения еще оставались, и нам казалось, что мы не имеем права при таких условиях называть Глебова шпионом. Поэтому мы своим кружком пригласили «артиста» и попросили разъяснить нам некоторые «сомнительные обстоятельства». Сначала он все отрицал, но потом совершенно запутался и, приняв театральную позу, сказал с пафосом:

— Пусть так... Но имел ли все-таки С-в нравственное право взводить на меня ложное обвинение?

Мы прекратили разговор о «нравственном праве» и указали шпиону на дверь.

Позже этот господин выступал уже официально даже при обысках, а вскоре после нашего с ним объяснения его имя появилось в списке шпионов, напечатанном в нелегальном листке.

В то время когда я пишу эти воспоминания, в «Русском богатстве» оглашены выдержки из некоторых документов, относящихся к моей биографии. В частности, о причинах последовавшей вскоре после этих событий моей высылки из Петербурга говорится, что я подвергался в покушении на драгоценную жизнь

какого-то шпиона. Очевидно, Глебов слишком драматизировал свое «объяснение» с нами.

Впрочем, истории о покушении на его жизнь в Третьем отделении не придали сколько-нибудь серьезного значения (о чем мне впоследствии говорили даже жандармы), так как было совершенно ясно, что по отношению к этому господину мы обнаружили скорее донкихотскую щепетильность, чем свирепость, но все же эти мелкие факты в своем нагромождении все больше сгущали атмосферу неблагонадежности вокруг нашей семьи и ближайших знакомых.

Что касается до С-ва, то его революционный зуд все-таки его не оставил. Вскоре он опять был арестован по новому делу и дал откровенные до гнусности показания, которые закончил следующим патетическим обращением:

— Если эти показания попадутся на глаза моим товарищам — пусть они примут во внимание, что, давая их, я томился в темнице.

XVII. Убийство Рейнштенна. — Новый арест

В один прекрасный день в нашу квартиру явился молодой человек, одетый в роскошную шубу с собольим воротником, и в такой же шапке, очень радостный и очень благополучный на вид, откормленный, с нежным румянцем на сытом лице. Показалось несколько странным, когда он отрекомендовался простым рабочим, приехавшим из Москвы. Он просил снабдить его петербургскими нелегальными изданиями и особенно настойчиво добивался прямых сношений с редакцией. У него были рекомендации наших знакомых, но мы не могли удовлетворить его просьбу уже потому, что сами таких прямых сношений еще не имели. Он очень просил узнать и сообщить ему в следующий приезд. Это мы, пожалуй, и могли бы сделать, но у нас не было особенного желания хлопотать для этого странного рабочего, явно щеголявшего дорогой шубой, тем более что одна из рекомендаций исходила от описанного выше С-ва. Рейнштейн приезжал несколько раз и каждый раз являлся к нам со своей просьбой. Случаю было угодно, чтобы один раз он столкнулся в нашей квартире с человеком, близким к редак-

ции нелегального издания. Это был А. А. Остафьев. После крупного разгрома люди, оставшиеся в Петербурге у революционных дел, наружно совершенно преобразились. Остафьев (знакомый младшего брата), еще недавно очень беспечный насчет костюма, теперь явился к нам настоящим денди, в изящном пальто, с портфелем под мышкой, точно важный департаментский чиновник. Рейнштейн, нимало не стесняясь, изложил при нем свою просьбу: он явился делегатом от московских рабочих, для прямых сношений с редакцией «Земли и воли». Для нас самих была неожиданна быстрая готовность Остафьева исполнить это желание незнакомого ему человека. Он назначил Рейнштейну свидание на другой день на углу такой-то и такой-то улицы. Рейнштейн ушел от нас, видимо обрадованный. Мы спросили Остафьева, почему он так легко согласился на просьбу человека, которого не знает даже по фамилии?

— А как его фамилия в самом деле? — спросил Остафьев, и, когда мы назвали Рейнштейна, он схватился за голову — Батюшки, шпион!.. В следующем номере мы печатаем

его фамилию в списке агентов. — И он быстро убежал из нашей квартиры.

На следующий день Рейнштейн пришел к нам огорченный: он напрасно прождал в назначенном месте. Где же ему теперь разыскать вчерашнего господина?

Брат ответил, что адреса вчерашнего господина мы и сами не знаем, так как он конспиративно скрывает свою фамилию и адрес. Рейнштейн после этого уехал в Москву, а через несколько дней стало известно, что он убит революционерами. В Москве он, очевидно, с провокационными целями содержал «конспиративную квартиру», на которой в это время скрывался, между прочим, мой хороший знакомый Петр Зосимович Попов, С-в и еще какой-то московский рабочий, с которым Петя Попов вскоре очень подружился. Рабочий был совершенно легальный, недавно приехал из деревни и жил без прописки только потому, что потерял паспорт и ждал из деревни другого. У Пети Попова сразу завязалась дружба с этим простодушным крестьянином.

Вся эта компания покоилась мирным

сном, как вдруг среди глубокой ночи раздался звонок. С-в поднялся и спросил: кто звонит? Отозвался дворник. Когда дверь была открыта, с дворником вошел какой-то высокий господин, лица которого при тусклом ночнике С-в не разглядел, подал какой-то конверт и тотчас же быстро ушел. С-в, не торопясь, вошел в спальню, зажег лампу и вскрыл конверт. Прочитав записку, он сначала бросился в переднюю и на лестницу, крича, чтобы незнакомец вернулся, но лестница была уже пуста. После этого С-в кинулся на свою кровать, уткнувшись в подушку, и на все вопросы Попова только отчаянно отмахивался руками: «Не спрашивай, ради бога, не спрашивай...» Попов все-таки взял из его рук листок и прочитал его. На нем измененным почерком было написано приблизительно следующее:

«Вы извещаетесь, что ваш квартирохозяин Н. В. Рейнштейн, оказавшийся предателем, казнен по приговору Исполнительного комитета партии „Народной воли“. Вы можете принять меры для своей безопасности, но обязуетесь хранить об этом полное молчание под страхом смертной казни».

Легко представить себе, какую ночь провели после этого жильцы конспиративной квартиры. На следующее утро С-в поспешил скрыться. Рабочий скрыться не мог и решил дожидаться заказного письма с паспортом. Петя Попов не хотел его бросить и еще несколько дней прожил с ним в той же квартире.

Все эти подробности я узнал от сестры Попова, Надежды Зосимовны, которая работала в качестве моей помощницы в «Новостях» и была близка с нашей семьей. Она получила с оказией письмо от брата еще в то время, когда об убийстве не было известно официально и труп Рейнштейна лежал в запертом номере гостиницы. Попов был глубоко убежден, что в данном случае произошла роковая ошибка. Сестра его разделяла это убеждение и успела внушить мне это сомнение, хотя впечатление сытенькой фигуры этого рабочего в собольей шапке все-таки оставалось. Мысль, что этот благополучный молодой человек лежит убитым в запертом номере, вызвала во мне содрогание. Я чувствовал, кроме того, что если Рейнштейн действительно предатель, то

это еще новое звено в той сети неблагонадежности, которая окружает нашу семью. Еще до этого, если не ошибаюсь, 22 февраля, ко мне подошел дворник и сказал как-то конспиративно:

— Вот что, господин: нет ли у вас в квартире кого-нибудь непрописанного?.. Так чтобы не вышло неприятности...

— А что? — спросил я.

— Да уж так, я вам говорю...

Мы сообразили, что это предостережение недаром, и решили ускорить отъезд сестер Ивановских в Москву. Для меня это был день, полный печали. Неделю назад я снес в редакцию «Отечественных записок» свой первый рассказ, который я незадолго перед тем прочитал в нашем кружке, и в этот день Щедрин мне вернул его в редакции «Отечественных записок». Я болезненно принял эту первую литературную неудачу. А тут еще эти проводы...

Жили мы очень близко от Николаевского вокзала. Прибегнув к обычному маневру, мы отвлекли обоих сыщиков от ворот, а в это время целой гурьбой пошли пешком на вокзал.

Гудок поезда долго еще звучал в моих ушах, когда я вернулся в опустевшую, казалось, квартиру, а ночью, когда мы были уже все в сборе, вернувшись с работы, — раздался звонок. Явилась с обыском полиция Александро-Невской части — высокий старик помощник пристава, несколько городских и понятые, среди которых были, между прочим, и двое наших знакомцев филеров: худосочный блондин с подвязанной щекой и похожий на орангутанга брюнет. По намеку дворника мы, разумеется, были совершенно готовы к этому посещению, и полиция удалилась совершенно ни с чем. Но ровно через неделю, 29 февраля 1879 года, обыск повторился. На этот раз полиция только присутствовала, а распоряжался всем жандармский офицер. Обыск был не особенно тщательный (жандарм держал себя в семейном доме вполне корректно), но два наших знакомца были опять тут и, видимо, были чем-то озабочены...

— Скажите, пожалуйста, кто эти господа? — спросил я у ротмистра. — Вероятно, члены прокуратуры?..

Ротмистр понял насмешку и, брезгливо по-

морщившись, сказал сыщикам:

— Что вы тут суетесь? Станьте у двери в передней и не отходите ни на шаг. Ну!.. — прикрикнул он, когда один из сыщиков пытался возразить что-то.

Оба филера вынуждены были повиноваться и поневоле стали вроде кариатид у двери в передней. Через некоторое время из кухонки, помещавшейся рядом с передней, раздался негодующий крик нашей кухарки Пелагеи:

— Что вам надо? Что вы ко мне пристаёте? Вот смотри, кочергой съезжу!..

Очевидно, сыщики приставали с какими-то расспросами. Кухарка Пелагея была очень простодушное существо. Она недавно приехала из деревни, жила до нас только на одном месте, где много натерпелась от хозяев, и, попав к нам, привязалась ко всем, точно родная. Порой она тоже поднималась среди ночи, чтобы принять участие в наших ночных разговорах, вставляя в них свои реплики, вызывающие взрывы веселого хохота. Она была юмористка по натуре и отчасти сознавала это. На этот раз сыщики обратились не по адресу. После негодующего окрика Пелагеи

офицер без церемонии прогнал их на лестницу.

Позже обнаружилось, что в эту минуту в нашей квартире разыгрывалась маленькая шпионская драма: на следующий день мать и Пелагея, со слезами убирая мою опустевшую кровать, нашли под тюфяком записку. В ней от имени наборщиков «Славянской книгопечатни» я извещался, что у них «все готово» и что они ждут только обещанного мною сигнала. Записка была подписана Кузнецовым, лучшим и наиболее интеллигентным наборщиком «Новостей».

Мать очень испугалась и поспешила уничтожить записку, о чем я очень пожалел, так как это был явный подлог. От кого он исходил, я не знаю. Несомненно, однако, что полиция предвидела жандармский обыск, и записка была подкинута для того, чтобы найти ее при этом обыске. Не думаю, чтобы в этой проделке участвовал добродушный помощник пристава, но, конечно, не ручаюсь за других чинов того же участка. Всего вернее, однако, что филеры, озлобленные нашей издевательской тактикой, придумали это на свой страх.

Во время одного обыска они незаметно сунули «документик» и должны были найти его при другом. Можно представить их настроение, когда жандармский офицер так жестоко лишил их этой возможности...

Лет десять спустя, после возвращения из ссылки, проходя мимо Аничкова дворца, где жил Александр III, я неожиданно увидел старого знакомца: у ворот дворца, наблюдая своим мрачным взглядом за проходящей публикой, стоял памятный мне орангутанг. За то время, когда я совершил чуть не кругосветное путешествие, его карьера тоже передвинулась с проходного двора Второй улицы Песков, где ему приходилось иметь дело с шаловливыми студентами, — к воротам царского дворца.

Позднюю ночью, почти уже на рассвете, симпатичный дворник, предупредивший меня о возможности обыска, открыл большим ключом выходные ворота на Невский, и целый отряд полиции развез нас по разным частям. Лошкарев попал близко — в Александро-Невскую часть; меня повезли в Спасскую, на Большой Садовой; младшего брата еще ку-

да-то. Кроме нас троих, в ту же ночь были арестованы старший брат на своей квартире и еще младший двоюродный брат, совершенно непричастный ни к какой крамоле, но работавший, как и мы, в типографии. Бедный юноша был неудачник в учении и выбрал себе карьеру наборщика. Он был очень впечатлителен, и арест надолго нарушил его умственное и душевное равновесие.

То обстоятельство, что мы были арестованы все, заставляет предполагать, что при поисках тайной типографии полицейские обратили внимание на «неблагонадежную» семью, все мужчины которой были причастны к типографскому делу. Явилось предположение, что мы, вероятно, доставляем шрифты и можем руководить техникой тайной типографии... Этой гипотезы для полиции было достаточно, хотя, надо сказать, это была совершенная фантазия.

XVIII. В Спасской части

Меня посадили в третьем этаже в камеру, окнами выходившую на двор. Из моего окна была видна стена адресного стола и задняя лестница квартиры его начальника. Бзо-

бравшись на стол, стоявший под окном, я мог с некоторым усилием видеть еще часть двора и ворота, мимо которых, звеня, пробегали вагоны кон-но-железной дороги.

В то же утро рядом со мною слышались вдруг какие-то иступленные крики, прерываемые истерическими рыданиями, и через некоторое время мимо моей камеры два служителя провели какого-то бывшего в их руках и плачущего человека. Это произвело на меня, конечно, очень сильное впечатление. Затем наступила глубокая тишина, среди которой через некоторое время с другой стороны раздалось тихое постукивание. Я знал, что таким образом заключенные переговариваются, и стал прислушиваться. Походило на частый стук телеграфного аппарата. Я не был знаком с условной азбукой и разобрать ничего не мог. Поэтому я принялся просто выстукивать свою фамилию счетом, начиная с первой буквы и останавливаясь на той, которая была нужна. Сосед снизошел к моей неопытности, и у нас завязался трудный разговор, долго не дававший результатов. Стуки как-то спутывались, становились бессвязными, то

прерывались нетерпеливой дробью, то наконец переходили в беспорядочное стучание кулаками. Я совершенно сбился с толку. Раз наконец я разобрал: фамилия соседа — Короленко. Я обрадовался и старательно выстукал: «Это ты, Илларион». Но ответ последовал неожиданный: «Мое имя Дмитрий». В конце концов я совершенно потерялся и решил просто, что ко мне подсадили шпиона, который назвался фамилией брата, но не знает его имени. Значит, мне надо держаться настороже, но все-таки стучать я не перестал.

Наконец я постиг азбуку. Мой сосед стал резко и настойчиво царапать чем-то по стене, проводя продольные и поперечные полосы. Первых я насчитывал каждый раз шесть, вторых семь. Я понял: нужно, значит, разграфить клетками и в каждой клетке поместить букву. В конце концов, кажется уже на второй день, я перестукивался по-новому: азбука состояла из двадцати восьми букв. Сначала выстукивался ряд, потом — которая буква в ряду. Например: один и три означало в, два и пять — к и т. д. Таким образом я узнал, что моего соседа зовут уже не Короленко, а Вино-

градов, но его попытка назваться вначале Короленком продолжала мне внушать сильное сомнение, пока и это не разъяснилось: стук шел из двух мест, — в мой разговор с ближайшим соседом то и дело врывалось постукивание менее внятное, как будто снизу, и оно-то порой переходило в неистовую дробь.

Через некоторое время Виноградов сказал мне:

— Сговоритесь как-нибудь с вашим братом, а то он развалит стенку каблуками.

Все стало ясно: этот стукальщик был действительно мой брат, только не младший, Илларион, а старший, Юлиан, об аресте которого я еще не знал. Сидел он в среднем коридоре, прямо под Виноградовым, и совершенно терял терпение от путаницы наших переговоров. Он был человек нетерпеливый и вспыльчивый, и научить его новой азбуке оказалось совершенно невозможно. Кроме того, его бурные стук в стену обратили внимание пристава и ему пригрозили карцером. После этого мне не удалось возобновить сношения с ним. Другая камера — рядом, откуда увели больного, была пуста, и мне оставался один

Виноградов.

Такие сношения через стенку производят особенное впечатление: не видишь говорящего, не слышишь его голоса, не видишь даже его почерка, как в письме. Звуки, как в телеграфе, складываются в диалоги, остальное приходится дополнять воображением. Со временем приучаешься улавливать некоторые оттенки настроения стучащего, а обманчивое воображение пытается создать произвольный образ — образ непременно приятный, обвеянный сочувствием общего заключения и предполагаемого единомыслия.

— Что вы обыкновенно делаете? — спросил как-то мой сосед.

В это время мне уже доставили книги, и я строго распределил свой день: прогулка по камере до чаю, часа два серьезного чтения, опять прогулка, потом разговор с Виноградовым, обед, после которого я позволял себе прилечь с книгой, но не более как на полчаса или на час. Потом опять чтение за столиком и т. д. Мне говорили как-то опытные люди, что в одиночке всего опаснее распусться, привыкнуть валяться на кровати, выпустить

себя из рук и потерять систему. Когда я сказал или, вернее, выстукал это Виноградову, он простучал в ответ: «Счастливец вы. А я давно распустился... Много сплю, мало читаю и развлекаюсь только у окна. Слышите вы гармонию? Это сынишка помощника... Славный мальчик играет нарочно для меня... Вот взгляните в окно...»

Я открыл свою форточку и посмотрел по направлению звуков: в самом низу напротив, в открытую форточку, по-видимому в кухне помощника, виднелось чудесное личико мальчика лет восьми, игравшего на гармонии. Играл он тихо и задушевно, подняв лицо кверху, и его круглые детские глаза с участием смотрели на окно Виноградова.

— Ну что скажете? — спросил Виноградов, когда кто-то, по-видимому, прогнал мальчишку. — Не правда ли, настоящий ангелочек? Нет ли у вас какой-нибудь монетки?

У меня была мелочь, выданная в качестве кормовых, которых я не тратил, так как младшая сестра и знакомые приносили мне обед. Виноградов научил меня снести монету в известное место и как ее там пристроить. Он по-

шел в то же место после меня и взял ее с целью передать «ангелочку».

Он придумал целую систему передачи монеты. Ему хотелось, чтобы я мог видеть эту операцию. Для этого он выдернул из проволочной оконной решетки кусок проволоки, загнул ее в конце кольцом, выдернул из казенной простыни длинную нитку, к которой привязал монету. Мы смотрели, как она покачивалась в воздухе, втроем: Виноградов из своего окна, я из соседнего, а мальчик снизу. К сожалению, был еще и четвертый наблюдатель: воробей на ближайшем выступе крыши. Едва только Виноградов выпустил нитку, мошенник воробей порхнул, подхватил ее на лету и скрылся на крыше. Отчаянный стук в мою стенку: «Видели, видели?..» — Виноградов был в совершенном отчаянии.

Вообще окно было для него, кажется, единственным источником радостей и огорчений. То и дело он давал мне сигнал: смотрите в окно. Однажды после этого сигнала я увидел на лестничной площадке довольно приятную молодую полную женщину, по-видимому кухарку или горничную. Она стояла у окна, де-

лала глазки в направлении моего соседа и посылала воздушные поцелуи. Это повторялось в известные часы каждый день, и Виноградов сообщил мне простодушно, что он влюблен и пользуется взаимностью. Это, конечно, значительно сокращало для него долгие дни заключения, но, увы — платонический роман закончился печально. На женскую верность рассчитывать так трудно!.. Опять сигнал — «смотреть в окно», и я увидел истинно потрясающую для моего соседа картину: его красавицу демонстративно обнимал пожарный. Стук в стенку: «Видели? И ведь это нарочно! О, женщины!..» Я простучал несколько шуточных утешений. Мой сосед принял их так же шуточно, но... видимо, был огорчен.

ХІХ. Эпизод с Битмитом. — Процесс качки

За камерой Виноградова в нашем коридоре помещался немного знакомый мне человек, которого хорошо знал Григорьев. У Глеба Ивановича Успенского есть рассказ «Три письма». В нем излагается история молодого человека, попавшего учителем в разлагающуюся, испорченную барством дворянскую се-

мью. Учитель задается целью сделать из этих барчуков честных рабочих и с этою целью даже женится на вдове, их матери. Говорили, что это — история Битмита, англичанина по происхождению, но давно сжившегося с Россией и даже принимавшего участие в народническом движении. Два его воспитанника, по фамилии Качка, были теперь уже взрослые молодые люди, производившие очень приятное впечатление. Оба были хорошими рабочими-слесарями и помогали моему брату поставить свою слесарную мастерскую.

Была у них и сестра — Прасковья Качка, которой суждено было вскоре приобрести большую известность. По-видимому, на ней отразились все отрицательные черты вырождения испорченной дворянской семьи. Это была невысокая девушка, блондинка с светло-золотистыми, слегка волнистыми волосами, которые она носила распущенными по плечам. Многие считали ее красивой, но мне не нравился в ней тусклый, не совсем чистый цвет лица и как будто потухающий по временам взгляд. Кроме того, мне казалось, что в ее лице слишком проступают очертания черепа,

что давало ощущение чего-то неживого. Эта странная девушка иногда приходила и к нам, разговаривала очень мало, но по временам охотно пела. Пение ее было тоже странное. Особенно любила она бывший тогда в большой моде романс «Нас венчали не в церкви». Это было нечто бурное, говорившее о том, что «венчала нас полночь», причем «столетние дубы валялись с похмелья». Бурный романс требовал сильного голоса, а голос Качки был слабый, в нем, как и в ее наружности, было что-то производившее странное, загадочное, дразнящее впечатление. Незадолго до нашего ареста Битмит был тоже арестован, а она уехала в Москву.

В одно утро Виноградов перестукнул мне от Битмита, что если я хочу передать домой записку, то у него есть случай переслать ее. В это время меня позвали на свидание в контору.

— Знаешь новость? — сказала мне при этом младшая сестра. — Качка в Москве убила своего жениха, Байрашевского. Об этом пишут все газеты...

Мне тотчас же пришло в голову, что, веро-

ятно, Битмит не знает об отъезде Качки в Москву и, может, адресовал ей свою записку, которая, таким образом, непременно попадет в руки властей. Нужно было предупредить это. Закончив наскоро свидание, я вернулся в свою камеру и стал обдумывать. Виноградова в камере почему-то не было. Он уехал, кажется, в баню, а ждать было нельзя. Я постучал в дверь.

В нашем коридоре чередовались двое служащих. Один был низенький, полный чухо-нец, довольно противный на вид, по фамилии что-то вроде Перкияйнена. Он был попрошайкой и однажды предложил мне написать записочку брату, которую брался передать. На мой вопрос, о чем он хлопочет, он сказал с наивной откровенностью:

— Ви будет давать вацать копек, брат будет давать вацать копек. Перкияйнен будет доход.

Теперь я надеялся, что если ему дать «вацать копек», то он пропустит меня к камере Битмита. Но дверь мне открыл сменивший Перкияйнена другой служащий, человек симпатичной, хотя довольно суровой наружно-

сти. Делать было нечего: переступив порог, я, вместо того чтобы двинуться направо, резко кинулся в сторону камеры Битмита. Служитель был человек очень сильный и, схватив меня за плечи, втолкнул назад в камеру. Я успел только поставить ногу между порогом и дверью и, таким образом, помешал закрыть ее. Он больно прижал мне ногу, отчего я слегка вскрикнул. На лице его выразилось тревожное участие. Это подало мне некоторую надежду.

— Что, больно? — спросил он, стараясь говорить тихо.

— Очень больно, — ответил я, — но все равно я не дам вам закрыть. Мне нужно сказать два слова товарищу.

— Это нельзя! — ответил он решительно. Я посмотрел ему в лицо и сказал:

— Послушайте, мне кажется — вы добрый человек, а мне нужно, понимаете, до зарезу!.. Вы можете раздавить мне ногу, но я не дам запереть камеру. — И я опять рванулся в коридор.

Суровое лицо полицейского смягчилось.

— Послушайте и вы меня, барин, — сказал

он. — Пустить вас в эту сторону я не могу: тут площадка и лестница. Не дай бог, увидят, особенно Перкийянен... Ведь я тогда пропаду. Лучше я приведу товарища к вам. Он пойдет в отхожее место, вы не запирайте камеру, а уж я, так и быть, покараулю лестницу.

— Не обманете?

— Вот вам крест...

И он действительно не обманул: через минуту ко мне в камеру вбежал Битмит. Времени терять было нельзя, и я без приготовлений сообщил ему роковую новость:

— Качка в Москве убила жениха и теперь арестована. Не посылайте ей никаких записок.

Битмит даже пошатнулся от неожиданности.

— Какой жених? — сказал он. — У нее никакого жениха не было.

В это время прибежал встревоженный служитель.

— Поднимаются по лестнице, — сказал он с испугом. — Не погубите меня...

Битмиту пришлось уйти, и коридорный запер дверь моей камеры. Я был сильно

взволнован всем этим эпизодом, представляя себе, каково теперь настроение бедного Битмита.

Забегая несколько вперед, скажу, что дело Качки было одним из *causes celebres*[10] того времени. Защищал ее Плевако, тогда уже большая знаменитость. Дело было обставлено очень эффектно. Качка на суд явилась в глубоком трауре и произнесла длинную сентиментальную речь, которая одним очень понравилась, на других произвела отвратительное впечатление... Она так любила его... Он клялся и изменил клятвам. Она не могла простить этого, не могла отдать его другой... Ее преследовало постоянное видение: белая могила под снегом и над нею в глубоком трауре грустная женская фигура... В могиле он, а над могилой вся в слезах — она. И т. д. Для меня эта зловеще-сентиментальная речь слилась с впечатлением лица Качки, сквозь молодые черты которого проступали очертания черепа, и ее тусклого, но странно дразнящего голоса. Во время самого убийства в числе присутствующих были мои хорошие знакомые, и они рассказывали, что вся эта история была

сплошная выдумка: Байрашевский не был совсем женихом Качки и, кажется, даже совсем не знал о ее чувствах. Качка в этот вечер была, как всегда, молчалива и, как всегда, пела: «Нас венчали не в церкви». Потом подошла и неожиданно выстрелила молодому человеку в висок.

Качку оправдали. Весной 1885 года на пристани пароходства «Зевеке» в Нижнем Новгороде, где я был с А. С. Ивановской, мы встретили среди пассажиров Качку. Она была на румянена и напудрена, производила двусмысленное впечатление и держала себя с странной развязностью.

— А моя жизнь с тех пор так полна и разнообразна, — говорила она аффективно. — Я перехожу от победы к победе...

А. С. холодно распрощалась с ней.

XX. Император Александр II и коридорный Перкиянин

После этого случая с Битмитом высокий служащий, как это иногда бывает, когда нам случится оказать ближнему услугу, положительно привязался ко мне. В часы своего дежурства он подходил к моей камере, отво-

рял дверь, и подолгу мы вели тихие беседы. Он рассказал мне, кто еще сидит в Спасской части, а также о своих товарищах, других коридорных и о начальстве.

В среднем коридоре молодой барчук, генеральский сын Дорошенко, помешался умом: все служит молебны и ругает царя... Ко мне действительно порой доносился звонкий голос из какой-то камеры в среднем этаже. Начальник Денисюк — человек бы ничего, да очень горяч: в этой камере прежде сидел рабочий Иванаинен. Что-то согрубил начальнику. Тот приказал двум служителям держать его за руки, а сам бил его по щекам. После этого революционеры прислали начальнику письмо с печатью: мертвая голова и два топора. Теперь он страшно трусит и обращается с заключенными мягче... А вот коридорный Перкийяйнен — первый доносчик на товарищей. Если бы увидел, как вот мы разговариваем, сейчас бы донес. В настоящее время в нижнем коридоре среди политических сидит один коридорный. Посажен на неделю по доносу Перкийяйнена. Настоящая язва!..

И каждый раз он прибавлял, что служба

тут плохая, грешная и что он ее скоро бросит.

Вскоре мне пришлось вступить в маленький конфликт с зрителем Денисюком. Однажды, войдя ко мне в камеру, он застал меня на столе смотрящим в окошко. При его входе я сошел со стола.

— Я уже говорил вам, что смотреть в окно не полагается!.. — сказал он очень грозно. — Вы хотите в карцер?

— А там есть форточка? — спросил я спокойно.

— Есть... Ну так что же? — спросил он с недоумением.

— Ну, так я и там стану смотреть в нее. Он отчаянно махнул рукой.

— Да, я знаю!.. Вас, революционеров, хоть режь на куски, хоть жги огнем... Вы народ отчаянный, ничего не боитесь... Лишь бы насолить начальству. Вы думаете о благе народа, а я думаю о своей семье. У меня их шестеро... Как вы думаете: если я народил такую ораву — должен я их содержать или нет?

И, внезапно перейдя от грозного тона к плаксивому, он стал изливаться в жалобах на свою участь: под него подкапываются: напро-

тив адресный стол, и начальник мечтает занять его место... То и дело пишет доносы...

Усмехнувшись, я уверил его, что не питаю против него никаких враждебных замыслов, а просто хочу дышать свежим воздухом и поглядеть на кусочек Садовой улицы, видной в ворота. Прекратить это не обещаю, но постараюсь смотреть так, чтобы меня не было видно из адресного стола. На этом мы и помирились. Кажется, его внезапное появление в моей камере было вызвано доносом Перкияйна.

История моего одиночного заключения в Спасской части приходит к концу. Мне еще остается сказать несколько слов об ее вольных и невольных обитателях. Однажды я писал письмо в конторе, когда к Денисюку пришел высокий старик с благообразным лицом, типа крупного чиновника. Усевшись у круглого стола, они повели тихую беседу, отрывки которой все-таки долетали до меня. Это оказался штатский генерал Дорошенко, отец того юноши, который «помешался в уме». Старик был не то губернатором, не то председателем Казенной палаты в какой-то из юго-западных

губерний. Теперь этот провинциальный туз говорил заискивающим тоном с петербургским приставом.

— Вы сами отец, так поймите сердце отца... Такое горе!..

— Не беспокойтесь... Не будет ни в чем нуждаться, — успокаивал Денисюк. — По болезни, на свои деньги можно даже вино...

— Ну, вино-то, пожалуй, не очень... Поэкономнее, знаете. У меня ведь он не один. — Денисюк сочувственно кивал головой и почти-тительно пожимал на прощание руки «генерала».

С молодым Дорошенком нам придется еще встретиться впоследствии, а теперь еще несколько слов о коридорном Перкияйнене. В судьбе его произошел через короткое время переворот неожиданный и почти фантастический: из коридорного Спасской части он превратился... в политического ссыльного. Случилось это следующим образом: после меня в том же верхнем коридоре сидел Василий Николаевич Григорьев, арестованный вскоре после нас. Перкияйнен предложил ему свои услуги по части переписки с городом, и он

стал довольно часто переписываться с моей матерью и сестрами. Между тем некоторые из записок, посылаемые заключенными из Спасской части, стали уже известны в Третьем отделении. Менее всего подозревали доносчика Перкияйна, но однажды решили все-таки обыскать и его. Другие товарищи, озлобленные его доносами, искали очень усердно и нашли записку Григорьева к моей матери, искусно зашитую в заплату в нижнем белье. Ничего предосудительного в записке не было, но все же Перкияйна арестовали и выслали в Восточную Сибирь «по высочайшему повелению».

Много лет спустя однажды при мне Владимир Викторович Лесевич рассказывал о впечатлениях своей высылки в Сибирь. Лесевич был прекрасный рассказчик. Между прочим, с большим юмором он вспоминал своеобразную фигуру одного из шедших с ним в одной партии. Это был простой человек, финн, высланый за что-то по высочайшему повелению. В начале пути он был очень удручен и долго чуждался своих путевых товарищей, но впоследствии привык, и ему даже очень по-

правилося, что «благородные господа» обращаются с ним как с равным и что ему идут кормовые наравне с ними. Путь на барже по Волге и Каме до Перми привел его в восторг, а на этапах от Перми до Тюмени он уже совсем вошел в колею, первый кидался занимать лучшие места на нарах и первый же являлся со своей чашкой за обедом. Он очень гордился, между прочим, тем, что его выслал «сам царь Александра», и ему представлялось, что теперь царь только и думает об его ссылке и о нем. Однажды после ужина, сидя на нарах, свесив коротенькие ножки и болтая ими в воздухе, он разразился от полноты душевной целым монологом: вот царь думает теперь, что он совсем пропал, что ему уже нет и житья.

— Александра, Александра! — закончил он при общем хохоте. — Ты думаешь, Перкияйнен лацит, убивается. Дурак ты, Александра. Перкияйнен миётся...

Лесевич забыл было фамилию этого «политического», но с первых черт рассказа я узнал своего знакомца и крикнул:

— Да это Перкияйнен!..[11]

О дальнейшей судьбе его я ничего не знаю.

XXI. Единственный допрос- предчувствие пристава Денисюка

С первых дней ареста я написал прокурору, требуя допроса и освобождения. Некоторое время никакого ответа не было, и Денисюк, через которого пришлось подавать эти заявления, пожал плечами и сказал: «Напрасно! Не вы одни... Всех арестуют так же и держат без допроса».

Но вот через два или три дня меня вызвали в канцелярию. Здесь ждал меня жандармский офицер, который заявил, что он приехал для допроса. После первых формальностей он вынул небольшой продолговатый конверт, на котором неровным почерком было написано: «Здесь. III Отделение канцелярии его величества. Шефу жандармов, генералу Дрентельну».

— Признаете ли вы, что это писано вашим почерком? — спросил меня офицер.

Я успел уже дать письменные ответы на первые формальные вопросы и вместо ответа на этот вопрос предложил ему сличить почерки. Ни малейшего сходства не было.

Я был разочарован. Я ждал объяснения своего ареста, а вместо этого мне предлагали какой-то фантастический конверт. Я высказал это с таким возмущением и горечью, что офицер несколько сконфузился. Он порылся в портфеле и вынул оттуда бумагу. Это было заключение экспертов, сличавших почерк конверта с почерком одного из взятых у меня при обыске писем. Комиссия состояла из нескольких канцелярских писцов и нескольких учителей чистописания. Сии каллиграфические мудрецы признали, что почерк на конверте старательно изменен, но все же начертание отдельных букв таких-то, а также общий характер письма «дают основание заключить с несомненностью», что адрес на конверте и предъявленное комиссии письмо, подписанное моей фамилией, писаны одной и той же рукой...

Я представил себе, как эти каллиграфы старались угодить начальству своей экспертизой, и сказал:

— А не пробовали ли вы предъявить еще чьи-нибудь письма для сличения другому составу таких же мудрецов?

По-видимому, я угадал, так как офицер странно улыбнулся и на этом кончил допрос. Моих требований объяснить причину ареста он удовлетворить не мог. Помнится, что фамилия этого офицера была Ножин. Он казался несколько сконфуженным и скоро уехал, а я вернулся в свою одиночку.

Разумеется, сейчас же раздался стук в стену: Виноградов интересовался результатами допроса. Когда я выстукал ответ, он простучал:

— Это значит, вероятно, что Дрентельну прислана угроза от революционного комитета и вас подозревают, что вы надписали конверт.

Мне это показалось довольно вероятным. Дрентельн был назначен шефом жандармов на место Мезенцева. Это назначение вызвало много толков и много ожиданий, основанных, между прочим, на том, что Дрентельн — боевой генерал, не имевший до тех пор никаких отношений к полицейской службе. В газете, издаваемой Гирсом, «Русская правда», органе молодых либералов, с демократическим оттенком, появился фельетон Гирса в

виде обращения к Дрентельну. В статье автор указывал именно на это отсутствие полицейских традиций в прошлом Дрентельна и выражал надежду, что он сумеет придать новое направление деятельности непопулярного учреждения. «Идите же, прямой и честный воин, новым путем. Общество, уставшее от этой борьбы с молодежью, ожидает от вас многого» — так приблизительно кончалось это письмо.

О нем много говорили в обществе. Как условно, «по-византийски», ни было оно написано — по тому времени оно должно было считаться смелым уже вследствие заявления о крайней непопулярности Третьего отделения. Все ждали, каков будет ответ правительства на это обращение публициста. Помнится, что первые дни прошли без всякого воздействия. Цензура была как будто озадачена и колебалась. Но через несколько дней ответ последовал: на газету обрушилась кара. Было вероятно, что и с другой стороны может тоже последовать свой ответ.

И вот 13 или 14 марта, после обеда, Виноградов возбужденно забарабанил в мою стен-

ку. Он только что вернулся со свидания и сообщил сенсационную новость: на шефа жандармов генерала Дрентельна произведено покушение. Какой-то молодой человек, верхом на лошади, обогнал коляску Дрентельна, выстрелил в него два или три раза и скрылся. Произошло это среди белого дня на людной улице, и об этом говорит весь город, удивляясь удали неизвестного наездника.

Таким образом наше предположение оказалось правильным. Очевидно, Дрентельн получил предупреждение, но не предполагал, что оно может осуществиться в такой дерзкой форме. Кроме того, для меня стало очевидно, что мне приписывается некоторая роль в этом покушении.

Больше никаких допросов мне уже не производили, несмотря на мои настойчивые требования... Тогда, как, впрочем, и долго спустя и при менявшихся обстоятельствах, это считалось по нашим русским нравам излишней роскошью...

Как-то с утра высокий служитель предупредил меня, чтобы я собирался, так как сегодня мое заключение в Спасской части конча-

ется. Несколько часов после этого я провел в мучительном нетерпении. Можно сказать смело, что эти несколько часов ожидания свободы стоили нескольких дней заключения. Наконец во двор въехала карета, меня позвали в контору, выдали принадлежащие мне вещи и деньги, и я сел в карету. Со мной сел Денисюк. Дорогой он все вздыхал. Я спросил у него, куда мы едем. В ответ последовал вздох еще более глубокий.

— Да о чем вы это, в самом деле, вздыхаете? — спросил я. — Кажется, вздыхать-то следует мне, а не вам.

— Кто знает? — ответил он меланхолично. — Сегодня я везу вас, а через месяц, быть может, вы повезете меня...

Я невольно засмеялся. Говорят, у турок существует какое-то коллективное народное предчувствие, что они когда-нибудь непременно будут изгнаны из Европы. Такое же массовое предчувствие не чуждо было и нашему прежнему строю. Впоследствии мне много раз вспоминалась меланхолическая фраза Денисюка: «Теперь мы вас, а после вы нас...»

Между тем карета неслась дальше, пересекла Фонтанку, обогнула здание Большого театра... Я начал догадываться: впереди направо, за мостиком — здание Литовского замка. Ворота раскрылись. На минуту перед моими глазами мелькнуло огорченное лицо матери, очевидно как-то узнавшей о нашем перемещении, и — через полчаса, переодетый в арестантское платье с буквами Л.Т.З. на спине, я входил в шумный и людный коридор Литовского замка.

XXII. В Литовском замке

Какой-то незнакомый человек встретил меня при самом входе в коридор, где сидели политические, радостным восклицанием:

— А вот и третий! Милости просим. Оба ваши брата ждут вас.

Действительно, я тотчас же попал в объятия братьев, после чего стал знакомиться с остальным обществом. Через некоторое время нас развели по камерам. В одной из них устроились уже оба мои брата, и меня ждала пустая кровать. Кроме нас троих, в ней помещался еще немолодой человек с наружностью «шестидесятника», с длинными седова-

тыми, закинутыми назад кудрями, умным лицом и насмешливой улыбкой. Короткий арестантский бушлат и серые штаны сидели на нем как-то особенно изящно, точно по нем и были сшиты. При моем входе он поднялся с постели, сильно пожал мне руку и сказал:

— Грибоедов... А вот это, — указал он на высокого юношу, сидевшего с ним рядом, — Цыбульский, иначе называемый Дитё. Арестован за подозрительную наружность.

Я невольно засмеялся: наружность молодого человека менее всего могла внушать подозрение. Совсем юный, с чуть пробивающимися усиками, с нежным румянцем и почти детским пушком на щеках, он обладал еще простодушными голубыми глазами навывкате.

Скоро я узнал его историю. Цыбульский решительно не знал, за что его арестовали: шел днем, около двенадцати часов, мимо Летнего сада; к нему подошел неизвестный ему человек, пригласил его в здание у Цепного моста, там его обыскали и препроводили в Литовский замок. Юноша был в полном недоумении, клялся, что приехал только в этот год из провинции и, поступив в какое-то высшее

учебное заведение, не знал ни о какой революции и водил знакомство только с своими земляками. Но... волосы у него были длинные, и по близорукости он носил очки. Однажды Грибоедов, лежа на кровати и следя глазами за Цыбульским, который ходил по камере, вдруг спросил:

— Слушайте, Цыбульский! Не носили ли вы на воле пледа?

— Носил, — ответил Цыбульский.

— И высокие сапоги носили?

— Носил и высокие сапоги.

— Та-а-ак, — протянул Грибоедов, выпуская струю дыма. — Плед... Высокие сапоги... Длинные волосы... Очки... Дело ясное: вы арестованы за подозрительную наружность... В это время, наверное, царь гулял в Летнем саду...

В камере все расхохотались, до такой степени предположение казалось невероятным. Цыбульский был совершенный ребенок. В нашем коридоре один из прислужников, брюзгливый, но очень добродушный старик, взял его под строгую опеку и считал своею обязанностью смотреть за ним, как нянька за ребен-

КОМ.

— Остальные как хотят, — говорил он. — Известно, народ отпетый... А ты, Цыбульский, еще дитё. По тебе небось матушка плачет... Надевай-ка, надевай бушлатик, нечего. Нонче хоть солнце, а холодно: пойдешь гулять, простудишься.

После этого Цыбульского и прозвали «Дитё». И тем не менее Грибоедов оказался прав: когда через некоторое время приехал его отец — помещик, кажется, Ко-венской губернии, и явился в Третье отделение, чтобы узнать о причинах ареста сына, там его успокоили: перелистав дело, старик чиновник сказал:

— Сущие пустяки... Не беспокойтесь... Помещик вспылил:

— Как пустяки? Жена после родов узнала, перепугалась чуть не до смерти... Я оставил ее больную и помчался в Петербург... А вы говорите — пустяки!..

— Маленькое недоразумение, — сказал чиновник благодушно. — Время, знаете ли, тревожное, не успели еще навести справки. Видите ли: сын ваш арестован за... подозритель-

ную наружность.

Через несколько дней после приезда отца Цыбульский был действительно отпущен, проведя месяца два в тюрьме, и взбешенный отец тотчас же увез его из Петербурга.

Но я забежал вперед. Возвращаюсь к перечислению других обитателей Литовского замка и их интересных историй. В нашей же камере находился еще студент-первокурсник, по фамилии, если память мне не изменяет, Якимов. Его отец был гоф-маклером петербургской биржи. Это был человек консервативного образа мыслей и чрезвычайно строгого нрава. Сын признался Грибоедову, что очень боится отца.

— Да ведь вы же говорите, что ни в чем не повинны?.. — утешали его слушатели.

— Не поверит!.. — горевал юноша. — По его мнению, напрасно не арестуют: «Если взяли, значит что-нибудь да было. И я прямо тебе говорю, если тебя возьмут, то я тебя выпорю...»

— И, пожалуй, выпорет на радостях, когда вас отпустят? — усмехаясь, говорил Грибоедов.

— Пожалуй, — печально соглашался юно-

ша.

А в это время, после покушения на Дрен-тельна, появился приказ, в котором говори-лось, что ввиду распространения крамолы должны быть приняты экстренные меры, и полиция призывалась делать обыски и аресты, «не стесняясь ни званием, ни состоянием подозреваемых лиц».

И вот в одно прекрасное утро, когда жиль-цы номера пятого только что отпили утрен-ний чай, дверь открылась, и в ней появилась солидная фигура пожилого господина в арестантском костюме. На пороге пожилой гос-подин остановился в нерешительности, и в эту минуту у юноши Якимова вырвалось тра-гическое восклицание:

— Па-па-аша!..

Это был действительно гоф-маклер петер-бургской биржи, которого арестовали, чтобы показать, что теперь званием и состоянием стесняться не будут. Несколько минут после этой родственной встречи в камере стояла ти-шина. Отец и сын молча смотрели друг на друга, а Грибоедов, дымя вечной папирсой, лежал на кровати и смотрел на обоих умны-

ми насмешливыми глазами.

— Папаша, — заговорил наконец сын, — а помните, что вы мне говорили: если взяли, значит, что-нибудь да было!..

— Ну, ну... Вижу теперь, — угрюмо ответил гоф-маклер, а безжалостный Грибоедов прибавил:

— Кажется, вам папаша говорил и еще что-то?..

— Да, папаша!.. Вы еще говорили: сечь надо.

— Да замолчи ты!.. — вырвалось у бедняги гоф-маклера.

Отец, правда, просидел недолго, и я уже застал только сына. Но в те несколько дней пока «недоразумение» разъяснилось, Грибоедов, тоже занимавший довольно видное положение в красном кресте, успел его порядочно помучить. Каждый раз, как запирали камеры, он ложился на свою кровать и, попыхивая папиросой, начинал допрос:

— Ну-с, так как же (имярек), припомните хорошенько: что-нибудь да было?.. И, пожалуй, не мешало бы нас с вами, «не стесняясь званием и состоянием», немножечко того-с...

Как щедринского действительного статского...

Это была действительно какая-то оргия доносов, сыска, обысков, арестов и высылки. Самодержавие переживало припадок бурного помешательства, и все русское общество «без различия званий и состояний» было объявлено крамольным и поставлено вне закона. Все петербургские части были переполнены такими же преступниками, как я и мои братья, а истории других заключенных Литовского замка были почти все вроде приключений с Цыбульским или Якимовыми. Между прочим, здесь я встретил целый букет Гордонов и Кайранских, по большей части совершенно не знавших друг друга до ареста. Во главе их, в виде, так сказать, самого махрового цветка, стоял Гордон, секретарь еврейского благотворительного общества. Первые дни с ним в камере были посажены и его дети, кажется мальчик и совсем маленькая девочка (я уже их не застал).

Это дело вскоре для меня разъяснилось. Одно время в Петербурге говорили о побеге за границу одного из двух участников так назы-

ваемого Чигиринского дела, Дейча или Стефановича. Я слышал даже, что по этому поводу имелось в виду обратиться к Глебову, который уже выразил согласие за вознаграждение взять на свое имя заграничный паспорт. В это время мы уже заподозрили его и успели предупредить хлопотавшее о паспорте лицо (по фамилии, помнится, Житков). После этого поиски были направлены в другую сторону. Согласился, тоже за плату, взять паспорт некто Гордон. Паспорт был взят, передан, и Стефанович (или Дейч) благополучно уехал. Для отклонения от Гордона возможной ответственности было сделано объявление о потере заграничного паспорта. Все сошло бы благополучно, если бы при этом не перехитрили. В объявлении было сказано: нашедшего просят доставить Кайранскому, улица такая-то, дом такой-то. При этом адрес был дан совершенно фантастический, а имя Кайранского перевернуто, так как, конечно, объявители знали, что никто паспорта не найдет. Полиция почему-то обратила внимание на это объявление... Может быть, она была извещена Глебовым относительно хлопот о заграничном пас-

порте. Справились о Кайранском, по адресу его не нашли и, не долго думая, распорядились арестовать всех Гордонов и всех Кайранских, какие оказались в Петербурге. На квартирах арестованных установлена трехдневная засада. Еврейское общество как раз в это время выдавало обычные стипендии ученикам консерватории. Выдача производилась в квартире секретаря общества Гордона, и все приходившие за стипендиями в день ареста были тоже арестованы и препровождены в тот же Литовский замок, а на их квартирах тоже устроены засады, и брали все новых и новых...

Вообще таких случайных жертв полицейской бесцеремонности я нашел в Литовском замке десятки. Особенно жалкое и трогательное впечатление производил семидесятилетний старик немец. Он был арестован «за предосудительное знакомство» с другим арестованным. Интересно, что этот другой был.. его родной сын, по профессии настройщик, живший на отдельной квартире. Он часто посещал отца, его тоже посещал кто-то подозрительный. Это выследили, и старика арестова-

ли одновременно с сыном.

Сын, кажется тоже ни к чему не причастный, все-таки хоть догадывался о причинах ареста. А старик, седой как лунь, глядел на спрашивающих простодушными круглыми, как у птицы, голубыми глазами и отвечал:

— Нит-шево я не знайт. Ночью приходиль, по всем комнатам и на чердак ходиль... секую бумажку переверниль, мене хваталь, тюрьма садиль... Больше нитяшево.

Эту краткую историю могли бы повторить о себе девять десятых арестованных в то время. Был, например, целый кружок «танцоров», захваченных на какой-то вечеринке. Полиция заподозрила, что танцевали они с какой-то революционной целью. Это была веселая молодежь; даже на прогулку они направлялись парами и вприпрыжку.

Из сидевших в то время в Литовском замке мне приходится упомянуть еще Александра Петровича Чарушникова, известного впоследствии издателя, а также известного ныне окулиста профессора Симановского. Всего интереснее, быть может, было то, что, не разбираясь долго в этой массе арестован-

ных, их просто выслали административно в разные города. Хотя было совершенно ясно, что, например, в деле с заграничным паспортом замешан только один Гордон и один Кайранский, — тем не менее все Гордоны и все Кайранские были разосланы из Петербурга в разные стороны. Секретарь еврейского благотворительного общества попал в Олонецкую губернию, если не ошибаюсь — в Пудож.

Из нас троих только один старший брат избег этой участи, и случилось это до восхитительности просто. Его квартирная хозяйка заявила, что он ее жених и должен вскоре на ней жениться. «Ну что ж, так берите его себе».

И брат был отпущен.

Что касается нас двоих, то никакие обращения не помогали. Я уже сказал, что вскоре после нашего ареста был арестован Григорьев, две сестры Поповы, мой приятель, студент Горного института Мамикониан, и еще некоторые наши знакомые. Арестованы они были за знакомство с нами, и по отношению к Григорьеву так прямо и говорили. А когда один солидный человек (кажется, мой дядя, упоминавшийся выше Евграф Максимович

Короленко) обратился с вопросом о нас в градоначальство, то там ему ответили просто:

— Помилуйте! Достаточно одних знакомств: все знакомые этой семьи сидят по тюрьмам!

Это был факт, опровергнуть который было, разумеется, невозможно.

Из квартиры старшего брата Глебов, разумеется, уже исчез. Зато был другой несчастливек, тоже бедствовавший, литератор Линовский, которому брат дал временный приют, кажется, впредь до получения паспорта. Работал он в то время в «благонамеренных изданиях» и даже в «Гражданине», где вел отчаянную полемику с либеральным фельетонистом Градовским (Гаммой). Но у него были два роковых качества: мрачная наружность и чрезвычайно неразборчивый почерк. При обыске была найдена его начатая рукопись, которую разбирать было трудно и некогда. И Линовский попал в Пудож, откуда вернулся далеким от сотрудничества в «Гражданине».

Особенно ярко вспоминается мне еще один арестованный — ученик консерватории. Он был тоже из стипендиатов, захваченных в

квартире секретаря еврейского общества в день выдачи стипендий. Это был молодой человек с очень выразительной физиономией артиста. Сидя как-то в нашей камере и сверкая горевшими страстным огнем глазами, он говорил:

— Я не революционер, я артист... Я думаю, что всякое правительство естественным образом борется с революцией. Я был до сих пор на стороне правительства... Пусть установят самые строгие наказания, пусть ссылают на каторгу, пусть в крайнем случае казнят. Но пусть это будет по суду, со всеми законными гарантиями... А так... Нет! Теперь я первый радуюсь, когда в них стреляют, потому что они сами величайшие преступники против всего общества.

Я не помню его фамилии и не знаю, какова его дальнейшая карьера. Но до сих пор в моей памяти звучит его энергичный голос и вспоминаются горящие гневом глаза. Такое настроение разливалось тогда даже в равнодушных к политике кругах общества. А стрельба по воробьям из пушек все возрастала... И вот над головами правящих, над головой самого

царя начинали все чаще кружиться зловещие птицы.

Мы сидели еще в Литовском замке, когда, 2 апреля, произошло покушение Соловьева. Впечатление, конечно, было сильное, но можно сказать, что цельно оно было разве только в народе. В обществе симпатии к прежнему «царю-освободителю» давно уже были подорваны его явным сочувствием изуверной реакции...

В тюремной среде, насколько мы могли это заметить, впечатление было равнодушное, и вдобавок оно окрасилось еще маленькой юмористической случайностью. Мы узнали о событии во время прогулки от уголовных арестантов. Во избежание «вредного влияния» мы гуляли обыкновенно в небольшом квадратном загончике, отгороженном от общего двора высокими палями. К этому частоколу часто подходили уголовные, наскоро делившиеся с нами выдающимися новостями дня. В этот день они как раз выходили из тюремной церкви, куда были собраны по случаю благодарственного молебна. При этом, по их рассказам, с тюремным священником произо-

шло неприятное ораторское приключение. Выйдя на амвон, чтобы объяснить повод благодарственного молебна, и вперед настроившись на патетический лад, он начал громко и в приподнятом тоне:

— Дорогие братья! Вот и еще одно священное покушение на злодейскую особу его императорского величества!..

Внезапный припадок кашля со стороны кого-то из тюремной администрации прервал чувствительную речь, и оратору было трудно возобновить ее в том же тоне.

В ясный день начала мая в части двора, видной из нашего коридора, появились две кареты. Население политического отделения взволновалось: кого-то увезут?.. Через несколько минут вызвали нас с младшим братом. Наши сборы были недолги, но выезд оказался очень торжественным: в каждую карету с нами село по два жандарма, трое скакали по сторонам и сзади, шестой сидел на козлах. Это был целый отряд, наводивший панику на прохожих. Когда мы, свернув с Морской, выехали на широкую часть Невского, против Гостиного Двора, рабочие, чинившие мосто-

вую, быстро вскакивали и, отбежав в сторону, снимали картузы и крестились.

Помню, это меня тронуло. Пришел на память Денисюк и его меланхолическое восклицание... Да, когда и как мы вернемся сюда?.. Мне казалось тогда, что этого ждать не так уж долго... И, конечно, вернемся мы при другой обстановке, в свободную столицу России!

На вокзале мне бросилась в глаза, во-первых, высокая фигура помощника градоначальника Фурсова. Он, очевидно, ждал нас, встретил и проводил каким-то странным и непонятно для меня враждебным взглядом. А дальше, на дебаркадере, стояла моя мать с заплаканными глазами и сестры. Нам позволили только обнять их и принять несколько денег, а затем — свистнул локомотив, и туманное пятно над Петербургом вскоре исчезло на горизонте...

Часть пятая

Ссылные скитания

I. Дорогой в Глазов

После Спасской одиночной тюрьмы и Литовского замка все казалось мне по дороге замечательным, все вызывало яркие и сильные впечатления. Здесь я не буду воспроизводить всех подробностей. Отмечу лишь некоторые.

При остановке в Москве меня доставили в ту же Басманную часть, где я испытал вместе с Григорьевым и Вернером первое заключение. Только теперь меня посадили не в подвал, а в камеру второго этажа, окнами во двор. Прежнего старика смотрителя уже не было, но нравы были прежние: камеры и коридоры были какие-то обтерханые, стены и печка сплошь исписаны временными жильцами. Караул содержался особой породой полицейских, сохранившихся тогда, кажется, только в Москве и носивших название «мушкатеров». Название это происходило, вероятно, от «мушкетов», старых кремневых ружей,

которыми они были вооружены. Большею частью это были инвалиды, пригодные скорее караулить гарнизонные огороды на окраинах, чем арестантов. Не помню уже точно, но кажется мне, что из этой части еще до моего проезда, на глазах у этих храбрых мушкатеров, убежали два или три «червонных вальта», за что знакомый мне смотритель и лишился места. Я зарисовал в свою книжечку характерные фигуры этих мушкатеров.

Во время последнего свидания в Литовском замке мать и сестры сообщили мне, что есть надежда на скорое освобождение зятя. Это очень обрадовало нас с братом: в семье останется хоть один работник. Но, увыв — занявшись тщательным обзрением стенной литературы в своей камере, я наткнулся на свежую запись: «Николай Лошкарев. Проездом из Петербурга такого-то числа, такого-то года». Итак, еще вчера в этой камере был для меня близкий человек... Надежды не осталось: семья лишена всех работников; у сестры недавно родился ребенок, другая была еще только подросток. Григорьев, которого мы считали членом нашей семьи, был тоже аре-

стован. Старшего брата мы оставили в Литовском замке (его отпустили недели через две).

Положение семьи было критическое, но в отчаяние я не приходил: в эти последние годы мы жили в особенной атмосфере любви и дружбы, соединявшей весь наш кружок. Кроме того, забота о семьях арестованных захватила тогда широкие круги интеллигенции. Наконец уже после нашего ареста кружок близких знакомых семьи несколько расширился: в него вошел, между прочим, К. М. Панкеев. Это был тогда очень оригинальный юноша: сын миллионера, владельца местечка Каховки на Днестре, он отказался от помощи отца и жил уроками. Сблизившись с Григорьевым, через него он сошелся также с нашей семьей и в трудные дни выказал много горячего дружеского участия. Таким образом, хотя известие о высылке Лошкарева сильно огорчило меня и заставило глубоко задуматься над дальнейшим устройством нашей семьи, но я отложил все эти горькие мысли и заботы до того времени, когда мы с братом будем на месте.

Из Москвы на следующий день нас повез-

ли в Ярославль.

Приехали мы туда утром, и, к моему удовольствию, прямо с вокзала жандармы повезли нас на пристань. Передо мной опять раскинулась Волга. Я видел ее уже во время первой высылки и даже, как читатель помнит, переправлялся через нее на спасательной лодке. Но тогда она была почти вся под льдом и как-то ничего не говорила воображению. Теперь, в ясный весенний день, она кипела своеобразной жизнью. По ней неслись пароходы, плыли вниз баржи, грузчики невидалеке пели «Дубинушку», и мимо нас спускался баркас с бурлаками и работницами. Они тоже налаживали песню, и я ждал услышать что-нибудь вроде:

*Мы не воры, не разбойнички,
Стеньки Разина мы работнички...*

В это яркое весеннее утро я весь был охвачен особым ощущением волжского романтизма. Для меня Волга — это был Некрасов, исторические предания о движениях русского народа, это были Стенька Разин и Пугачев, это была волжская вольница и бурлаки Репина,

которых я с большой любовью скопировал тушью с гравюры и повесил на стенке своей петербургской комнаты.

Надо заметить, что этот волго-разбойнический романтизм был тогда распространен не только среди радикальной молодежи. Правда, в наших кружках на вечеринках с большим одушевлением пели и тогда волжскую песню «Есть на Волге утес», в которой говорилось о том, как Стенька Разин провел ночь на волжском утесе, думая свою «великую думу» о народной свободе, а наутро решил идти на Москву... Степан погиб, но свои думы заповедал утесу, а утес-великан все, что думал Степан, готов передать неведомому новому герою... Да, мы охотно пели и охотно слушали эту «удалецкую» песню, но... характерно, что написал ее некто Навроцкий, товарищ прокурора, делавший карьеру обвинительными речами в политических процессах, один из редакторов неважного журнальчика «Русская речь», где и была впервые напечатана эта песня.

От Ярославля до Костромы мы поехали на пароходе. Это было нарушение жандармской

инструкции, и старший жандарм просил нас не проговориться об этом при случае. Мы обещали, но зато я вытащил свою книжечку и стал свободно записывать свои впечатления. Для них это была значительная экономия на прогонах, для меня — некоторая свобода.

Спускался мягкий ласковый вечер, когда с пристани мы подъехали на двух извозчиках к губернаторскому дому в Костроме. Нас ввели в прихожую и заставили дожидаться его превосходительства. Из окна этой прихожей была видна широкая аллея прекрасного густого сада, а на ней я увидел фигуры двух пожилых мужчин. В аллею проникали еще косые лучи солнца, и оба господина, спокойно и, по-видимому, мечтательно разговаривавшие о чем-то, по временам останавливались, смотрели кверху на белые облака, плывущие по синему небу, и опять тихо двигались по аллее. Обе фигуры были интеллигентные и приятные и напоминали мне почему-то героев Тургенева.

К ним подбежал служитель в длинном сюртуке с медными пуговицами и сказал что-то, вероятно, о нас. Один из собеседников, более высокий и более полный, кивнул головой,

и оба они пошли опять в глубь аллеи, не желая, по-видимому, прервать так скоро интересного разговора и мечтательного настроения.

Через четверть часа, однако, дверь из сада открылась, и оба господина вошли в переднюю. Жандармы вытянулись, старший подал бумагу. Господин, которого я мысленно назвал Лаврецким (из «Дворянского гнезда»), небрежно взял ее, небрежно прочел и сказал с выражением равнодушия и скуки:

— Ну что ж!.. Везите в тюрьму...

— Господин губернатор, — выступил я. — Вы отправляете нас в тюрьму... Могу я узнать, на каком законном основании?

Собеседник пониже ростом, которого я мысленно прозвал Михалевичем, с любопытством взглянул на меня, а потом на губернатора. Но тот ответил, пожав плечами:

— На том основании, что вы высылаетесь в административном порядке и должны переночевать в тюрьме, пока мы изготовим нужные бумаги и деньги для дальнейшего пути...

— А за что мы высылаемся? Наказание не может быть без вины.

На лице его превосходительства стояло то же выражение величавой скуки.

— Административная высылка, — сказал он, — не есть наказание. Это только презервативная мера, которую правительство в тревожные времена вынуждено применять в видах общественного спокойствия и удобства... Быть может, даже вашего удобства, — прибавил он, слегка поклонившись, и удалился в комнаты.

Тот, которого я назвал Михалевичем, с любопытством посмотрел на меня и на своего приятеля. И мне показалось, что во взгляде его мелькнула улыбка.

Через четверть часа жандармам вынесли бумагу, и мы вшестером отправились пешком через весь город в тюрьму. Это опять была «экономия». Мы, конечно, могли бы потребовать извозчиков, но закат был чудесный, и мы не прочь были пройти пешком, сократив таким образом тюремный вечер.

В тюрьме нам отвели большую пустую камеру, в которой почему-то продержали более двух недель. Причины этой задержки я не знаю. Быть может, мечтательный губернатор

был слишком занят интересными разговорами с приятелем... Я опять успел с собой пронести карандаш и книжечку, записывал свои впечатления и рисовал виды из окна, причем на первом плане выступала верхушка тюремной стены с целующими на ней голубями. Но бедняга брат жестоко скучал, пока мы не придумали сделать мяч из мятого хлеба, которым перекидывались из конца в конец камеры. Так и застали нас сидящими на полу и играющими в мяч явившиеся за нами смотритель и караульный офицер. В конторе нас ждали уже новые жандармы.

Нас повезли на северо-восток сначала широкими трактами, обсаженными березками, которые потом, сузившись, потянулись между стенами лесов. Остановившись в одной деревне на ямской станции, я увидел на косяке окна надпись: «Проехали такие-то». Среди фамилий попалась знакомая: Мурашкинцева. Это была молодая девушка, жившая рядом с нами в том же проходном дворе между Невским и Второй улицей. «Значит, — подумал я, — и квартира соседей, за которыми следили тот же орангутанг и подвязанная щека, то-

же разгромлена».

Везшие нас и постоянно сменявшиеся вольные ямщики рассказывали нам о компании молодых господ и барышень, которых привезли накануне по тому же вятскому тракту. Особенно часто упоминали про Клавдию Мурашкинцеву, у которой был хороший голос и которая целые дни пела.

— Заливается, что тебе соловей!.. — восхищались ямщики.

Погода была чудесная, время праздничное (троица и духов день), и все встречные деревни тоже водили хороводы и звенели песнями. В одной деревне, где мы остановились утром, чтобы напиться чаю, большой хоровод подошел к ямской избе и стал петь перед нашими окнами. Когда мы садились в перекладные, крестьяне окружили крыльцо, делясь впечатлениями. Мы с братом ходили друг на друга и были одинаково одеты. «Браты, видно», — говорили жалобными голосами женщины, а когда мы уселись, каждый между двумя жандармами, и передняя повозка тронулась — я даже вздрогнул от радостной неожиданности: мне послышалось так ясно,

что какая-то высокая, уже немолодая женщина, глядевшая на нас с «болезненным» выражением в лице, сказала нараспев:

— Эх, ро-ди-и-мые... Кабы да наша воля!..

Я не вполне уверен, что были сказаны именно эти слова. Быть может, и в них отлило мое воображение все впечатления этих светлых праздничных дней, так обаятельно действовавших после тюрьмы. Несомненно, во всяком случае, что всюду в празднично настроенных деревнях, в толпах молодежи, водивших хороводы, и среди степенных мужиков и баб, сидевших на завалинках, нас встречали и провожали не враждебные, а скорее любопытно-сочувственные взгляды.

В двух или трех местах на дорогу степенно выходили старики или старухи с ковшами в руках и предлагали деревенское пиво. Ямщики останавливали лошадей.

В Вятке, куда мы приехали утром, нас опять доставили к губернатору, которым тогда был Тройницкий. К нам вышел господин невысокого роста, с румяным самодовольным лицом, которое в рамке темной заросли производило впечатление маски. Я, разумеется,

предложил ему тот же вопрос — о причине нашей высылки, и получил тот же сухой ответ: «Политическая неблагонадежность».

— Сколько мне известно, — сказал я, — такого преступления в уложении нет. Она должна была выразиться в определенных поступках.

Маска осталась неподвижна.

— Это государственная тайна, — сказал он глубокомысленно и распорядился отправить нас в тюрьму.

Я опять не стану описывать подробностей пребывания в вятской тюрьме под началом очень добродушного старика смотрителя и под непосредственным надзором вечно пьяного коридорного. Несколько дней заключения, потом опять на почтовых с жандармами, и мы на месте, в уездном городе Глазове, Вятской губернии. Этот город с его тогдашними нравами я описал впоследствии в очерке «Ненастоящий город». Поэтому здесь я коснусь лишь некоторых черт из нашей ссыльной жизни, о которых тогда я не мог говорить по цензурным условиям.

II. Жизнь в Глазове. — Лука Сидорович,

царский ангел

В уездном полицейском управлении нас встретил Лука Сидорович, исправник. Это был худощавый старик с совершенно лысым черепом, бритым по-николаевски подбородком и длинными седыми усами. Маленькие глазки бегали, как два зверька, под нависшими седыми бровями. Он предложил нам несколько вопросов и произнес несколько наставлений, из которых мы поняли, что он имеет претензию держать нас в некоторой субординации.

В Глазове было тогда пять или шесть политических ссыльных, рабочих из Петербурга, высланных за забастовку. Старше и серьезнее других был Стольберг, финн, женатый, мастер-механик по профессии. Остальные были юнцы-слесаря или токари с разных заводов.

Лука Сидорович сразу запугал эту молодежь и взял ее в ежовые рукавицы. В первый праздник после их приезда он послал к ним городского с приказанием непременно идти в церковь. Стольберг, как иноверец, был освобожден от этой обязательной повинности, но

относительно остальных Лука Сидорович тщательно наблюдал за ее исполнением, и зеленая рабочая молодежь повиновалась. Кроме того, Лука Сидорович вообще ввел строгую субординацию и часто делал отеческие выговоры за поведение.

Стольберг пытался съютить из этих рабочих маленькую мастерскую, но инструментов было мало. Брат кое-что привез с собою, а через некоторое время ему прислали из Петербурга всю его мастерскую. Он примкнул к артели и, понятно, вскоре стал видным и деятельным ее членом. Работа закипела. Каждое воскресенье, съезжаясь на базар из деревень, вотяки приносили ружья, самовары, котлы, которые нужно было чинить, запаивать, приделывать курки или ложа. Я решил закончить свое обучение сапожному ремеслу, для чего поселился отдельно от товарищей в так называемой слободке, почти сплошь населенной ремесленниками, преимущественно сапожниками, и стал ежедневно в течение шести-семи часов ходить к Нестору Семеновичу, веселому и добродушному человеку, согласившемуся преподавать мне тайны своего

нехитрого искусства.

Сначала Лука Сидорович был в восторге.

— Вот каковы «мои ссыльные», — с гордостью говаривал он обывателям и то и дело посылал в мастерскую заказчиков. Обыватели следовали охотно рекомендации начальства, и скоро мастерская стала чем-то вроде клуба: под стук молотков и визг напильников шли расспросы и разговоры.

Скоро, однако, идиллия была нарушена. С нашим приездом ссыльная молодежь вышла из повиновения, стала манкировать церковные службы, а наставления Луки Сидоровича выслушивала с улыбкой.

— Помните, — внушал Лука Сидорович с самым суровым видом, — на небе — бог. На земле — царь... У бога — ангелы, у царя — исправники. Поэтому вы должны меня слушаться... Я вас худому не научу.

Среди наших рабочих был молодой парень Кузьмин, прекрасный, добродушный мальчик, очень веселого нрава. С нашим приездом он как-то скорее всех вышел из-под властной руки Луки Сидоровича и при этих словах внезапно фыркнул. Лука Сидорович приписал

вредное влияние именно нашему приезду, и в особенности мне. Скоро у меня с ним начались и прямые столкновения, прежде всего опять на «законной» почве.

Наша переписка шла через его руки: ему мы должны были сдавать отсылаемые нами письма незапечатанными, от него же получали распечатанными письма, приходившие к нам... Порой в письмах сестры или матери некоторые фразы оказывались грубо подчеркнутыми, и Лука Сидорович бесцеремонно требовал у меня разъяснений. Его вопросы бывали при этом курьезно глупы, но понятно, как меня бесила эта бесцеремонность. Кроме того, он выдавал их у себя на дому. В первый же раз, как он заставил меня дожидаться его выхода на кухне, я ушел, заявив, что предпочитаю и сдавать, и получать свою корреспонденцию в полицейском присутствии. Маленькие глазки Луки Сидоровича забежали под его седыми нависшими бровями, и с этих пор между нами началась глухая борьба.

Я сказал уже, что поселился отдельно от товарищей в рабочей слободке. Каждый праздник в ней шло сплошное пьянство, за-

хватывающее понеделѣнники, а иногда переходившее в запой. Новые знакомые обижались, что я и сам не угощаю, и не принимаю угощения. Чтобы создать иную почву для общения, я выписал из Петербурга десятка три дешевых изданий. Тогда народные книжки не подвергались еще особой цензуре — можно было издавать для народа все, выдержавшее цензуру общую. Среди выписанных мною книг были, между прочим: «Как мужик двух генералов прокормил» Щедрина, «Сказка о купце Калашникове» Лермонтова, несколько брошюр Тургенева, Пушкина. Письмо с извещением я получил давно, но самую посылку Лука Сидорович задерживал, несколько раз назначая сроки и заявляя, что еще не просмотрел. Тогда я, в свою очередь, вежливо заявил ему, что и я назначаю последний срок, после которого подам на него жалобу.

Лука Сидорович вспылил.

— Есть у меня время возиться со всякою дрянью! — сказал он сердито.

Я опять вежливо поклонился и в тот же день принес ему для пересылки губернатору

жалобу. В ней я просил губернатора освободить мою переписку от цензуры исправника, который мне заявил, что ему некогда возиться со всякой дрянью. «Оставляя в стороне вопрос о том, в какой степени сочинения Лермонтова и Пушкина, Тургенева и Щедрина заслуживают название всякой дряни, — писал я в этой жалобе, — я полагаю, что даже и в административном порядке я не поставлен совершенно вне закона и вправе требовать более внимательного отношения, если уже необходимо затруднять кого-нибудь прочтением моей переписки».

Когда я подал Луке Сидоровичу этот документ, который теперь, признаюсь, кажется мне некоторым злоупотреблением красотами иронического стиля, то мне припомнился директор Королев: по лысине Луки Сидоровича бежала такая же резко отграниченная красная волна, внушая опасение удара, а руки, в которых он держал бумагу, сильно дрожали. Я понял, что в лице этого «царского ангела» я нажил смертельного врага. Но меня это нисколько не смущало.

Это была уже вторая жалоба моя на вят-

скую администрацию. Первую я послал министру внутренних дел на решение губернатора, который, на просьбу мою о полагавшемся ссыльным ежемесячном пособии, положил резолюцию: «Может получать от родных». Я писал министру Макову, что считаю этот ответ непозволительной насмешкой над моим положением: министру должно быть известно, что без суда и следствия, без доказательства какой-либо вины наше семейное гнездо разорено, все работники-мужчины у семьи отняты, и после этого нам предлагают обращаться за помощью к той же разгромленной семье.

Обе жалобы имели успех: министр впоследствии отменил отказ губернатора, а губернатор, в свою очередь, сделал нахлобучку исправнику. Зато вскоре мне суждено было почувствовать, что значит пользоваться законным правом подавать жалобы, стоя, в сущности, вне закона.

Лука Сидорович тоже скоро понял, что он ошибся, покровительствуя мастерству «своих ссыльных». Ему казалось по простоте, что если «его ссыльные» не пьянствуют, не дебоши-

рят, а занимаются полезным трудом, то исправник за это заслуживает лишь похвалы. Но вот министр Маков рассылает по всей России знаменитый в свое время циркуляр, в котором в прах разбивает это заблуждение. Он разъясняет, что те политические ссыльные, которые не пьянствуют и не дебоширят, а ведут себя по наружности прилично, — они-то и являются особенно опасными, потому что, привлекая симпатии общества, пользуются этим для распространения вредных идей.

Лука Сидорович прозрел. Однажды в базарный день он посетил мастерскую. Она была полна вотяков, приехавших за получением своих заказов и для сдачи новых. И вот один из этих простодушных мужиков, солидный богатый вотьяк, подойдя к Луке Сидоровичу, сказал:

— Неладно царь делает... Зачем хороших людей выгонял? Разве ему хороших людей не нужно? Плохой человек ссылать надо, а хороший человек не надо ссылать... Это все есть хороший человек: ружье работает, самовар работает, ведро заливает... Кумышка не пьет...

Я был в то время в мастерской и помню выражение ужаса, появившееся на лице Луки Сидоровича. Он понял циркуляр Макова... Да, он, «царский ангел», служит орудием крамолы. И он принялся разрушать плоды собственной ошибки, внушая обывателям, что ссыльные — люди чрезвычайно опасные. Но было уже поздно: мастерская приобрела известность и вошла в силу. Каждый базарный день ее наполняли мужики, а горожане не хотели уже отказаться от новых знакомых. Более смелые приходили днем, а более робкие прокрадывались темными вечерами, причем просили запирать ставни.

Между тем я закончил курс своего обучения, и мой добродушный учитель объявил, что я теперь знаю столько же, сколько и он. Поэтому я завел себе собственную «правильную доску» и несколько пар колодок... Инструмент мне прислали еще раньше сестры из Петербурга. И вот я наклеил на своем окне изображение сапога, вырезанное из белой сахарной бумаги. Прежде всего, в качестве лучшей вывески, я сшил себе пару длинных сапог, сразу привлечших завистливые взгляды

и в слободке, и в городе.

После этого ко мне стали являться с заказами. Завелись знакомства. У меня охотно брали книжки для чтения, заходили ко мне, и я ходил кое к кому. Вообще, отношения установились недурные, хотя должен сказать, что ни для какой революционной пропаганды в этом глухом захудалом «ненастоящем» городе почвы не было. Мы давали населению то, что оно могло взять от общения с более культурными и более независимыми в отношении к начальству людьми. Несколько раз ко мне заходили из окрестных сел крестьяне с жалобами на притеснения, и я охотно писал эти жалобы. Это, конечно, вызывало переполох в местных административных кругах. Это было хуже всякой революционной пропаганды, и я прослыл беспокойным и вредным человеком, о чем дружески расположенные обыватели предупреждали меня на основании разговоров начальства.

В один прекрасный день ранней осени, когда на полях уже лежал довольно глубокий снег, но быстрая Чепца еще катила свободно свои темные волны, ко мне вдруг пожаловал

Лука Сидорович в сопровождении городского, кажется Семенова. Я в то время только что пошабашил и сел обедать. Жил я в маленькой каморке и обед готовил сам. Работая у окна, я мог, не сходя с се-духи, достать что угодно из любого угла и следить за печкой. Луке Сидоровичу пришлось сильно нагнуться, чтобы войти в дверь.

— Обедаете-с? — спросил он, и маленькие лукавые глазки его забегали по моей мурье.

В это светлое утро, озарившее даже мою каморку отблесками недавно выпавшего снега, я был настроен весело и благодушно. Поэтому ответил Луке Сидоровичу, улыбаясь:

— Так точно, Лука Сидорович, обедаю... Надеюсь — хоть это занятие не предосудительное. Даже исправники этим занимаются ежедневно.

Старик, к моему удивлению, обиделся.

— Неуместное сравнение-с, — сказал он. — Совершенно неуместное-с! Я подкрепляю свои силы для служения царю, а вы... еще неизвестно зачем-с... Кончайте, я подожду-с.

И он сел в ожидании, пока я кончу, на лавку. По окончании обеда он дал знак городского-

му, и через минуту моя комната наполнилась народом.

— По предписанию губернатора я произведу у вас обыск, — сказал исправник официально.

В течение получаса в моей каморке стояла тишина, прерываемая лишь изредка глубокими вздохами кого-либо из добрых соседей-понятых. Городовой Семенов добросовестно шарил в моих вещах. Наконец, вывернув последний карман последних брюк, он сказал: «Ничего, ваше благородие», и при этом посмотрел на меня так, как будто я обязан ему вечной благодарностью, хотя в моих брюках и во всей моей каморке действительно ничего предосудительного не было.

Исправник составил протокол, дал подписать обрадованным понятым, которые затем вышли, а сам обратился ко мне. Глазки его при этом забегали как-то радостно и лукаво.

— Вы кончили? — спросил я холодно.

— Не совсем. Тут вот еще бумажка от губернатора. В бумажке содержалось предписание: объявить

бывшему студенту такому-то, что он высы-

дается на жительство в Березовские Починки.

Старый исправник торжествовал. Я должен был понять, что значит жаловаться губернатору на исправника, а министру на губернатора...

III. На край света

Сборы мои опять были недолги. Я попрощался с товарищами, которые пришли провожать меня и упаковать мои инструменты и вещи, и скоро мы все переправились на пароме за реку. Кое-кто из слободских знакомых тоже дружелюбно проводил меня. Некоторые женщины плакали, так как о Березовских Починках шла очень мрачная слава. Особенно тронула меня хозяйка, сдававшая мне комнату. Она положительно разливалась, точно над родным сыном, и по особому женскому праву позволяла себе даже роптать против начальства... Городовой Семенов делал вид, что тоже провожает меня как добрый знакомый, но было видно, что он все молчит на ус для доклада исправнику. Еще несколько горячих объятий с братом и товарищами — и паром отправился назад, к городскому берегу, а наши сани погрузились в

сумеречные перелески, направляясь к густой полосе лесов, синевшей на близком горизонте.

Если читатель бросит взгляд на подробную карту Вятской губернии, то он увидит, что Глазовский уезд представляет один из самых северных ее уездов. Линия, проведенная от Глазова на северо-восток, пересечет верховья двух рек — Вятки и Камы — в том месте, где они параллельно друг другу текут прямо на север. Кама тут составляет границу между Глазовским уездом Вятской и Чердынским Пермской губернии. Это как раз граница родины Пилы и Сысойки, а рядом расположена обширная Бисеровская волость, редко населенная, покрытая болотами и сплошными лесами. На крайнем ее северо-востоке находится местность, называемая Березовскими Починками. Ни один губернатор никогда не бывал в этой волости, ни один исправник не бывал в селе Афанасьевском, ближайшем от Березовских Починков, а в самых Починках с самого сотворения мира не бывал даже ни один становой. Никогда починковцы не видели начальства выше урядника. Когда через

несколько месяцев я опять очутился в Вятке, то ко мне пришли в тюрьму два чиновника губернаторской канцелярии нарочно для того, чтобы взглянуть на человека, бывшего в Березовских Починках, и расспросить о них.

Незадолго перед описываемыми событиями моей жизни этот уголок земли приобрел широкую, хотя и кратковременную газетную известность. Некто Августовский, кажется, «червонный валет», сосланный по приговору суда сначала в Глазовский уезд, а из Глазова за буйство высланный в Починки, убежал оттуда в Петербург и явился к своей прежней любовнице. Та к этому времени отдала свое сердце другому и донесла на прежнего возлюбленного полиции. Мстя за измену, Августовский нанес ей рану ножом. Его судили с присяжными, и на суде, отчет о котором появился в газетах, он нарисовал такую яркую картину своих страданий в Березовских Починках, что присяжные его оправдали, а Починки одно время стали яркой темой фельетонов.

В этот-то интересный уголок я высылался теперь по распоряжению губернатора Трой-

ницкого и к великому удовольствию исправника Луки Сидоровича. Рядом со мною в санях важно восседала особа в широкой нагольной шубе и в шапке с красным околышем. Личность эта носила звание «заседателя», происходившее, очевидно, от глагола «заседать». Для надобностей уездного полицейского управления соседние вотяцкие села обложены особой натуральной повинностью: высылать в город по выбору своих мужиков, которые и «заседают» в передней полицейского управления по всегдашней готовности бежать на посылках.

Практикой установлено, что эти «заседатели» сменяются редко, так как полиции удобнее иметь под рукой привычных людей. Та же практика присвоила этим деревенским мужикам, большею частью вотякам, фуражку с красным околышем, вроде тех, какие в других губерниях носят господа дворяне. Жалкие и ничтожные в городе, эти заседатели сразу становятся важными особами, попадая в деревню.

Такой сановник сидел теперь рядом со мной, важно подымая нос кверху.

С тех пор прошло много лет, и мои чувства к Луке Сидоровичу, конечно, сильно смягчились. Я сознаю даже, что был, пожалуй, не прав по отношению к хитрому, но глуповатому служаке, пуская в ход всю силу иронического стиля и обвиняя его в непочтении к корифеям русской литературы. Но в то время в душе моей кипело негодование и гнев. Я чувствовал себя жертвой низкой мести. Поскрипывали полозья, проносились мимо и убежали назад чахлые перелески, за снегами и лесами село солнце, удлиняя густые синие тени. На душе у меня тоже темнело. На моих щеках еще горели горячие поцелуи брата, а в ушах раздавался плач и причитания, точно по покойнику, добродушной моей хозяйки. Воображение невольно переносило меня назад, в Глазов. Скоро в окнах зажгутся огни. Товарищи сидят за самоваром и с грустью вспоминают обо мне. Окно моей каморки темно и пусто. В слободке толкуют вкривь и вкось, за что я выслан. А вот на одной из центральных улиц, в большом деревянном доме тоже светятся окна, и с деревянных кладок, пролегающих мимо, виднеется мирная картина: за са-

моваром сидит Лука Сидорович в кругу своей семьи. Он доволен... Но если бы мне соскочить сейчас с саней и броситься в лес...

Мое подвижное воображение работало, и в этот сумеречный час, среди темнеющего леса, я, хотя бы только в воображении, переживал ощущения мстителя-террориста.

Перепрягли лошадей и дальше поехали уже в полной темноте. Во время перепряжки в ямской избе мой спутник обратил внимание на мои новые сапоги. Он их осматривал, ощупывал, сравнивал со своими и наконец предложил:

— Давай менеться!

Я отказался. Выехав после остановки, он вдруг стал очень разговорчив. Он распространялся о тех местах, куда он меня везет... Народ там дикий, разбойник народ!.. Ссылных то и дело топят в Каме, никто и не знает... Начальство далеко. А вот он, заседатель, может замолвить за меня словечко; его боятся, ему поверят. И тотчас же после этого он опять сказал с наивным нахальством:

— Меней сапоги!

— Убирайся, не стану менять...

Он надулся и смолк, хотя ненадолго. Через несколько времени опять раздался его скрипучий голос:

— Меней, слышь... Сколько возьмешь придачи?

На следующий день вечером мы были уже недалеко от реки Вятки. Ямщик попался словоохотливый. Он рассказывал, что лошади у него куплены с завода, и в одном месте указал на дорогу, отходившую в сторону от нашей. Она вела на Омутнинский завод.

— Как доедешь до этого места, лошади непременно сворачивают. Чуть зазевайся, особливо засни, так к заводу и притащат, хоть далеко...

В Глазове один наш добрый знакомый, большой фантазер, рассказывал мне, что на этом заводе живет Петр Иванович Неволин, ссыльный и «отчаянный революционер». Он пропагандировал не только рабочих и администрацию завода, но и все население, которое теперь готово на все по одному его слову. Со временем в Нижнем Новгороде я близко познакомился с П. И. Неволным, когда он работал в статистике у Анненского. Это оказал-

ся прекрасный человек и отличный статистик, но человек совершенно кабинетный и менее всего революционер. Но в то время я верил этим рассказам, и мне невольно приходило в голову, что, быть может, я мог бы добраться к этому могущественному человеку.

Темным вечером мы подъехали к обрывистому берегу реки Вятки. На другой стороне скорее угадывались, чем виднелись, широко и далеко раскинувшиеся темные пятна лесов. Где-то внизу шуршал ледоход, и белые льдины смутно виднелись на темной реке.

— Э-ка беда!.. — сказал ямщик. — Перевозчики-те убрались, видно. Вон и изба стоит без окон. Пойти поискать: нет ли хоть лодьи внизу?

Он стал над обрывом, покричал несколько времени протяжно и громко перевозчиков, и потом фигура его исчезла под обрывом. Лошадей он привязал к выступающему бревну сруб. Мы с «заседателем» остались в санях. Было холодно, темно и тоскливо. По небу передвигались неопределенные громады облаков. Снизу, с северо-востока, от заречных лесов тянуло влажным холодным ветром, и по време-

нам пролетали снежинки. Время тянулось долго.

Наконец откуда-то снизу донесся неясный окрик. «Заседатель» встрепенулся.

— Кричат... С того берега!.. — радостно сказал он и, вывалившись из саней, побежал с обрыва с таким проворством, которого я от него не мог ожидать, захватив только мою подушку.

Но раньше он еще раз сказал мне:

— Менеешь, что ли, сапоги-те? Меней, не пожалеешь... Ну, как знаешь.

И я остался один.

Со мной был деревянный ящик с вещами и сапожными инструментами. Я принялся выгружать его с саней, как вдруг внезапная мысль поразила меня. Я здесь один... Лошади знают дорогу к заводу. На заводе могущественный Неволин, владеющий умами населения. Если сейчас подвязать колокольчик, повернуть лошадей и пустить их по дороге, то... То вся моя жизнь пойдет, быть может, по новому пути...

Я поставил на снег свой ящик, сел на него, и — не знаю, сколько времени пробежало над

моей головой вместе с холодным ветром и темными облаками. Что было бы, если бы я повиновался первому побуждению? Я не уверен даже, что нашел бы Петра Ивановича Неволлина. Он действительно жил тогда на одном из заводов, но я не уверен, что именно на этом. Все остальное было чистой фантазией, и — если бы даже я нашел его, то, несомненно, только напрасно подвел бы и его и себя. И все-таки — если бы я был революционер по темпераменту, а не созерцатель и художник, то, конечно, не пропустил бы этого случая — будь что будет!

Но соблазн длился недолго. Навстречу ему потянулись, как эти туманные облака по небу, новые ряды мыслей. Прежде всего — мысль о матери. Во что обойдется ей этот новый удар?.. И потом — от чего, собственно, я бы убежал? От этих лесов и от этих лесных людей, от того дна народной жизни, которое лежит вон там, за рекой, раскинувшись без конца и края под моими ногами? Но разве я не стремился именно к этому? Разве не собирался окунуться в море народной жизни анонимно и тайно от властей?.. И вот теперь, ко-

гда те же власти сами предоставляют мне возможность стать лицом к лицу с этой народной массой, — я испугаюсь и отступлю?

Когда-то Н. Н. Златовратский написал рассказ «Безумец». В нем идет речь о человеке, отдавшем всю жизнь на поиски таинственного сокровища народной правды. Он отрешился от привычных условий жизни и пошел к народу. Он работал в полях, тянул лямку бурлаком, терялся в глухих лесах, опускался в подземные шахты. И из всех этих странствий вынес на свет божий великое сокровище, волшебную жемчужину — тайну народной мысли.

В чем, собственно, состоит эта тайна, Златовратский не разъяснил ни в этом рассказе, ни во всей своей долгой и страстной литературной работе. Самый рассказ появился несколько лет спустя после описываемых здесь событий и тогда произвел уже на меня впечатление чувствительной бессодержательности. Несомненно, однако, что в то время он был лишь несколько запоздалым, но верным отражением того неопределенного, мистического ожидания, которое влекло к на-

роду тысячи юных сердец моего поколения, которое влекло в эти минуты и меня...

IV. Первая встреча с бисеровцами. — «Царская милость»

С той стороны реки, откуда-то издалека, снизу и слева послышался неясный зов... На берегу вспыхнул огонек. Это меня звала к себе дикая лесная сторона. Я бодро поднял грузный тяжелый ящик и стал осторожно спускаться по крутой обмерзшей тропинке к реке. Внизу я увидел переброшенный через реку на высоких тонких жердях живой, колеблющийся мостик, узенький, в две доски. Он висел высоко над черной рекой с фосфорически белевшими пятнами. Небольшие льдины быстро, но не густо неслись по течению, то и дело ударяясь о тонкие жерди. Мостик вздрагивал, и мое положение с тяжелым ящиком было довольно затруднительно. Но переправа совершилась все же благополучно, и, пустившись вдоль берега на огонек, я вскоре очутился в просторной перевозной избе на другом берегу Вятки. Изба была полна народом. Тут были, во-первых, перевозчики, а во-вторых, семь старост во главе с старшиной Бисеровской во-

лости. Они везли в город собранные с волости подати, но мой «заседатель», успевший забраться на печку и свесивший оттуда голову в красной фуражке, упорно твердил:

— Езжай назад, собирай еще!.. Исправник приказал. Бумагу я везу... Писарь будет читать в волости.

Мужики галдели, говорили все разом, спорили, но в конце концов сдались. Старшина, коренастый, невысокий белокурый мужик, выступил вперед и сказал:

— Какая бумага? Может, вот он прочитает? — кивнул он на меня.

«Заседатель» достал из своей кожаной сумки бумагу, я вскрыл конверт и прочитал. В бумаге предписывалось старшине, не ограничиваясь окладом последнего года, зачислить собранные подати за недоимки и приступить вновь к усиленному взысканию недоимок... за десять лет.

Бумага произвела прямо ошеломляющее впечатление. Некоторое время в избе стояло молчание.

— Да ты так ли читаешь-то? — сказал с сомнением в голосе угрюмый рослый мужик,

черный, как жук.

— Верно прочитал, правильно! — вмешался «заседатель» с печки. — Я ведь вам баял, я знаю... По всем волостям такая бумага послана. Других старшин из города назад вернули, — пояснил он.

Мужики почесали в головах, поговорили еще, но в конце концов пришли к заключению, что необходимо исполнить приказание начальства.

В пояснение этого циркуляра нужно сказать, что 19 февраля будущего 1880 года наступало двадцатипятилетие вступления на престол Александра II. Предполагалось, по манифесту, сложение недоимок. И вот, не знаю по чьей инициативе, вероятно по приказу из центра, администрация приступила к выколачиванию старых недоимок, чтобы царское великодушие обошлось казне подешевле. Мужики — старшина и семь старост, — считавшие, что сбор податей по волости уже кончен, были угрюмы и сердиты: приходилось возвращаться и начинать сначала. Когда это выяснилось окончательно, их угрюмое внимание обратилось на меня, сидевшего на лавке

рядом с деревянным ящиком.

— А это что же за человек? — спросил старшина, обращаясь к «заседателю». Хитрые маленькие глазки вотяка насмешливо сверкнули на меня, и он ответил:

— Подарок вам!.. Новый ссыльный в Березовские Починки.

В кучке мужиков пошел глухой ропот.

— Еще один!.. Эк-ка беды, право, до коих пор это? Житья от ссыльных не стало... Починовцы и то стонут. Пакостят они, мочи нет!.. Особливо Харла.

— Вот недавно жаловались: поляк Харла деньги сбостил, — энергично вставил старшина. — И, слышь, деньги немалые: семьдесят рублей.

— А лесу десятины две не спалили, что ли? И зимовничек сторел...

— Беды это, право, бедушки!.. — как-то плаксиво и нараспев протянул черный, как жук, лохматый мужик. — Левашов во бумагу добыл, по всей волостё теперь на лошадях гоняет, ничего не плотит...

С разных сторон слышались ропот и вздохи.

— Да что вы, мужички, плачетесь тут?.. — заговорил, приближаясь ко мне, старшина. — Ты, чужой человек, не подумай чего! Вы там в городе напрокудите, начальство с вами не справится, так к нам?.. Смотри ты у нас!.. Чуть что, мы вас всех в Каму побросаем!

За старшиной поднялись остальные, и я в своем углу был окружен теперь плотной стеной мужиков. Кроме старшины, это был народ все рослый, плечистый и сильный. Вид у них был какой-то архаический: почти безбородые и безусые, с длинными волосами, ровно подстриженными на лбах, — они напоминали древних славян на старых картинах...

— Да!.. У нас, брат, смотри, поберегайся!..

— Живи смирно, а не то косточки переломаем.

— Выволокем в лес... мать родная костей не сыщет. Эти речи, видимо, все больше и больше вдохновляли бисеровцев: глаза сверкали, кулаки сжимались... А с высоты большой печи лукаво и злорадно поблескивали из-под красного околыша маленькие глазки «заседателя». «Что, брат, не захотел сменить сапоги!..» — казалось мне, говорил этот взгляд

хитрого вотина.

Я чувствовал, что необходимо разрядить это настроение. Поэтому я ударил кулаком по своему ящику и резко поднялся. Окружавшая меня толпа, к моему удивлению, шарахнулась от меня, точно испуганные овцы.

— Слушайте теперь, мужики, что я вам скажу, — резко заговорил я, ободренный. — Вот вы говорите, что ссыльные вам пакостят. С вами, видно, и нельзя иначе: вот вы меня не знаете, ничего я вам дурного не сделал, может, и не сделаю, а вы уже накинулись на меня, как волки...

Мужики слушали, отойдя от меня на почтительное расстояние. Крупный мужик, жаловавшийся на какого-то Левашова, — теперь глубоко вздохнул и сказал смиренно:

— Правду бает мужичок... Верно это: мы еще от него худого не видали.

— Вестимо: будешь до нас хорош, и мы до тебя хороши.

— Верно. Вон Плавской в селе живет... Грех сказать, человек смирный, хоть спи с ним, не обидит...

В настроении бисеровцев произошел пол-

ный переворот: минуту назад они наступали стеной, пытаясь меня запугать. Теперь голоса их звучали робким заискиванием. Дипломат-«заседатель», глядевший на все это с своей печки, видимо, оценил новое соотношение сил.

— Верно, мужички, — заговорил он, — не такой это человек... Он человек просужий, работной... Гляди, сапоги на нем... Сам ведь сошил. Мастеровой человек: в ящике-те инструмент у него...

И он многозначительно посмотрел на меня, отмечая этим взглядом, что он оказывает мне услугу. В кучке мужиков пронесся ропот одобрения.

— Ой?.. — радостно произнес старшина, — да ты, видно, чеботной!.. Поэтому можешь моей бабе чирки изладить?

Он оглянулся на мужиков и сказал, улыбаясь:

— Что ты с бабой поделаешь? Пристает: жить, говорит, не хочу, что чирки не сошьешь...

— Известное дело: муж в старшинах — не любо и ей в лаптях стало.

— Ну, роботному человеку мы рады, — сказал старшина, — мы тебя, когда так, в селе оставим. В Починках тебе делать нечего. А теперь, ребята, айда, видно, назад!.. Давай запрягать лошадей.

Мужики повалили из избы, а «заседатель» слез с печи и тихонько подсел ко мне.

— Видал?.. — спросил он, кивнув головой по направлению к двери, — народец-то!.. Известно, лесной народ, зверь!..

И потом, помолчав, прибавил заискивающе:

— Слышал, как я за тебя заступил?.. Сильной рукой!..

И затем, как я и ожидал, прибавил ласково, но, очевидно, без особенной надежды на успех:

— Сапоги-те... Сменеешь, что ли?

Я засмеялся.

Почти уже на рассвете на нескольких санях мы приехали в село Бисерово. Узнав, что здесь недалеко от волости живет тоже политический ссыльный, поляк Поплавский, о котором говорили мужики, я наскоро умылся и, подождав немного, вышел на улицу. Вместе

со мной вышли из правления два или три десятских и пошли в разных направлениях вдоль улиц. Окна всюду уже светились, из труб к синему небу подымался дым. Десятские стучали подождками по ставням, в окнах появлялись мужские или женские лица, и десятские им кричали:

— На сходку, миряна, на сходку! Старшина-те вернулся... Из городу бумага насчет недоимок... На сходку, миряна, на сходку!..

Хозяйка Поплавского уже возилась у печки и удивилась моему появлению.

— Эк-ка бедушки!.. — сказала она, слегка вздрогнув. — Опять чужой человек, да такой же бородатый... И что у вас за сторона такая: лицо будто молодое, а бороды-те что у стариков. Иди вон туда, в светелку. Да он, чай, еще спит. Пойти взять самовар: чай, угощать станет приятеля чайком...

Мы вошли в просторную избу, и хозяйка зажгла стоявшую на столе свечу. Большая изба, с лавками кругом стен, полатями и большой русской печью, была полна своеобразного беспорядка: на лавках грудями валялись книги, на столе рядом с самоваром и чайной

посудой лежали сапожные щетки и вакса, пара щегольских, уже вычищенных варшавских ботинок стояла тут же. На кровати, укрытый, кроме одеяла, еще шубой лежал молодой человек с бледным лицом, черной бородкой клином и длинными, как у художника, черными волосами. Одеяло и шуба спустились до пояса, и я удивился, увидев, что молодой человек спит одетый, в черном сюртуке, крахмальной рубашке и даже в галстуке.

— Всегда эдак, — сказала хозяйка с добродушной усмешкой. — И в баню-те редко ходит... Спасается, видно.

Молодой человек открыл глаза, смотрел некоторое время не вполне сознательным взглядом, точно видел еще продолжение сна, и затем, быстро сбросив одеяло, торопливо надел ботинки и кинулся порывисто обнимать меня:

— Наверное, новый политический? Как я рад! Самовар, хозяйюшка, самовар поскорей!..

Мы познакомились. Поплавский был очень красивый юноша с чрезвычайно тонкими и интеллигентными чертами лица, производившими странное впечатление среди

этих деревянных срубов и нагольных овчин. Он был варшавянин, писатель, сотрудник газеты «Przegląd Tygodniowy» («Еженедельное обозрение»), газеты так называвшегося «позитивного» направления, где работали в те времена молодой Сенкевич, Свентоховский, Болеслав Прус. В Варшаве возникло большое политическое дело так называемого «Пролетариата». Официально его вел прокурор варшавской судебной палаты Устимович — человек странный, немного толстовец, издававший впоследствии в Самаре или Саратове какую-то полусектантскую газету. Истинным руководителем и душой следствия был, однако, его помощник Плеве, который с этого дела и начал свою блестящую карьеру. Поплавский являлся одной из первых ласточек этого дела, высланных административно до начала над остальными суда. Он жил здесь, точно на почтовой станции, не пытаясь уже даже как следует разложить свои вещи и устроиться. За самоваром он очень оживился, рассказывая о своем деле, о жизни в партиях в Варшаве. Речь его была интересна, сверкала юмором и парадоксами, но глаза его сразу потух-

ли, когда он перешел к своему теперешнему положению. Ничто в этой дикой стране не вызывало в нем внимания и любопытства. Я приписывал это тому, что поляки вообще не народники: польский мужик со времен Казимира Великого не играет никакой роли в истории — даже той, какую он играл у нас: Польша не знала ни Разиных, ни Пугачевых, а ее казачество было украинское.

Мы заспорили: Поплавский был социал-демократ и националист. За разговорами незаметно пролетели часа два, когда ко мне прибежал так называемый «рассылка», сообщивший, что меня требуют в волость.

Около волости уже шумела густая толпа, обсуждавшая новое распоряжение начальства. Мужики не знали, конечно, что оно вызвано предстоящей «царской милостью». В толпе мелькал красный околыш «заседателя» и коренастая фигура старшины.

В правлении высокий седой старик писарь объяснил со всею вежливостью, что старшина намеревался оставить меня в селе, но бумага от исправника такого рода, что это оказывается невозможным: меня сегодня же от-

правят дальше, от деревни к деревне и от сотского к сотскому. Это подтвердил и урядник, коренастый мужчина довольно грубого и гнусного вида, происхождением вотяк. Он был очень огорчен. Назначен он недавно и еще не успел обзавестись форменным платьем. Войдя в правление, он тотчас же спросил у «заседателя», не привез ли он ему из города форму, и очень огорчился, когда тот ответил, что не привез. Вотин-урядник был в простом нагольном полушубке, и это, очевидно, роняло престиж его власти.

Плохие санишки, на которых на соломе лежал уже мой ящик, ожидали меня у правления. Попрощавшись с Поплавским, я тронулся в путь. В ближайшем поселке — новый сотский и перепряжка. Когда мы тронулись с этого поселка, нас обогнали две тройки, на которых я увидел красный околыш «заседателя» и большую волчью шубу старшины. Сельская администрация мчалась в село Афанасьевское, чтобы и там оповестить о предстоящих новых сборах застарелых недоимок. А из Бисерова по узким проселкам в глухие деревеньки разносили ту же весть сотские и де-

вятские в санишках, верхами и пешком.

Вскоре я был уже в селе Афанасьевском, которое кипело таким же оживлением, только здесь, в глубине дикого края, действия администрации были гораздо решительнее: со дворов к сельской управе стоняли скот, и какие-то солидные мужики, как я узнал после — скупщики, уже слетелись, как воронье, на предстоящую распродажу. Кроме того, здесь же суетился, грубо крича и громко ругаясь, полицейский урядник.

Через несколько лет, когда губернатор Тройницкий не был уже губернатором, а занял пост начальника статистического отделения при министерстве внутренних дел, а на его месте вятской сатрапией правил, если не ошибаюсь, Анастасьев, в газете «Казанский листок» появилась удивительная корреспонденция, написанная в таком тоне, что по-настоящему место ей в то время могло бы найтись разве в нелегальной прессе. В ней очень картинно и подробно излагались способы сбора податей и недоимок в Вятской губернии. «Точно отряды башибузуков», налетают становые, урядники, толпы сотских и десят-

ских на беззащитную деревеньку, врываются в избы, хватают имущество, самовары, одежду, выгоняют скот... За ними следом тянутся торгаши и прасолы, скупающие все это за бесценок. Прослышав о приближении этих грабителей, население заранее убегает в леса, унося имущество и угоняя скотину, и живет по нескольку суток зимой в лесных чащах.

Я помню, с каким изумлением была встречена эта совершенно правдивая картина в подцензурной газете, притом ретроградного направления, издаваемой господином Ильяшенком (бывшим административно-ссылным, фигурировавшим впоследствии в качестве явного черносотенца). Объяснялась эта необычайная снисходительность цензуры тем обстоятельством, что... статья была доставлена, а может быть, и написана бывшим губернатором Тройницким, посетившим около этого времени прежнюю свою сатрапию. Я попытался в другой поволжской газете дополнить эту картину напоминанием, что эти приемы в Вятской губернии составляют традицию: я рассказал в самых осторожных чертах, далеко уступавших по яркости выраже-

ния произведению господина Тройницкого, о том, что я видел в Бисеровской волости во время губернаторства самого Тройницкого, перед предстоявшей «царской милостью». Но этой моей заметке не суждено было увидеть свет. И немудрено: она была написана не бывшим губернатором.

В селе Афанасьевском мое крамольное сердце порадовалось: село гневно кипело, и в нем царило далеко не покорное настроение: мужики ходили мрачные, бабы вопили, ругались и местами оказывали «сопротивление властям». А через несколько дней уже на месте, в Починках, я узнал, что когда погнали в волость большое стадо, частью уже запроданное скупщикам, мужики огромной толпой сбежались из села, из лесных деревень и поселков, кинулись на отряд сотских, его сопровождавших, со слезами и дрекольем, разогнали его, а скот вернули хозяевам. Это событие уже как бы носилось в воздухе, и настроение мужиков Бисеровской волости в эти дни много способствовало поднятию моего уважения к ним.

V. Афанасьевские ссыльные и их

своеобразные истории

Пока я ожидал у сотского дальнейшей отправки, мне сообщили, что в Афанасьевском живут тоже несколько ссыльных. Я пошел их разыскивать, и эти розыски привели меня к довольно большой избе мрачного вида, стоявшей на отшибе за околицей. Над крышей этой избы болталась на высоком шесте еловая ветка — ссыльные проводили досуг в кабаке у «Митриенка».

Одного из них я сразу узнал: недель за пять до моей высылки из Глазова через нашу слободку к парому проехала тележка с двумя явно не местного типа фигурами в сопровождении полицейского. Один из них был рыхлый старик с бритым лицом приказного типа. Его-то теперь я и увидел за столиком темного кабака. Против него сидел красивый молодой человек с беспокойными глазами, курчавый и румяный. Когда мы познакомились, я узнал, что этот последний — москвич, купеческий сынок, высланный административно «за беспокойный нрав». Свою высылку он объяснял происками какого-то квартального надзирателя, которого он подозревал в уха-

живании за своей молодой женой. Теперь он получил от жены письмо, в котором упоминалось простодушно, что этот квартальный надзиратель порой заходит к ним. Это вывело мужа из терпения: продолжая при мне обсуждение письма, он сверкал глазами, выпивал рюмку за рюмкой и стучал кулаком по столу.

Его собеседник, круглый и рыхлый человек небольшого роста, с нечистым, плохо выбритым лицом, со следами нюхательного табаку над верхней губой и на грязном засаленном пиджаке, — оказался бывшим канцеляристом, уволенным со службы и превратившимся в подпольного ходатая. Он с большим увлечением рассказывал мне довольно длинную историю о тяжбе мужиков с помещиком из-за земли, которую он вел против лучшего местного «ученого адвоката» и выиграл в двух инстанциях.

В этом месте рассказа он так воодушевился, что поднялся с своего места и продолжал рассказ, стоя и оживленно жестикулируя:

— Уж что только они ни делали, какие пружины ни пускали в ход... даже взятки-с...

Меня и ласкали, и подкупали, и грозили... Сам губернатор призывал. Нич-че-го не могли со мной поделаться!.. Я законы и сенатские решения знаю, милостивый государь, как никто-с во всей губернии... Смело скажу: поставь против меня сто ученых адвокатов — верьте богу: всех преодолею, а меня никто-с!.. Поэтому, милостивый государь, уповал я на бога и был, можно сказать, беспечен, как младенец...

Лицо его приняло странно-умиленное выражение. Он сложил руки так, как будто держит на руках спеленатого младенца.

— Они меня и так, они меня и эдак... Ничего не опасаясь, потому все законы, все сенатские решения за меня-с. Дело готово-с... Могу сказать, как облупленное яичко...

Я смотрел на его восторженное лицо, слушал его речи, проникнутые сутяжническим пафосом, и не удержался от вопроса:

— Скажите, пожалуйста: вы кажетесь мне человеком практическим и умным. Что же заставляет вас бороться с сильными людьми и стоять за мужиков?

Он серьезно посмотрел на меня. Я почув-

ствовал по этому взгляду, что он ответит мне искренно.

— Видите ли, милостивый государь: мужик, конечно, сер, можно сказать, в отдельности — полное ничтожество-с. Но ежели его большое количество, то он сила-с... Я, можно сказать, мужиком только и жил. Господа ко мне не обращались. Они больше к ученым адвокатам. А мне, как я питался от мужика, важно было прежде всего-с поддержать репутацию. Да и тяжба была большая-с — несколько сел и деревень с богатейшим лицом тягались. Ежели бы это дело выиграть, я был бы обеспечен до конца моей жизни.

— Ну и что же? — спросил я, захваченный драматизмом и искренностью рассказа. Но тут лицо его, светившееся одушевлением, почти восторгом, внезапно одряблело, распустилось, обмякло, губы стали дергаться судорожной гримасой. Он вдруг упал головой на руки, склонившись к столу, и рыхлое тело его задрожало от рыданий.

Несколько минут в кабаке Митриенка стояло глубокое молчание. Не только мы, оба слушателя, но, по-видимому, и сам сиделец,

мужчина мрачно-равнодушного вида с странными мутными глазами, смотрел теперь с каким-то недоуменным участием на этого плачущего человека. Наконец последний поднял заплаканное лицо, вытер глаза грязным платком и, глядя на меня с выражением беспомощного отчаяния, произнес:

— Жандармский полковник — вот кто погубил меня, милостивый государь!.. Приехали, ворвались, обшарили все... Что ж, сделайте одолжение! Я ведь уже докладывал вам: чист, как младенец... Но... забрали все документы. Скажите, что же это такое?.. Ведь это дневной разбой, беззаконие-с, ведь за это под суд мало!.. Но нет-с!.. Я уже написал в правительствующий сенат, до государя императора дойду!.. Ведь есть же законы в России!..

Мне стало очевидно, что, искушенный и в законах, и в сенатских решениях, он был совершенный младенец в понимании значения «административного порядка». Введенный сначала с определенной целью борьбы с политической крамолой, он стихийно ширился, захватывая произволом и другие области жизни. Передо мною, по-видимому, были

жертвы этого нового фактора русской внутренней политики: в их лице административный порядок получал естественное завершение: один был жертвой амурных предприятий какого-то коварного полицейского надзирателя, другой — испытал на себе вмешательство полиции в гражданскую тяжбу.

Я постарался, насколько мог, объяснить этому «законнику», что его обращение в сенат совершенно бесцельно. Сенат — блюститель формального закона, а с формальной точки зрения его враги правы. В последние годы вышли такие, и притом *настоящие* законы, потому что изданы они в порядке верховного управления, которые могут быть названы законами о беззаконии. Они в известных случаях упраздняют силу других, тоже несомненных законов.

Он слушал меня с напряженным вниманием, но под конец моей речи его глаза засверкали каким-то злым, упорным огоньком.

— То, что вы говорите, милостивый государь, не может быть-с!.. Пока у нас еще не республика, как мечтают некоторые... Пока существует власть государя императора, зако-

ны Российской империи не могут быть упразднены-с... И вы мне этого, пожалуйста, не рассказывайте.

Забегая несколько вперед, скажу, что месяца через полтора после этого я опять был в Афанасьевском и опять видел обоих ссыльных. Когда я сидел у старого ходатая, к его избе подъехали сани, из которых вышли два мужика. Оба были с большими бородами и, очевидно, нездешние. Действительно, это оказались мужики из той губернии, откуда он был выслан. Их отрядил тягавшийся с помещиком мир, снабдив деньгами и поручив разыскать мужицкого «аблаката» хотя бы на краю света. Они мне напомнили «ходока» из рассказа Глеба Успенского. Лица у них были сурово-истомленные и скорбные.

Встреча их с мужицким ходатаем носила признаки трогательной радости... Мужики рассказывали, с каким трудом они отыскивали его, сколько им стоило задарить в Вятке, а потом в Глазове мелких чиновников, чтобы узнать точно о месте его ссылки...

И подумать только, что к этому делу была тоже примешана высочайшая власть... Само-

державие успешно разрушало в народе мистическую легенду о царской правде, на которой само же покоилось...

Под конец нашей беседы в кабак Митриенка вошел еще один «ссылный». Это был молодой еврей Цогель, дюжий и рослый, с видом рабочего. Он отрекомендовался, кажется, кузнецом и, если не ошибаюсь, действительно работал в Афанасьевском. За что его выслали, точно теперь не помню. Кажется, правительство решило, что «административный порядок» пригоден также для решения «еврейского вопроса», и стало высылать еврей-ростовщиков. Настоящие ростовщики, разумеется, страдали при этом всего меньше... Между прочим, еще в Глазове я встречал одного такого ссылного, которого жители слободки называли «жид Мор-хель». Мне рассказывали, что вначале, попав в эти вятские дебри, хотя и в уездный город, он считал себя погибшим. Но затем освоился с положением, стал понемногу заниматься теми же делишками и оперился настолько, что выписал даже семью. Простодушные слобожане относились к нему довольно благосклонно, и мой

учитель, сапожник Нестор Семенович, формулировал это просто и ясно:

— Я считаю, что этот Морхель есть самый добродушный жид. Конечно, берет проценты. Так это потому, что ихняя вера позволяет. А вот наша вера и не позволяет, а наши дерут шкуру в лучшем виде. Куда пойдешь, как притиснет нужда!.. Лучше же я пойду к Морхелю.

Таким образом, административный порядок вступал в конфликт с законами о черте оседлости, и одна бессмыслица ограничивала другую...

Для дополнения этой коллекции мне приходится упомянуть еще об одной своеобразной личности. Это был ссыльный «дворянин Левашов», молодой человек из родовитой дворянской семьи, сосланный... по просьбе отца!.. Если не ошибаюсь, существует в старых законах статья, согласно которой если родители заявляют, что не могут справиться «с беспокойным нравом» сына, то государство приходит на помощь родительской власти, причем ссылка и содержание на месте возлагаются на счет родителей. Самый срок ссылки

обусловливается исправным поступлением денег в депозит губернского казначейства той местности, куда сослан непокорный сын.

«Дворянин Левашов» был сослан на основании именно этой статьи. При этом его звание и слухи о родовитости Левашова-родителя до известной степени отражались на его положении. Правда, его услали в дальнюю Бисеровскую волость, чтобы удалить беспокойного молодого человека подальше от уездного начальства, которому справиться с ним было не легче, чем родителю. Но зато здесь, в этих глухих дебрях, изобретательный проказник выкидывал изумительные штуки. Об одной из них я уже слышал в перевозной избе. Как-то его вызвали в Глазов для каких-то объяснений с начальством. Для проезда «по дворянскому званию» ему выдали бумагу на пару земских лошадей. Левашов съездил и вернулся, но затем бумагу не возвратил и продолжал разъезжать по всей волости, заливаясь колокольчиком. Сельские ямщики сбились с ног, развозя дворянина Левашова из конца в конец по знакомым, в том числе по ссыльным всякого рода, с которыми дворя-

нин Левашов проводил очень весело время. Наконец вопли содержателей станций дошли до Глазова, и становому было предписано отнять у Левашова бумагу.

— Ну погодите, — пригрозил он. — Я достану другую, еще покрепче.

И действительно, вскоре он стал опять разъезжать, показывая огромный плакат с государственным гербом и множеством медалей. Поплавский, смеясь, сообщил мне, что эта «бумага покрепче» была... объявление о продаже чаев «придворных поставщиков К. и С. Поповых».

Дворянин Левашов занимался и судебной защитой в камере мирового судьи.

— Подсудимый, что вы можете сказать в свое оправдание? — спрашивает судья у подсудимого вотяка.

— Мы не можем баять, — отвечает подсудимый, — мы неграмотный... У нас нанят дворянин Левашов, и деньги плочены. Пущай он бает.

Дворянин Левашов встает и произносит кудреватую речь, в которой заявляет, что как честный человек, уважающий законы Рос-

сийской империи, сам возмущен поступком вотяка, заслуживающего самого тяжкого наказания, и лишь ввиду крайнего его невежества защита допускает смягчение наказания на одну степень.

Вотyak с восторгом слушает патетическую речь, уверенный, что Левашов его защищает, другие слушатели тоже плохо понимают речь, уснащенную литературными оборотами и юридическими терминами. Мировой, удерживая улыбку, постановляет приговор, часто мягче, чем требовал защитник.

Впоследствии, когда я прожил довольно долго в Починках, я был поражен внезапным получением повестки от мирового судьи, которой я вызывался в его камеру в качестве свидетеля по делу об оскорблении «дворянина Левашова» административно-ссылным, кажется Поповым. Загадка вскоре разрешилась письмом По-плавского. Дворянин Левашов затеял небывалое дело лишь для того, чтобы доставить мне случай повидаться с товарищами и, кстати, — чтобы иметь удовольствие и самому познакомиться со мной.

Мне не пришлось воспользоваться этой

своеобразной любезностью, так как ко времени разбирательства меня внезапно увезли из Починок. Так мне и не удалось познакомиться с «дворянином Левашовым», административно сосланным по просьбе родителя...

Увы, мне приходится закончить эту главу еще одной черточкой: впоследствии, когда моя утлая ладья вновь была выхвачена бурным течением из Починок, чтобы умчаться в далекую Сибирь, — мне передавали, что некоторое касательство к этому имел донос двух афанасьевских ссыльных. Ко дню царского юбилея они подали будто бы слезницу на высочайшее имя, в которой, вперед прославляя царское милосердие и правосудие, бывший ходатай счел нужным упомянуть о том, что я (ссыльный такой-то) говорил им, будто ныне законы, изданные российскими государями, упразднены, чему они, как верноподданные, отказываются верить, а наоборот — уповают на восстановление своего законного права.

Впрочем, может быть, это и неправда, хотя, вспоминая взгляд ходатая, злобный и негодующий, при моих объяснениях админи-

стративного порядка, я допускаю, что такая ябеда могла действительно выйти из-под его пера и что при этом он мог быть даже совершенно искренним.

VI. Леса, леса!

На следующий день сотский, снабженный наставлениями урядника, повез меня с моим ящиком из села Афанасьевского по направлению к Березовским Починкам.

Тут уже большой дороги не было. Мы плелись какими-то узкими проселками, то и дело ныряя в леса. За ночь выпал глубокий снег, лошади и сани увязали в нем фута на три, дорога была очень тяжелая, и сотский, который вез, запряг двух лошадей «гусем», то есть одну впереди другой, искусно погоняя их длиннейшим кнутом. Следы других проезжих едва были видны, и мне уже не сосчитать, сколько раз и я, и сотский, и мой ящик с инструментом вываливались с дровнишек в снег. Ехали мы от деревушки к деревушке, каждый раз меняя лошадей и провожатых. В одном месте хозяина-сотского дома не оказалось, и меня повезла девка-подросток, его дочь, которую звали, помнится, Апроськой.

Я невольно задумался о превратностях судьбы: из Петербурга меня вывезли в карете, по бокам которой и сзади скакали жандармы, наводя ужас даже на видавших виды столичных жителей. И вот теперь я сдан под наблюдение девки Апроськи, которая, очевидно, чрезвычайно затруднена этой ответственной задачей и очень боится меня, невиданного чужанина. Сначала еще, когда лошади бежали по ровной дороге, дело шло кое-как, но вот мы выехали на вершину небольшого холма, с которого перед моими глазами внезапно открылся большой спуск к какой-то речке. Далеко внизу, после довольно крутого поворота, едва заметная узкая дорожка взбегала на мостик, поворачивала вдоль замерзшей речушки и поднималась на гору. Я взглянул, и в душе моей шевельнулось сомнение: совершим ли мы с Апроськой благополучно этот рискованный спуск. Но размышлять было поздно: передняя лошадь уже ступила на спуск, и вскоре наши дровни бешено понеслись вниз. Первая вывалилась Апроська и увязла в снегу, так что над сугробом торчали лишь ее лапы. За нею выскочил мой ящик, а за ним по-

следовал я, кинувшись тотчас же на помощь моей провожатой, между тем как лошади мчали наши дровнишки далеко вниз.

Когда я вытащил девку из сугроба, она была смертельно испугана и плакала, приговаривая сквозь слезы:

— Боюсь я, боюсь... — И в самом деле: кругом были снега и леса, а она была наедине с безвестным «преступником».

К счастью, лошади и сани на повороте основательно увязли в сугробе. Мы вновь овладели ими и поднялись на гору. На вершине нового холма запыхавшиеся от спуска и подъема лошади остановились, работая вспотевшими боками, а я невольно залюбовался. Далеко, куда хватит глаз, виднелись снега и леса, леса и снега. Леса в этих местах не хвойные, а больше чернолесье, залегающее в долинах, взбегающее на холмы. Под ярким солнцем вблизи и вдали, то густо-синие, туманные, то черные, то сизо-серые, припорошенные снегом, — с бесконечными оттенками, уходили они вдаль. Местами по ним быстро бежали синие пятна облаков, гонимых ветром; местами они отливали солнечным све-

том. С северо-востока подымался ветер. По одному из недалгих склонов, над верхушками покрывавшего его леса неслись три высоких снежных столба и постепенно таяли, оставляя белый след на темной волнистой поверхности леса.

Апросья стала быстро креститься и шептать: «С нами крёсна сила». И потом опять заплакала, как ребенок, приговаривая: «Боюсь я, боюсь». Я уже знал, что она боится больше всего меня, чужого человека. Кроме того, как оказалось из последующих разговоров, она была убеждена, что там, где виднелись над лесом белые столбы, в глубокой чаще на нас шли три «лешака». Когда снежный тифон рассыпался и исчез, она глубоко вздохнула и успокоилась, а я стоял, точно зачарованный этой картиной, полной сурового молчаливого величия и глубокой таинственной жизни...

И опять, как когда-то в Вологодской губернии, я переживал странную иллюзию. Мне казалось, что над всем этим пейзажем, с его лесными далями и снежными полянами, с его бледным небом и низко бегущими облаками, с далекими избушками, приютившимися под

лесом, встает и складывается в моем воображении какой-то до осязательности осязаемый в душе образ — олицетворение северной природы и северного народа... Он был загадочен, немного иконописен, немного архаичен, на старинный славянский лад. Широкие лесные дали, нахлобученные снегом избышки, узкие проселки в густых лесных чащах, угрюмая встреча с бисеровцами в побережной перевозной избышке, угрозы и благодушное примирение, суровое волнение афанасьевского мира, даже эти три «лешака», таинственно бредущие в глубине леса и играющие с снежными вихрями, — все это вместе складывалось в этот образ, все влекло и манило. И мне хотелось скорее опуститься на самое дно этого загадочного края, где ждут меня, быть может, какие-то откровения не испорченного ложной цивилизацией «народного духа».

— Поедем, Апрося! — Отдохнувшие немного лошади бодро побежали с отлогого склона, углубляясь в леса, выбегая на снежные поляны, минуя речки, овраги, засыпанные снегом, и перелески. Девушка совершенно уже освоилась со мной, и теперь порой мы оба хохота-

ли, вываливаясь в снег на узеньких дорожках и поворотах.

В одном месте под самым лесом, рисуясь на его темной стене, стояла одинокая избушка и вился дымок. Апрося, которая к этому времени совершенно освоилась со мною, смотрела на избу и на дымок с непонятным для меня вниманием.

— Ворьской починок это, — сказала она с какой-то осторожной задумчивостью. — Воры эт-то живут. — И она быстрее погнала лошадей.

В полуверсте, в небольшом поселке из десятка домов мы опять остановились для перепряжки. Хозяин, мужик с задумчивым лицом, небольшого роста, кончал обед. Жена, женщина средних лет, с добрым и несколько болезненным лицом, подавала ему, но сама за стол не садилась. Убрав посуду, она тотчас же поставила на стол другую чашку и пригласила пообедать меня и мою провожатую. Я был голоден и охотно принял предложение.

— А воры-те, — сказала Апрося, взяв ложку, — сейчас только затопили... проезжали мы, видели дак...

Это обстоятельство, на которое я не обратил бы внимания, здесь, по-видимому, получило какое-то особое значение.

— Известно, у воров не как у людей, — сказал мрачно хозяин. — Сейчас украли чего-нибудь, вот и затопят... Ну, дай срок: одного свезли в острог, и старику не миновать. А с парнями, с лешаками, и сами управимся...

Хозяйка, с каким-то особенным выражением прислушивалась к словам мужа, повернулась опять к печке и сказала:

— Чего не управитесь!.. На это вас, мужиков, взять.

— А не воруй они, — сказал мужик, подымаясь с лавки.

Баба что-то сердито передвинула в печке и возразила:

— Ись им нечего, ись!.. Будешь тут воровать, как гладом помирать приходится.

Мужик ничего не ответил и обратился к Апросе:

— Это ты кого привезла мне? Пошто?

Апрося полезла за пазуху и достала запечатанный конверт.

— При гумаге, — сказала она, — в Березов-

ские Починки старосте... Ссылный, видно.

— А... — протянул мужик, — то-то даве урядник проехал. А сказывали — насчет недоимок...

Он надел полушубок и пошел из избы. Хозяйка сердито возилась и швыряла у печки, что-то ворча про себя.

— Одно к одному, — расслышал я ее ворчание, — и недоимки и ссылный... Будь ты проклято, мёстышко!.. Когда вас, проклянённых, перестанут возить к нам?.. Налить штей еще, что ли?

Я поднялся из-за стола и бросил пятиалтынный.

— Спасибо за угощение, — сказал я, — довольно и этого...

Женщина всплеснула руками и застыла у печки с выражением испуга и изумления.

— Да ты, чужой человек, в уме, что ли?.. И отколь ты? Нешто в вашей стороне за хлеб-соль с проезжего человека деньги берут?

— Бывает, — ответил я, — только в нашей стороне, когда хлебом-солью угощают, так не проклинаят. — И я сел в стороне на лавку.

Трудно изобразить выражение горести, ко-

торое отразилось на ее лице. Она взяла со стола монету и, подойдя ко мне, низко поклонилась.

— Возьми назад, сделай милость!.. Прости ты меня, глупую бабу, Христа ради... Не осрами!

В ее голосе звучала такая искренность, что я был тронут и взял монету. После этого она успокоилась, и через несколько минут у нас завязался разговор, простой и душевный. Я расспрашивал о «ворьском починке» и его обитателях, и добрая женщина со слезами в голосе рассказала мне простую и суровую стихийную драму. Подробностей ее я теперь не помню. Этой семье не повезло: один сын умер, другой долго хворал... на скотину пошел мор, остались на зиму без хлеба. В начале зимы в поселке и по соседним починкам стали случаться пропажи. Поймали с поличным недавно выздоровевшего молодого хозяина. Увезли в город, в тюрьму. Остался старик и два подростка. Кражи все продолжались.

— А ранее? — спросил я.

— Ранее-то? Ранее какие хозяева-те были, покуль старший хозяин не пропал!.. С чего им

было воровать-то? А теперь поневоле пойдешь, как ись нечего. Не гладом всем помирать, с детьми с малыемя.

Вошел хозяин и предложил ехать. Я попрощался с сердобольной хозяйкой и с Апросей и уселся в легкие дровнишки. Мы еще раз проехали мимо «ворьского починка», и я с интересом взглянул на место этой стихийной драмы... Свалилась беда, и этим людям остается только погибать, как зверям в выжженной пустыне или птицам, отставшим в перелете. Кругом или угрюмое равнодушие, как у этого мужика, или бессильное сожаление, как у его жены.

Подвигался я весь этот день очень тихо от поселка к поселку, от сотского к сотскому, так что вечер опять застал меня в небольшом поселке, кажется Корогове. Здесь в избе десятского на полатях со старухой сидела молодая, довольно красивая баба с ребенком на руках. Лицо ее было истомленное и печальное. Говорила она тихо, подавленным голосом. Так говорит глухое отчаяние, лишенное надежды.

— Ссылной же, видно, — сказала она, с особым интересом останавливая на мне по-

тухший взгляд своих красивых глаз.

— Да, ссыльный, — ответил я.

— У меня мужик тоже сосланной теперь... И где-й-то он, сердечной? Ой-о-о-ой...

Она тихо завыла, потом сдержалась, всхлипнула, высморкалась и стала качать ребенка.

— За что сослан? — спросил я и, предложив вопрос, тотчас догадался: женщина была, очевидно, с «ворьского починка». Она побиралась по соседям, бродя с ребенком на руках по глубоким снегам.

— О-ох... За што? — ответила она на мой вопрос. — Ты вот, за што ссылаешься?

— Долго рассказывать, голубушка...

— То-то, что долго... Божья воля. Может, и ни за што...

— Пожалуй что и так...

— Так-то и мой... Божья воля...

Поздно ночью я проснулся... В избе был новый гость. За столом, у светящейся лучины, сидел вотяк-урядник и что-то внушал хозяину. Речь шла обо мне... Называли имена мужиков, очевидно, жителей Починок, и обсуждали что-то.

— Примет ли? — спрашивал урядник.

— Нет, Дурафей Иванович, не примет... Мужик сурьезный.

— Ну, а тот, как бишь его? Давеча ты говорил... Бисеров?..

— Тот посмирняе...

— Скажи: исправник, мол, сам назначил...

— Только вот изба-те у него черная...

— О ч-черт! Ну, да что поделаешь. Волоки к старосте, а тому приказ: к Гавре так к Гавре... А то, может, и сам проеду... Где тут у вас переправа?

— У Бидковой избушки... Да, еще, чай, Кама-те пола...

Урядник поднялся, покрестился на икону и уехал. Я успел отдать ему письмецо, которое с вечера написал брату. Он важно взял его, осмотрел со всех сторон и сунул за пазуху...

Хозяин десятский повез урядника и вернулся довольно поздно. Было уже около полудня, когда лошадь его отдохнула, и он повез меня. Около часу ехали мы темным бором, когда навстречу нам попался мужик с топором. Мой возница остановился.

— Что, дядя... Кама стала ли у Бидковой из-

бушки ай нет?..

— Где поди стала?.. Пола ошшо!

— А то, может, стала?

— А может, и стала...

Мы тронулись на авось. Бор становился выше и гуще, по вершинам тянул протяжный гул. Неожиданно для меня мы выехали на берег реки. Кама лежала среди леса тихая, ровная, белая. Только посередине чернела полоса полой воды. На другой стороне на берегу горел торф. Дым как-то угрюмо и зловеще клубился на фоне темного бора. Повернув вправо, мы проехали берегом с полверсты, пока не нашли места, где узкая река была уже перехвачена сплошным льдом. О переправе с лошадью нечего было и думать: лед сильно трещал под ногами. Мужик отпряг своего мерина и просто отпустил его в лес, а мы, взяв в руки по две жерди из предосторожности, чтобы на случай провала удержаться на поверхности льда, и привязав к оглоблям саней длинные вожжи, перешли сами и перетащили сани на другую сторону.

— Житель тут есть недалече... Лошадь где-нибудь в лесу бродит. — Он ушел в лес и че-

рез полчаса привел за челку небольшую лошадку, без церемонии запряг ее в наши дровни, даже не спрашивая у хозяина, и мы двинулись дальше. В бору было тихо и спокойно. Стаи куропаток срывались почти из-под ног лошади и беспечно перепархивали на ближние полянки. То и дело нам приходилось переезжать через речки поменьше с окрепшим уже льдом. Мужик пояснял мне, что это «старницы», прежние русла Камы, которая здесь часто меняет среди песков и болот свое течение, точно тут еще не закончился самый процесс сотворения мира.

Стали появляться отдельные избушки то на самом берегу Камы, то поодаль, на вырубленных местах. В одном месте, на обрывистом берегу, над кручей, стояла небольшая часовенка. Она была заперта наглухо. Окна заколочены досками, крыша провалилась, крест на ее вершине как-то сиротливо погнулся. Невдалеке за нею одиноко стояло у дороги странное дерево: пять ветвей подымалось из ствола, точно пять пальцев протянутой кверху ладони.

— Флор-Лавра часовенка эта у них жи-

вет, — пояснил провожатый. — В год раз на Флор-Лавра выезжает к ним из Афанасьевского села поп, молебен правит, с иконой по избам ходит. — Он усмехнулся. — И, слышь ты, чудное дело: мимо этого древа никак не пройдет... непременно тебе остановится, станет петь и кадилом кадит. Пьяненький, конечно... Не знаем мы, почему такое? Черемица он, из черемисов, значит... так, может, сказывают, от этого. Привыкли они, черемиса-те, на де-рёвы молиться... А вон и Старостин починок, — сказал он через некоторое время, поворачивая к новой, просторной, отлично огороженной избе, в окнах которой, то слабея, то разгораясь, переливался свет лучины и мелькали фигуры людей.

— Сходка у них, — сказал мужик, вылезая из саней. Изба старосты действительно была полна народом.

Сходка, собранная по приказу недавно проехавшего урядника, кончалась. Обсуждался последний вопрос. Говорил красивый широкоплечий и коренастый мужик средних лет, одетый в хорошую, крытую сукном шубу и в валенках, тогда как остальные были в лаптях.

— Нужно, братцы... бесперечь нужно в часовне крышу еще до весны изладить. Покосилась вся...

— Живет пока... — зевая и подымаясь с места, сказал кто-то.

— Живет, живет, ништб... Ужо летом, как черемице приехать, тогда и изладим...

— А как крест-то вовсе свалится, тогда как?

— Ну-к што, свалится дак? Опять поставим...

— Не ладно, братцы, — громко и оживленно возражал красивый мужик. — Флор-Лавёр как бы не осердился. Поберегает нас старичок, грех пожаловаться... Погляди, у Феклистят да у Гребят кажинный год волки сколь скотины порежут, а у нас небось не трогают... А почему? То-то вот и есть! А вы крышу ему изладить жалеете! Смотри, хуже бы не было, как осердится.

— Верно, верно, — зашумела вся сходка, — старается для нас старичок, ну и мы для него постараемся... Кому тепереча черед это дело делать?

Сходка разошлась. Ко мне подошел староста. Это был худощавый мужик, высокий и

широкоплечий, но с впалой грудью, и цвет лица у него был нездоровый. Впалые глаза глядели странно, так что этот взгляд обращал невольное внимание. Он объяснил мне, что мужики, по «приказу господина урядника», порешили поставить меня на квартиру к Гаврюшке Бисерову, куда он, староста, сейчас и поедет со мной. Кстати, они родня: он женат на дочери Гаври, и его семья тоже поедет за нами.

— Только неизвестно еще — согласится ли Гаврюшка? На сходке, вишь, его не было... Кто был — никто не согласился.

Починок Гаври Бисерова был расположен в шести верстах вниз по Каме. Я ехал туда с стесненным сердцем. Путешествие по занесенным снегом дорогам на валких дровнишках сказывалось сильным утомлением. И вот, когда я почти у цели, возникает вопрос — примут ли меня, бесприютного, или мне придется мыкаться дальше, разыскивая пристанище. Кроме того, я чувствовал себя в положении человека, навязываемого жителям по какому-то незаконному приказу нахала урядника, и сознавал, что они вправе не под-

чиниться этому приказу.

В избе Гаври Бисерова еще светилась лучина, когда мы подъехали, встреченные дружным лаем и воем нескольких собак. Изба, куда я вошел, была высокая, просторная, но стены ее были черны от сажи, так как она была «курная», как, впрочем, большинство изб той местности. От этого она имела мрачный вид. Свет березовой лучины, вставленной в светце, освещал лишь на близком расстоянии, а дальше терялся во мраке. Староста, войдя в избу, покрестился на иконы и поздоровался, а затем объяснил, что по приказу урядника он привез ссыльного. Две женщины, старуха и молодая, сидевшие с прялками у светца, насупились и что-то тихо заворчали про себя, а откуда-то сверху, с темных, закопченных полатей, раздался резкий, несколько гнусавый голос:

— Не желаю. Не согласен я! Вези куда хочешь.

Староста стал возражать что-то, завязался спор. Голос невидимого хозяина звучал обиженно и строптиво. Я решил объясниться.

— Вот что, хозяин, — сказал я. — Вы може-

те не согласиться принять меня, и я думаю, что никто не вправе вас принудить взять к себе в дом незнакомого человека. Я только хочу сказать, что даром жить у вас не стану: за хлеб-соль буду платить, сколько назначите.

— Три рубля!.. — задорным полувопросом кинул невидимый хозяин, считая как будто, что эта цена равносильна отказу.

— Три так три, — сказал я, а староста прибавил:

— Примай, Гаврило!.. Он, слышь, человек роботный — чеботной, мужик просужий.

Еще несколько слабых возражений, и Гавря, очевидно, сдался. Полати заскрипели, послышалось кряхтение, и через минуту предомной стоял невысокий и невзрачный старик, с редкими волосенками на темени и с жидкой черной бородкой. Подойдя ко мне, он низко поклонился и заговорил очень длинно, очень плавно и складно. К сожалению, я не могу теперь даже приблизительно восстановить эту речь Гаври Бисерова, которую он встретил меня, истомленного странника, принимаемого с этого вечера в дом. Говорил он с каким-то величавым и приветливым видом,

а я слушал, точно очарованный. Закончил он словами:

— Добро пожаловать, и будь ты нам отныне не чуж-чуженин, а родной семьянин. — После этого он низко поклонился и протянул руку, которую я пожал от души.

Затем подъехали сани со стариком Ефимом Молосным, отцом старосты, со старухой, его матерью, и женой, дочерью Гаври. Некоторое время они оставались у Гаври и «бразничали». Оказалось, что в этой семье у старосты жил Попов, тоже политический ссыльный, и оставил по себе хорошие воспоминания. Старуха охотно и много рассказывала о нем: у Попова — то, у Попова — другое... И в голосе ее звучала почти нежность.

Когда они уехали, я зажег привезенную со собой свечу и сел к столу писать письмо матери и сестрам. Рядом со мной жужжали две прялки, с полатей смотрели, свесив головы, глубоко заинтересованные два мальчика-подростка, и сверкали маленькие черненькие глазки старика Гаври Бисерова. Я описывал свое путешествие и с особенным чувством остановился на последнем эпизоде. Речь хозя-

ина, плавная, красивая, колоритная, завершила описание нотой искреннего удовлетворения. Вся семья не спала: все смотрели на невиданное зрелище — на пишущего человека.

Еще не кончив письма, я вышел на крыльцо. Помню, что на чистом небе сверкали яркие звезды; искрились пушистые снега, неопределенными пятнами темнели перелески... Невдалеке за «старницей» виднелся под темной полосой лесов одинокий, то разгорающийся, то угасающий огонек лучины. Влево, в версте или полуторах, мигал другой, и я представлял себе, что там живут такие же простые и добрые люди, умеющие при случае говорить такие хорошие, величавые слова, как Гавря Бисеров.

И вот я лицом к лицу с этим нетронутым, неискаженным и чистым мужицким миром. Душа моя была переполнена особым чувством, и я закончил письмо нотой спокойного и совершенно искреннего удовлетворения. «Только от вас, мои дорогие, еще дальше...» Но это, казалось мне, — ничего!.. Я верил, что мы увидимся в лучшие времена, а пока, как

смелый пловец, я бросался на это заманчивое дно народной жизни...

Я улегся внизу на лавке и скоро заснул. А две женщины все еще светили лучину, и их прялки жужжали далеко за полночь.

Комментарии

Вторая книга «Истории моего современника», начатая в 1909 году, была дописана лишь в 1918 году и подготовлена для отдельного издания в 1919 году. Таким образом Короленко работал над ней — с большими перерывами — десять лет.

Это десятилетие было трудным и напряженным в жизни Короленко. В 1910 году он прервал работу над «Историей моего современника», чтобы написать «Бытовое явление», а затем «Черты военного правосудия». Но и закончив эти свои статьи, имевшие громадный политический резонанс, он не смог взяться за продолжение прерванной работы.

В июле 1911 года Короленко писал Т. А. Богданович: «Крепко засел за работу, лихорадочно стараясь наверстать, покончить с „Чертами“ и взяться за „Современника“. Я жадно думал о том, когда поставлю точку, отошлю в набор и возьмусь за работу „из головы“. Теперь все это перевернулось... У меня за десять лет собран ужасающий материал об истязаниях по застенкам. С каждым новым извести-

ем я чувствую все более и более, что ничего другого я работать не буду, пока не выгружу этого материала. Сначала я даже возмутился и решил, что сажусь за „Современника“ и пишу о том-то. А в то же самое время в голове идет свое: „Статью надо назвать „Страна пыток“ и начать с указа Александра I“. Несколько дней у меня шла эта смешная избирательная драма. Я стал нервничать и кончилось тем, что... сначала „Страна пыток“, которую я думал писать после, а „после“ „Современник“, которого я думал писать сначала... Решил и начинаю успокаиваться».

Однако активная публицистическая деятельность и в последующие годы неизменно отвлекала Короленко от работы над «Историей моего современника». К этому же времени относятся и многократные привлечения его царским правительством к судебной ответственности по целому ряду литературных дел.

Первые восемь глав второй книги «Истории моего современника» были напечатаны в первой и второй книжках «Русского богатства» за 1910 год. Короленко ввел их в Полное

собрание сочинений (изд. А. Ф. Маркса, 1914).
Вся книга вышла отдельным изданием при
жизни писателя сперва в 1919 году в Одессе
(изд. «Русского богатства»), затем в 1920 году в
Москве (изд. «Задруга»).

Рукопись второй книги «Истории моего со-
временника» в архиве писателя не сохрани-
лась, имеются лишь корректурные оттиски
типографии «Задруга» с поправками, сделан-
ными рукой Короленко.

От автора — написано в 1919 году.

...закончил в 1905 году, — Здесь автором до-
пущена ошибка: первая книга «Истории мое-
го современника» была только начата в 1905
году, закончена же в октябре 1908 года и за-
тем в 1909 году переработана для отдельного
издания.

...принят на первый курс. — Короленко по-
ступил в Петербургский технологический ин-
ститут осенью 1871 года.

...один из ее братьев — Брунон Иосифович
Скуревич, жил вблизи Ровно, занимаясь сель-
ским хозяйством.

...военной молодежи милютинской школы.

— Милютин Дмитрий Алексеевич (1816–1912) — генерал-фельдмаршал, военный писатель, автор труда о Суворове. Как военный министр в течение двадцати лет работал над реорганизацией русской армии и военного дела. Провел ряд мер, направленных к повышению военной подготовки армии, улучшению быта солдат, поднятию уровня офицерской среды.

...отчет о нечаевском процессе. — Процесс нечаевцев — «Дело о заговоре, составленном с целью ниспровержения существующего порядка управления в России» — слушался в особом присутствии петербургской судебной палаты с 1 июля по 27 августа 1871 года.

Петрашевцы — члены революционного кружка, группировавшегося около М. В. Буташевича-Петрашевского. На своих собраниях они обсуждали вопросы политической жизни России, изучали политическую литературу Запада, особенно произведения социалистов-утопистов, главным образом Фурье. Петрашевцы были решительными противниками самодержавного и крепостнического

строю, сторонниками республики. Кружок существовал с 1845 по 1849 год. Выданные прокуратором, петрашевцы были арестованы, обвинены в деятельности, направленной к «разрушению существующего государственного устройства». Большинство из них были приговорены к смертной казни, замененной затем каторгой.

Спасович Владимир Данилович (1829–1906) — публицист и критик, адвокат, выступавший защитником на процессе нечаевцев.

Строки из стихотворения А. А. Фета «*На заре ты ее не буди*» (1842).

...дядя — Генрих Иосифович Скуревич.

Петефи Шандор (1823–1849) — знаменитый венгерский поэт, участник революции 1848 года.

Строки из стихотворения Н. А. Некрасова «*Похороны*» (1861).

...повидаться с сестрой — Марией Галактионовной, учившейся в московском Екатерининском институте.

Рахметов — герой романа Н. Г. Чернышевского «Что делать?».

...поручик Пирогов — один из героев повести Н. В. Гоголя «Невский проспект».

Гриневецкий. — Под именем Мирослава Ивановича Гриневецкого выведен Сбигнев Адамович Негребецкий, студент сперва Технологического, затем Горного института.

Веселитский Василий Иванович. — Настоящая фамилия его — Веселовский.

...письмо брату. — Настоящее письмо к брату до нас не дошло, как не дошли и все другие письма студенческих лет В. Г. Короленко.

...календарь Германа Гоппе. — «Всеобщий календарь» издавался с 1867 по 1885 год Г. Д. Гоппе, издателем «Всемирной иллюстрации» и многих модных журналов.

Центр... жизни... перетягивался с Васильевского острова к Измайловскому и Семёновскому полкам. — Иносказательно — от университета (находившегося на Васильевском острове) к высшим техническим учебным заведениям.

Шпильгаген Фридрих (1829–1911) — немецкий романист, автор романа «Между молотом и наковальней».

Это, конечно, она. — Здесь подразумевается Мария Ландсберг — первая ранняя любовь автора (см. приложение к первой книге «Истории моего современника» — «Детская любовь»).

Цитата из произведения Генриха Гейне «*Идеи. Книга Ле-Гран*», гл. XIX (1826).

Фурье Шарль (1772–1837) и *Сен-Симон Анри-Клод* (1760–1825) — социалисты-утописты.

Макаров Николай Иванович (1821–1904) — профессор математики в Петербургском технологическом институте с 1862 до 1897 года.

Иоганн Шерр (1817–1886) — немецкий историк-идеалист.

...отголоски «Бурсы» — имеются в виду «Очерки бурсы» Н. Г. Помяловского.

...кухмистирской Елены Павловны — одна из столовых, организованных в Петербурге кн. Еленой Павловной.

...писатель Авербах — Ауэрбах Бертольд (1812–1882) — немецкий писатель. Горицкий говорит здесь о его романе «На высоте».

Редкин Петр Георгиевич (1808–1891) — профессор Петербургского университета по кафедре энциклопедии права.

Строки из стихотворения Н. А. Некрасова «Саша» (1855).

Афанасий Иванович и *Пульхерия Ивановна* — герои повести Н. В. Гоголя «Старосветские помещики».

...напоминавший мне описание Сперанского — наружность Сперанского в романе Л. Н. Толстого «Война и мир» описана так: «...высокий, лысый, белокурый человек лет сорока, с большим открытым лбом и необычайной, странной белизной продолговатого лица».

Эндауров Александр Меркурьевич (род. около 1851 г.) — был студентом Технологического института в Петербурге. В начале 1874 года входил в петербургский народнический кружок «чайковцев».

Михайлов Михаил Илларионович (1826–1865) — революционный демократ, публицист, переводчик и поэт. В 1861 году был арестован и сослан на каторгу за составление (вместе с Н. В. Шелгуновым) и распространение известной прокламации «К молодому поколению». Умер в Нерчинских рудниках.

...моей двоюродной сестры — Елены Никтополеоновны Бирюковой, урожденной Коро-

ленко.

Вернадский Иван Васильевич (1821–1884) — либеральный экономист, профессор политической экономии сначала в Киевском, затем в Московском университете. Дальний родственник Владимира Галактионовича.

Киттары Модест Яковлевич (1825–1880) — с 1850 года профессор Казанского, а с 1857 до 1878 года — Московского университета по кафедре технологии. Был членом Вольно-экономического общества, но председателем его не состоял.

Цитата из стихотворения Н. А. Некрасова «Когда из мрака заблужденья» (1845).

...артиллерийский офицер — Туцевич Владимир Казимирович.

...поселиться... в Кронштадте — переезд семьи Короленко из Ровно в Кронштадт состоялся осенью 1872 года.

Окрейц (Орлинский) Станислав Станиславович — издатель журналов «Дешевая библиотека для легкого чтения» и «Всемирный труд».

«*Родник*» — ежемесячный иллюстрированный журнал для детей, выходивший с 1882 по

1894 год.

«Неделя» — еженедельная либерально-народническая газета, выходившая с 1866 по 1901 год.

Мочальский Демьян Иванович — родился около 1850 года, умер в 1928 году. Учился в ровенской реальной гимназии вместе с Короленко. По окончании гимназии поступил в Петровскую академию, которую окончил в 1875 году. Работал в течение 33 лет в Измайловском лесничестве. Распланировал пустырь Благуши, после чего этот район был застроен и вошел в число пригородов Москвы. Одна из улиц Благуши называется по его имени — Мочальской.

...я был уже в Петровской академии. — Короленко поступил в Петровскую академию 1 февраля 1874 года.

...принадлежавшем когда-то Разумовскому. — Дворец находился в селе Петровское-Разумовское, под Москвой.

Посмотрите сами у Гано — распространенный в то время курс физики А. Гано.

«Московские ведомости» — одна из наиболее реакционных газет, выражавшая интере-

сы дворян-крепостников и духовенства. Во главе ее продолжительное время стоял реакционер М. Н. Катков.

Григорьев Василий Николаевич (1852–1925) — статистик и публицист. По окончании инженерного училища служил в саперном батальоне, затем поступил в Военно-инженерную академию, но со второго курса ушел, вышел в отставку и поступил в 1874 году в Петровскую академию. В 1876 году за участие в студенческих волнениях и за подачу совместно с Короленко и Вернером коллективного протеста студентам директору был арестован, исключен из академии и сослан в Пудож, Олонецкой губернии под надзор полиции. Какое значение имела для молодого Короленко встреча и дружба с Григорьевым, видно из признания самого писателя в одном из его писем к Григорьеву. Отвечая на привет Григорьева (по случаю исполнившегося пятидесятилетия Короленко), Владимир Галактионович 15 сентября 1903 года писал ему: «Было время, когда я вступал в борьбу (с самим собою), было время, когда многое в себе и переделал. И в этом из всех людей ты мне всех

больше помог в критическое и решительное время. Не знаю, был ли бы я и тем, что я есть теперь, если бы когда-то в хороший весенний день судьба не свела меня на дворе и в аллеях Петровской академии с молодым офицериком. Наверное, нет. И много раз я примерял свои поступки и даже настроения и мысли с тем, что ты сказал бы и как отнесся бы к тому и другому. И часто это представление, одно представление о тебе, освещало мне выбор и дорогу, а твоя дружба подымала меня в собственных глазах и придавала решимость и силу». Дружба Короленко с Григорьевым прошла через всю их последующую жизнь.

Вернер Константин Антонович (1850–1902) — учился в Военно-инженерной академии, затем был вольнослушателем Киевского университета. В 1874 году поступил в Петровскую академию. Арестован 21 марта 1876 года вместе с Короленко и Григорьевым за подачу коллективного протеста студентов. Исключен из академии и по распоряжению министра внутренних дел от 24 марта 1876 года выслан в Глазов Вятской губернии. В 1877–1878 годах служил в армии на Кавказе. В

1879 году снова поступил в Петровскую академию и окончил ее. С 1895 года до дня смерти был профессором сельскохозяйственной экономики в Московском сельскохозяйственном институте (бывшей Петровской академии).

У Писарева это сказано несколько иначе. — В статье «Наша университетская наука» (гл. XV) у Писарева говорится: «Сильно развитая любовь ведет к фанатизму, а сильный фанатизм есть безумие, мономания, *idée fixe*; но, с другой стороны, отсутствие любви приводит к скептицизму, а скептицизм, проведенный в жизнь с неумолимой логической последовательностью, называется систематической подлостью».

...два брата Пругавины — Алексей Степанович (1856–1880) и Виктор Степанович (1858–1896).

Берви Василий Васильевич, псевдоним — Н. Флеровский (1829–1918). — Чрезвычайно популярный в революционной среде 70-х годов писатель по политическим, экономическим и философским вопросам. Принимал активное участие в народническом движении 60–70 годов. Автор книг: «Положение рабочего класса

в России» (1869) и «Азбука социальных наук» (1871). Книга «Положение рабочего класса в России» была сочувственно встречена К. Марксом. Берви подвергался частым правительственным репрессиям; его дом в ссылке был широко открыт для ссыльной и местной молодежи.

Статья Ткачева — речь, по-видимому, идет не о статье П. Н. Ткачева, а о его брошюре «Задачи революционной пропаганды в России. Письмо к редактору журнала „Вперед“ П. Л. Лаврову». Брошюра вышла в Лондоне в апреле 1874 года.

...была направлена против Лаврова. — Лавров ответил Ткачеву брошюрой «Русской социально-революционной молодежи» (Лондон, 1874). Дальнейшую полемику с Лавровым Ткачев вел в журнале «Набат», который он редактировал в 1875–1876 годах.

...в котором была программа и еще статья Лаврова. — Речь идет, очевидно, о статьях: «Наша программа» и «Кому принадлежит будущее? Разговор последовательных людей». Первая была напечатана в журнале «Вперед» в 1873 году, вторая там же в 1874 го-

ду, обе без подписи.

Аксаков Иван Сергеевич (1823–1886) — известный славянофил, публицист. Издавал последовательно газеты: «Русская беседа», «День», «Москва» и с 1881 года «Русь».

Златовратский Николай Николаевич (1845–1911) — беллетрист-народник.

Михайловский Николай Константинович (1842–1904) — видный теоретик народничества, публицист, литературный критик, социолог. С 1868 года — постоянный сотрудник, затем член редакции «Отечественных записок». В 70-х годах был связан с «Народной волей». С 1893 года до конца жизни был редактором журнала «Русское богатство», на страницах которого вел ожесточенную полемику с марксизмом. Приведенная здесь Короленко цитата взята из «Записок профана» Михайловского («Отечественные записки», декабрь, 1875).

...базаровское бесстрашие. — Базаров — герой романа И. С. Тургенева «Отцы и дети».

...следовать за «раскольниковскими» формулами. — Раскольников — герой романа Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание».

Харизоменов Сергей Андреевич (1854–1917) — один из основателей организации «Земля и воля». После ее раскола прикнуд к «Черному переделу», но вскоре отошел от народнического движения. Позже — видный земский статистик.

Катковский лицей (собственно «Императорский лицей в память цесаревича Николая») — дворянское привилегированное высшее учебное заведение, основано в 1868 году на средства М. Н. Каткова и нескольких других жертвователей. Особые надзиратели (туторы) наблюдали за учебным, нравственным и физическим воспитанием лицеистов.

Гладстон Уильям (1809–1898) — английский политический деятель, лидер либеральной партии с 1868 по 1894 год.

Д'Израэли (Дизраэли) Бенджамин, лорд Биконсфильд (1804–1881) — английский политический деятель и писатель, лидер консервативной партии.

Тимирязев Климент Аркадьевич (1843–1920) — великий русский ученый, автор книг: «Жизнь растения», «Чарльз Дарвин и его учение» и др. Преподавал ботанику и фи-

зиологию растений в Петровской академии с 1870 по 1892 год. Тимирязев неоднократно обвинялся царским правительством в «неблагонадежности» и наконец был удален из Петровской академии. В 1911 году Тимирязев ушел из Московского университета в знак протеста против реакционной политики министра народного просвещения Кассо. Великую Октябрьскую революцию Тимирязев принял безоговорочно, был депутатом Моссовета, активно работал в ряде советских научных учреждений.

В июле 1913 года Тимирязев прислал Владимиру Галактионовичу приветственную телеграмму к его шестидесятилетнему юбилею: «Дорогой Владимир Галактионович. Еще на школьной скамье вы завоевали не только любовь, но и уважение ваших учителей. Теперь славный художник, чье каждое слово является делом, вы владеете любовью и уважением бесчисленных читателей. Примите сердечный привет того, кто с радостью считает себя тем и другим. Тимирязев». Короленко ответил ему письмом от 25 июля того же года:

«Дорогой, глубокоуважаемый и люби-

мый Климент Аркадьевич. Из тех годов, о которых и вы вспоминаете в вашей телеграмме, когда судьба свела нас, учителя и ученика, в Петровской академии, — я вынес воспоминание о вас как один из самых дорогих и светлых образов моей юности. Не всегда умеешь сказать то, что так хочется сказать дорогому человеку. А мне в моей жизни так часто хотелось сказать вам, как мы, ваши питомцы, любили и уважали вас и в то время, когда вы с нами спорили, и тогда, когда вы нас учили любить разум как святыню, и тогда, наконец, когда вы пришли к нам, троим арестованным, в кабинет директора и когда после до нас доносился из комнаты, где заседал совет с Ливеном, ваш звонкий независимый и честный голос. Мы не знали, что вы тогда говорили, но знали, что то лучшее, к чему нас влекло неопределенно и смутно, находит отклик в вашей душе, в другой более зрелой форме. Дорогой Климент Аркадьевич, поверьте глубокой искренности этих строк. Ваш привет светит для меня среди многих, частью шаблонных, но боль-

шей частью искренних юбилейных обращений — особенным светом... Он из тех, которые особенно трогают и особенно внятно говорят об ответственности за этот почет и о его незаслуженности. Много лет прошло с академии. Время делает менее заметной разницу возрастов. Но для меня вы и теперь учитель в лучшем смысле слова. И читая задушевные строки вашей телеграммы, я чувствую то же, что чувствовал порой, уходя с удачного экзамена, когда совесть говорила о том, что было не готово. И теперь, получив ваш привет за то немногое, что удалось сделать, я живо чувствую, как это мало и сколько не сделано. И теперь, как встарь, ваш привет говорит мне, что и в мои годы все надо учиться и становиться лучше.

Крепко от всей души обнимаю вас, дорогой мой учитель и истинно дорогой человек

Любящий вас Владимир Короленко».

Ржевский. — Московским исправником с первой половины 70-х годов до 1883 года был В. П. Афанасьев.

После совета все начальство прошло в актовую залу. — В журнале заседаний совета Петровской земледельческой и лесной академии за 1875–1876 годы нижеследующим образом запротоколировано заседание 20 марта 1876 года:

«Его светлость г. товарищ министра государственных имуществ изложил, что он прибыл в академию сегодня, в 2 часа пополудни вследствие того, что студенты Петровской академии, Григорьев и Короленко, подали 13 марта директору этого учебного заведения заявление, подписанное 79 человеками, препровожденное директором г. министру государственных имуществ, а 17 марта студент Вернер подал заявление, в котором к прежде подписавшимся присоединили свои подписи еще 11 человек. В этом заявлении студенты жалуются на небрежное и невнимательное отношение к их жалобам, на неудовлетворительное качество пищи, отпускаемой им в студенческой столовой, пользующейся казенною, довольно значительной субсидией, и на стеснения, происходящие для них от

соблюдения некоторых установленных правил; а так как подача подобного коллективного заявления есть дело вполне незаконное и оскорбительное для директора академии, поставленного правительством именно для того, чтобы вполне точно соблюдать устав и вытекающие из него правила, то он, г. товарищ министра государственных имуществ, употребил время с 2 до 9 часов пополудни для того, чтобы разъяснить студентам академии, приглашая некоторых из них поодиночке, а других партиями по два, по пяти, десяти и т. д., всю беззаконность их поступка, которую они могут загладить, испросив публично прощение у директора академии и дав обещание впредь подчиняться всем требованиям устава и установленных для студентов правил. При этом он, г. товарищ министра, предупредил студентов академии, что во всяком случае как Григорьев и Короленко, подавшие заявление 13 марта, так и Вернер, подавший 17 марта дополнительный список присоединивших свои подписи, будут непременно исключены из числа

студентов академии, все же, пользовавшиеся какими бы то ни было стипендиями, лишены этих стипендий на некоторое время до тех пор, пока они своим поведением не загладят совершенного ими проступка. А так как час, данный студентам на размышление, уже истек, то он, г. товарищ министра, предлагает приступить теперь с предложением каждому курсу отдельно, чтобы каждый курс испросил прощение у директора академии и дал бы обещание вполне подчиняться требованиям как устава, так и установленных правил. Всем студентам было предложено разделиться по курсам. Студенты трех низших курсов сначала выразили нежелание исполнить это требование, но когда они узнали, что на это есть воля его светлости г. товарища министра, то немедленно исполнили это желание. После того как инспектор студентов доложил, что все студенты разделились по курсам в отдельных комнатах главного здания, его светлость, г. товарищ министра государственных имуществ, в сопровождении присут-

ствовавших членов совета, вошел в комнату, в которой были собраны студенты IV курса, и, указав на незаконность проступка, совершенного студентами, подписавшими поданное директору заявление, предложил студентам IV курса, извинившись перед директором академии, дать обещание подчиняться впредь всем требованиям устава и установленных правил. Студенты IV курса беспрекословно подчинились этим требованиям. Затем то же повторилось в III, II, I курсах. При этом студенты каждого курса, по испрошении у директора академии прощения, обратились к г. товарищу министра с просьбой об облегчении, поскольку возможно, участи трех их товарищей: Григорьева, Короленко и Вернера, подавших директору коллективное заявление. Его светлость, разъясняя важность сделанного поименованными лицами проступка, высказывал студентам, что лица эти должны быть непременно удалены из заведения. В то же время он приглашал всех, имеющих какие-либо жалобы, обращаться непосредственно к нему до

тех пор, пока он останется в Москве, но не иначе, как единолично. Затем, по возвращении присутствующих членов в залу, где было открыто заседание, г. товарищ министра, сказав, что для всех студентов вообще дело, для которого он специально приехал в академию, можно считать оконченным, сообщил: 1) что воля министра государственных имуществ состоит в том, чтобы все студенты из числа подписавших были лишены на время тех льгот, которые до сих пор были предоставлены им в виде стипендий; 2) чтобы как подавшие первое заявление, студенты Григорьев и Короленко, так и подавший дополнительный список Вернер были исключены из числа студентов академии и что совету предстоит обсудить лишь последствия, с которыми должно быть сделано это исключение; 3) что министр предлагает совету обсудить вопрос о том, каким образом устроить так, чтобы студенты академии могли быть поставлены в непосредственное отношение к тому лицу или к тем лицам, которые будут давать им стол, без участия

академического начальства, ибо существование столовой на тех началах, на которых она до сих пор существовала, всегда подавало и впредь, очевидно, будет подавать повод к недоразумениям между студентами и начальством академии и 4) предложил избрать комиссию из членов совета для того, чтобы эта комиссия озабочилась отобранием подписок от студентов, подписавших заявление, представленное директору академии, в том, что студенты, сознавая всю незаконность участия в коллективной жалобе, поданной директору академии, обещают подчиняться всем требованиям устава академии. Профессор Линдеман обратил внимание на то, что студенты II и III курсов, ходатайствуя о смягчении участи Григорьева, Короленко и Вернера, указывали на то, что они избраны ими преимущественно потому, что сам директор академии относился к трем названным лицам с особенным доверием; и что как это обстоятельство, так и то, что все трое принадлежат к числу особенно хороших студентов по успехам, —

должно послужить мотивом к тому, чтобы совет отнесся к названным трем лицам по возможности снисходительно. Директор академии возразив на это, что его доверием действительно пользовался, но только один Короленко, с Григорьевым он имел раза три неприятные разговоры, в которых ему приходилось делать Григорьеву замечания и выговоры, с Вернером же ему приходилось говорить не один раз по тому поводу, что Вернер вскоре после поступления в студенты академии арестован по распоряжению Московского жандармского управления и поэтому он, директор, полагал бы выделить Короленко, юношу, поступившего в студенты академии с школьной скамьи, от двух других, служивших уже в военной службе и получивших там чины подпоручиков.

По выходе его светлости из заседания совета — постановили: 1) ходатайствовать у г. министра государственных имуществ о том, чтобы Короленко был исключен из числа студентов академии на один год, не лишая его права немедленно вступить в другое

высшее учебное заведение; 2) для отобрания указанных выше подписок от студентов, подписавших заявление, поданное директору, избрать в комиссию гг. Головина, Собичевского, Тимирязева и Иванюкова и 3) вопрос о столовой для студентов обсудить в ближайшем заседании совета.

Заседание закрыто в 2 ч. 45 м. пополуночи 21 марта».

«...В заседании 27 марта 1876 г. председатель сообщил следующее извещение г. товарища министра государственных имуществ князя Ливена: „Прошу г. директора довести до сведения совета, что предположенное советом наказание трем лицам, Григорьеву, Вернеру и Короленко, изменено мною в силу данного мне уполномочия для окончания дела о беспорядке, происшедшем в академии, следующим образом: Григорьева и Вернера исключить с воспрещением поступления в академию или в другие учебные заведения навсегда; Короленко же исключить на один год, но без прав поступления в течение этого времени в какое-либо высшее учебное

заведение“. *Определили: записать в журнал настоящего заседания».*

(«Журналы заседаний совета Петровской земледельческой и лесной академии за 1875/76 учебный год», Москва, 1877).

...убийствах, совершаемых... в наших участках. — Об истязаниях полицейскими арестованных Короленко писал в статьях: «Любители пыточной археологии», «В успокоенной деревне», «Русская пытка в XIX веке». Этой темы Короленко касался и в ряде других своих статей.

...жандармы доставили меня на Ярославский вокзал — это произошло 24 марта 1876 года.

Иванчин-Писарев Александр Иванович (1849–1916) — в 1877 году вступил в организацию «Земля и воля», а после ее раскола примкнул к народолюбцам. В 80-х годах был в ссылке в Восточной Сибири. По возвращении из ссылки в 1889 году поселился в Н.-Новгороде, где познакомился с Короленко. С 90-х годов сотрудничал в народнических органах, позднее заведовал хозяйственной частью «Русского богатства».

Потоцкая Мария Платоновна (род. около 1851 г.) — служила акушеркой на врачебном пункте в селе Вятском. Была арестована в июне 1874 года. Судилась по «процессу 193-х» (см. примеч. к стр. 195) и была оправдана, но в административном порядке выслана в 1878 году под надзор полиции в Ардатов, Нижегородской губернии.

Полицмейстер — вологодским полицмейстером в это время был А. Д. Суворов.

...ворвался мой брат — младший брат Владимира Галактионовича — Илларион Галактионович.

...мы высадились на кронштадтской пристани. — По данным архива III отделения, Короленко был поселен в Кронштадте под надзором полиции 10 апреля 1876 года («1876. Дело № 132. О беспорядках студентов Петровской земледельческой и лесной академии»).

...напечатать заметку об этом деле. — Заметка была напечатана в газете «Голос» 30 марта 1876 года, без подписи.

...на квартиру двоюродного брата — Владимира Казимировича Туцевича, вместе с которым жили мать и сестра Владимира Галак-

тионовича.

«Веста» — пароход Русского общества пароходства и торговли, принятый во время войны с Турцией 1877–1878 годов в морское ведомство и превращенный в крейсер. Под командой лейтенанта Н. М. Баранова «Веста» произвела ряд смелых поисков у турецких берегов, выдержала 11 июля 1877 года бой с турецким броненосцем «Фетхи-Буленд». Во время боя были убиты три офицера, один из них лейтенант Михаил Перелешин, и девять матросов.

...подчинился установленному «порядку».
— Возможно, что речь идет об аналогичной истории, происшедшей в середине 70-х годов с Николаем Евгеньевичем Сухановым.

Попов Андрей Александрович
(1821–1898) — адмирал.

Станюкович Константин Михайлович
(1843–1903) — писатель, бывший моряк, известный своими «Морскими рассказами».

Иоанн Кронштадтский (Иоанн Ильич Сергиев, 1829–1908) — протоиерей Андреевского собора в Кронштадте, выдававший себя за чудотворца, известный мракобес и черносотенец.

нец.

...нашли бы... письмо его к Гоголю — знаменитое письмо Белинского к Гоголю по поводу «Выбранных мест из переписки с друзьями», написанное в 1847 году и находившееся под цензурным запретом до 1905 года.

Клюшников Виктор Петрович (1841–1892) — реакционный писатель. Роман его «Марево» печатался в 1864 году в «Русском вестнике». Д. И. Писарев в статье «Сердитое бессилие» дал ему уничтожающую оценку.

«Домовладельцы, смотрите за своими дворниками». — Здесь имеется в виду речь Александра II, произнесенная им в Кремле перед сословными представителями 20 ноября 1879 года, на другой день после неудавшегося покушения на его жизнь.

Васильев — возможно, что фамилия изменена, так как Васильева нет в списках участников военно-революционных кружков конца 70-х и начала 80-х годов, приведенных в книге М. Ашенбреннера «Военная организация „Народной воли“ и другие воспоминания».

Чижов Дмитрий Иванович (род. около

1853 г.) — капитан минной роты. Был выдан Дегаевым как участник революционной организации среди военных Одессы и Николаева («дело 73-х»). Был сослан в Сибирь на пять лет.

Дегаев Сергей Петрович (1858–1917). — С конца 70-х годов примкнул к революционному движению, был членом центральной военной группы «Народной воли». Будучи арестован по делу одесской типографии в 1882 году, вошел в сношения с жандармским полковником Судейкиным и выдал ряд крупных деятелей «Народной воли». Под давлением неопровержимых улик признался перед эмигрантским центром «Народной воли» и обаялся организовать убийство Судейкина. В 1883 году Конашевич и Стародворский убили Судейкина на квартире Дегаева в Петербурге, после чего Дегаев бежал в Америку.

Фигнер Вера Николаевна (1852–1942) — видная деятельница русского революционного движения, член Исполнительного комитета «Народной воли», основательница военной организации «Народной воли». Преданная Дегаевым, была в 1884 году приговорена к

смертной казни («процесс 14»), замененной бессрочной каторгой. По этому процессу судились также Ашенбреннер, Похитонов и другие лица, выданные Дегаевым. Рогачев и Штромберг казнены. После двадцатилетнего одиночного заключения в Шлиссельбургской крепости находилась с 1904 по 1906 год в ссылке. В 1906-1915годах жила за границей, затем вернулась в Россию. Автор книги «Запечатленный труд» и ряда мемуаров.

Кавур Камилло Бензо, граф (1810–1861) — политический деятель Италии времен ее объединения. Добролюбов напечатал в «Современнике» две статьи, разоблачавшие двуличную политику Кавура: «Из Турина» (1861, кн. 3) и «Жизнь и смерть графа Камилло Бензо Кавура» (1861, кн. 6 и 7).

Гарибальди Джузеппе (1807–1882) — народный герой Италии, один из крупнейших вождей итальянской революционной демократии в борьбе за объединение Италии, против иноземного порабощения, против феодально-абсолютистского строя и клерикальной реакции.

Это напоминание имело успех. — Освобожд-

дение Короленко из-под полицейского надзора состоялось по распоряжению министра внутренних дел от 14 мая 1877 года. После этого Короленко обратился в совет Петровской академии в Москве с ходатайством об обратном приеме его на третий курс академии. Совет удовлетворил это ходатайство, но директор академии не утвердил решение совета ввиду политической неблагонадежности Короленко. Получив отказ из академии, Короленко поступил в Горный институт в Петербурге.

...мы переехали в Петербург. — Переезд семьи Короленко из Кронштадта в Петербург состоялся осенью 1877 года.

Судились участники Казанской демонстрации. — Одна из первых в России революционных демонстраций, происходившая на Казанской площади в Петербурге 6 декабря 1876 года. Арестованные участники демонстрации судились в Петербурге 18 января 1877 года.

«Процесс 193-х» — по делу о «революционной пропаганде в империи». Следствие по этому делу велось на протяжении трех лет, причем число обвиняемых, арестованных в

разных местах России, доходило до двух тысяч человек. Дело разбиралось в Сенате с 18 октября 1877 года по 23 января 1878 года.

Рогачев Дмитрий Михайлович (1851–1884) — по «процессу 193-х» приговорен к десяти годам каторжных работ. Личная встреча Владимира Галактионовича с Рогачевым состоялась в 1881 году в иркутской тюрьме. Еще раньше он прочел «Записки пропагандиста» Рогачева, ходившие по рукам в списках. Один из эпизодов, рассказанных в этих записках, лег впоследствии в основу рассказа Короленко «Груня», не законченного автором (вошел в т. XVI посмертного собрания сочинений В. Г. Короленко, Госиздат Украины, 1923). Об этом эпизоде, так же как и о встрече с Рогачевым, см. «Историю моего современника», кн. III, ч. V, гл. I.

Мышкин Ипполит Никитич (1848–1885) — один из видных деятелей народнического движения 70-х годов. Был организатором нелегальных типографий, вел пропагандистскую работу среди крестьян. В 1875 году пытался освободить Н. Г. Чернышевского, но был арестован близ Вилюйска, где в то время

находился в ссылке Чернышевский. В 1877 году судился по «процессу 193-х»; за ярко революционную речь, произнесенную на суде, получил самый тяжелый по этому процессу приговор: десять лет каторжных работ. По дороге на Кару в Иркутске был приговорен еще к пятнадцати годам каторги за речь на похоронах Л. А. Дмоховского. В 1882 году бежал с Кары, но был схвачен во Владивостоке и отправлен сначала в Петропавловскую крепость, а затем в Шлиссельбург, где и казнен 26 января 1885 года за оскорбление смотрителя тюрьмы. Знакомство Короленко с Мышкиным произошло в иркутской тюрьме (см. «Историю моего современника», кн. III, ч. V, гл. II). Личность Мышкина очень интересовала Короленко, который собирался писать его биографию. Следы этой работы сохранились в архиве писателя.

Анненский Николай Федорович (1843–1912) — статистик, журналист, общественный деятель; друг Короленко и его товарищ по работе в редакции журнала «Русское богатство».

Квятковский Александр Александрович

(1852–1880) — дин из основателей и видных деятелей организации «Земля и воля» и «Народная воля». Судился 25–31 октября 1880 года петербургским военно-окружным судом по первому народовольческому «процессу 16-ти». Приговорен к смертной казни через повешение и казнен в Петропавловской крепости вместе с Пресняковым.

Желябов Андрей Иванович (1850–1881) — один из виднейших деятелей «Народной воли», член ее Исполнительного комитета. Арестованный за два дня до 1 марта 1881 года, он заявил после о своей руководящей роли в этом событии и потребовал присоединения его дела к делу 1 марта. Казнен 3 апреля 1881 года.

Панютин Лев Константинович (1829–1882) — писал большей частью под псевдонимом «Ниль Адмирари», фельетонист умеренно-либеральной газеты «Голос», сотрудник журналов «Будильник» и «Неделя».

Засодимский Павел Владимирович (1843–1912) — беллетрист, народник (псевдоним — Вологдин).

Скабичевский Александр Михайлович

(1838–1910) — критик, историк литературы и публицист либерально-народнического направления. Здесь имеется в виду статья Скабичевского «Мысли по поводу текущей литературы. Николай Алексеевич Некрасов, как человек, поэт и редактор», помещенная в № 6 «Биржевых ведомостей» за 1878 год.

«Дневник писателя» — Ф. М. Достоевского за 1877 год.

Долинин Федор Капитонович. См. о нем в IV книге «Истории моего современника», гл. XXIV.

...популярное изложение книги Бокля — имеется в виду издание: «Европейские мыслители», Г. Т. Бокль, «История цивилизации в Англии» (два тома) в популярном изложении кандидата юридических наук О. К. Нотовича, СПб, 1876.

...кассира... совершившего крупное хищение — речь идет о растрате бывшим казначеем Общества взаимного поземельного кредита Юханцевым более двух миллионов рублей, раскрытой 27 марта 1878 года.

...издал небольшую книжку плохоньких рассказов. — Гиллин Арнольд Л., «Отголоски

Нового Света». Рассказы и очерки (из американской жизни), СПб, 1879.

...разделял вкусы толпы, для которой издавал газету. — Роман А. Гиллина «Около чужих миллионов. (Рассказ Ю пропос)», в котором Юханцев фигурировал под прозрачным псевдонимом Уманцев, печатался в газете «Новости» за 1878 год.

...опровергая эту, по его словам, явную нелепость. — Статьи, о которых здесь идет речь, печатались за подписью Ив. Кунов в «Новостях» за 1877 год под общим заголовком «Из записок натуралиста».

Боголюбов — под этим именем известен Алексей Степанович Емельянов. За участие в демонстрации 6 декабря 1876 года на Казанской площади был арестован и приговорен в январе 1877 года к пятнадцати годам каторжных работ. Находясь в доме предварительного заключения, был по приказу петербургского градоначальника Ф. Ф. Трепова подвергнут телесному наказанию.

...приезжали...лица, предлагавшие убить Трепова. — М. Ф. Фроленко (см. примеч. к стр. 249) в своей статье «Из воспоминаний о Вере

Ивановне Засулич» (журнал «Каторга и ссылка», 1924, № 3) сообщает, что он с В. А. Осинским, И. Ф. Волошенко и Г. А. Попко приехали в конце 1877 года в Петербург и начали слежку за Треповым, намереваясь его убить, но Засулич их опередила.

Засулич Вера Ивановна (1851–1919) — 24 января 1878 года стреляла в Трепова за приказание наказать розгами Боголюбова. Была судима в Петербурге окружным судом с присяжными заседателями, оправдана, освобождена и переправлена друзьями за границу. Вернувшись в Россию, примкнула к «Черному переделу». В 1880 году эмигрировала за границу. В 1884 году участвовала в создании группы «Освобождение труда». С 1900 года входила в состав редакций «Искра», «Заря». После раскола примкнула к меньшевикам.

Кони Анатолий Федорович (1844–1927) — либеральный судебный деятель и писатель. В своей речи к присяжным заседателям подверг подробному беспристрастному анализу все доводы обвинения и защиты, отметив все обстоятельства, могущие послужить в пользу обвиняемой, что послужило поводом к оправ-

данию В. Засулич. Речь его была помещена в петербургских газетах от 5–6 апреля 1878 года.

...дядя однофамилец — Короленко Евграф Максимович — двоюродный дядя Владимира Галактионовича, бывший офицер.

...заметка моя появилась. — Первая напечатанная заметка Короленко, озаглавленная «Драка у Апраксина двора. (Письмо в редакцию)» и подписанная буквами «В. К.», была напечатана в газете «Новости» 7 июня 1878 года.

Суворин Алексей Сергеевич (1834–1912) — реакционный журналист, редактор-издатель черносотенной газеты «Новое время».

...ощущение первых печатных строк. — К этому же времени (апрель 1878 года) относится другая ранняя литературная работа Короленко: перевод с французского совместно с братом Юлианом Галактионовичем книги Мишле «L'oiseau» («Птица») и написание предисловия к ней. Подпись «Кор-о», изд. Вернадского, СПб, 1878.

Панихида по Сидорацком — происходила 2 апреля 1878 года.

Ивановская Евдокия (Авдотья) Семеновна

(1855–1940) — впоследствии, с 1886 года жена Владимира Галактионовича Короленко. Окончила тульское епархиальное училище, затем училась на Лубянских курсах в Москве. Арестована весной 1876 года и привлечена к дознанию по делу о пропаганде в Москве и Вологодской губернии. При обыске у нее были найдены запрещенные издания и подложные паспорта. Пробыла под стражей при городской части один год и девять месяцев. 7 марта 1879 года вновь арестована в Москве. Выслана в Олонецкую губернию под гласный надзор полиции и поселена в Повенце 29 марта 1879 года. В 1880 году была переведена под надзор в Кострому, где жила до 1883 года, затем освобождена. Короленко познакомился с Е. С. Ивановской еще осенью 1875 года на собрании одного из студенческих кружков Петровской академии.

...есть три сестры Ивановские. — У Евдокии Семеновны Ивановской были старшие сестры — Прасковья и Александра.

Прасковья Семеновна Ивановская-Волощенко (1853–1935) окончила тульское епархиальное училище. Вошла в кружок революци-

онной молодежи, организованный ее братом Василием Ивановским. В 1878 году была арестована в Одессе за участие в демонстрации во время суда над И. М. Ковальским. Бежала с этапа. В 1880 году примкнула к «Народной воле», была «хозяйкой» нелегальной типографии. Арестованная в 1883 году, судилась по «процессу 17-ти» (дело 1 марта). Приговорена к смертной казни, замененной бессрочной каторгой, которую отбывала на Каре и в Акатуе. Вышла на поселение в 1898 году, а в 1903 году бежала из Читы. Приехав в Петербург, вошла в боевую организацию, подготовлявшую покушение на Плеве в 1904 году и ряд других покушений. Переписка с Короленко началась в 1886 году (см. В. Г. Короленко. Письма к П. С. Ивановской. Изд-во политкаторжан, Москва, 1930); личное знакомство состоялось в 1903 году. После революции 1917 года поселилась в Полтаве.

Александра Семеновна Ивановская по мужу Малышева (1851–1917) — принимала участие в «Обществе друзей», организованном М. А. Натенсоном. В 1882 году была выслана в Восточную Сибирь на пять лет. Среди незакон-

ченных художественных произведений Короленко есть начало повести «В ссоре с меньшим братом» (вошла в т. XV посмертного собрания сочинений В. Г. Короленко, Госиздат Украины, 1923), в котором автор показал некоторые черты деревенской жизни Малышевых в Дубровке, Сердобского уезда, Саратовской губернии.

...*брат их* — Ивановский Василий Семенович (1845–1911) — окончил в 1874 году Медико-хирургическую академию в Петербурге, служил земским врачом в с. Шеметове, Владимирской губернии. Арестован в 1875 году в связи с делом «о пропаганде в империи» («процесс 193-х»). Содержался в Петропавловской крепости. После освобождения переехал в Москву, вел пропаганду среди рабочих и был арестован вновь в феврале 1876 года. Бежал из-под ареста 1 января 1877 года и эмигрировал в Румынию. Личное знакомство Короленко с В. С. Ивановским произошло в 1893 году в первый приезд писателя в Румынию. С первой же встречи Короленко горячо любил своего шурина, которого изобразил в очерке «Наши на Дунае» (см. четвертый том

настоящего собрания сочинений) в лице доктора Александра Петровича. После его смерти Короленко посвятил Ивановскому статью-некролог «Памяти замечательного русского человека» («Русские ведомости», 1911, № 199).

Это был Лопатин, не Герман и не Всеволод.
— Лопатин Герман Александрович (1845–1918) — один из видных народников. В 1862–1866 годах — студент Петербургского университета. В 1866 году арестован по карказовскому делу, но после двухмесячного пребывания в Петропавловской крепости освобожден. В течение своей жизни многократно подвергался арестам, тюремному заключению, ссылке. Несколько раз совершал побег. В 1870 году организовал побег из ссылки (из Кадникова, Вологодской губернии) П. Л. Лаврова, скрывшись вместе с ним за границу. В Англии познакомился с Марксом и Энгельсом и вступил в Интернационал; переводил на русский язык первый том «Капитала». В 1871 году нелегально приехал в Сибирь, пытался освободить Чернышевского, но был арестован и очередной раз бежал. В 1887 году по

«процессу 21-го» приговорен к смертной казни, замененной пожизненным заключением в Шлиссельбурге. По этому же процессу судились П. Ф. Якубович, Н. М. Салова, Коношевич, Стародворский и другие лица, обвинявшиеся в убийстве Судейкина, издании № 10 «Народной воли», устройстве динамитной мастерской. После восемнадцати лет заключения в 1905 году вышел на свободу. В дальнейшем активного участия в политической жизни не принимал.

Лопатин Всеволод Александрович — родился в 1848 году, умер после 1917 года — брат Германа Александровича. В начале 70-х годов принадлежал к одесскому кружку «чайковцев». Арестован 21 ноября 1874 года при неудавшейся попытке освобождения из московской тюрьмы Ф. В. Волховского. По «процессу 193-х» был сослан в Вятскую губернию. По возвращении из ссылки служил в Вильно на железной дороге.

Лопатин Николай Николаевич — двоюродный брат Г. А. и В. А. Лопатиных, родился около 1856 года. Весной 1878 года жил в рабочей артели фабрики Торнтон в Петербурге и вме-

сте с Г. В. Плехановым и другими принимал участие в организации рабочих забастовок в феврале — марте 1878 года. Вскоре после упоминаемого Короленко выступления был арестован и выслан под гласный надзор полиции в Архангельскую губернию, а оттуда — в Восточную Сибирь. За отказ от присяги Александру III должен был быть отправлен в Якутскую область, но бежал в декабре 1881 года из Верхоленска и эмигрировал. В 1888 году возвратился в Россию.

...брошюра Кравчинского. — Кравчинский (Степняк) Сергей Михайлович (1852–1895) — член организации «Земля и воля». После совершенного им убийства шефа жандармов Мезенцева бежал за границу. Жил в Лондоне, где принимал участие в издании выходившей на английском языке газеты «Free Russia» («Свободная Россия»). Автор романа «Андрей Кожухов» и очерков «Подпольная Россия». Переводчик на английский язык «Слепого музыканта» Короленко. Личное знакомство Короленко с Кравчинским состоялось летом 1893 года в Лондоне, где Владимир Галактионович прожил неделю проездом в

Америку. Говоря о «брошюре Кравчинского», Короленко, по-видимому, вспоминает статью его, напечатанную в заграничном органе бакунистов «Община», 1878, № 3–4.

Мезенцев Н. В. (1827–1878) — генерал, шеф жандармов, главный начальник III отделения. 4 августа 1878 года убит С. М. Кравчинским (Степняком). Убийство это было ответом на то, что Мезенцев настоял на отмене ходатайства суда о смягчении приговоров по «процессу 193-х», был виновен в избииении заключенных в Петропавловской крепости и в утверждении смертного приговора Ковальскому (расстрелянному 2 августа 1878 года в Одессе).

Макаров — не генерал, а отставной полковник (или подполковник).

Баранников Александр Иванович (1858–1883) — один из крупнейших деятелей организации «Земля и воля», а после ее раскола — «Народной воли». Кроме описанного Короленко участия в покушении на Мезенцева, Баранников участвовал в целом ряде других террористических предприятий. Приговорен 15 февраля 1882 года по «процессу 20-ти» (при-

надлежность к «Народной воле», участие в Липецком съезде и террористических актах, организованных «Народной волей») к бессрочной каторге. Заключен в Алексеевский равелин Петропавловской крепости, где и умер от скоротечной чахотки.

Михайлов Адриан Федорович (1853–1929) — входил в руководящую группу организации «Земля и воля». Участвовал в попытке освобождения Войнаральского, в убийстве Мезенцева. Арестован 12 октября 1878 года и приговорен 14 мая 1880 года военно-окружным судом к смертной казни, замененной, после его прощения и указания им участников убийства Мезенцева, двадцатилетней каторгой, которую он отбыл на Каре.

Прокламация была написана С. М. Кравчинским и озаглавлена «Смерть за смерть».

Ольхин Александр Александрович (1839–1897) — адвокат, поэт. Выступал защитником в ряде политических процессов: «нечаевцев», по делу о демонстрации на Казанской площади, в процессах «50-ти» (по обвинению «в составлении противозаконного сообщества и распространении преступных сочине-

ний»), «193-х» и др. Стихотворение «У гроба», из которого взяты приведенные в тексте строки, посвященные Чернышевскому, первоначально было напечатано (без подписи) в № 1 «Земли и воли» от 25 октября 1878 года.

...у моего зятя — Лошкарева Николая Александровича (1855–1912). Примыкал к народническому движению. В 1878 году женился на Марии Галактионовне Короленко. Арестован 4 марта 1879 года, содержался в Литовском замке. В августе выслан в Восточную Сибирь, куда за ним последовала жена и Эвелина Иосифовна Короленко. После возвращения из ссылки с 1885 года жил в Н.-Новгороде, а затем переехал в Москву.

...рассказ... появился в книжке Павловского. — Рассказ «En cellule» был напечатан в газете «Le temps» от 12 ноября 1879 года с предисловием И. С. Тургенева. На русском языке, под заглавием «В одиночном заключении», рассказ появился в книге: И. Яковлев (И. Я. Павловский), «Маленькие люди с большим горем», СПб, 1890.

«Ваше величество...» и т. д. — цитата из статьи П. Лаврова «Счеты русского народа»,

напечатанной в № 1 журнала «Вперед».

...мы жили в проходном дворе — дом № 134 по Невскому проспекту, квартира № 21.

«Русское богатство» — ежемесячный журнал народнического направления, выходивший с 1876 по 1918 год. С начала 90-х годов его редактором был Н. К. Михайловский, привлеченный к постоянной работе в журнале Короленко. С 1900 года Короленко сделался со-редактором, а с 1904 года, после смерти Михайловского, редактором журнала. Неоднократные репрессии против «Русского богатства» заставляли менять его название: он назывался «Современность», а затем «Современные записки» в 1906 году, «Русские записки» в 1914–1917 годах. Короленко печатался на страницах журнала как беллетрист и публицист свыше двадцати пяти лет.

«Земля и воля» — орган народнической организации того же названия. Выходил в Петербурге с октября 1878 до апреля 1879 года.

...Исполнительного комитета партии «Народной воли». — Извещение не могло быть подписано Исполнительным комитетом «Народной воли», так как Рейнштейн был убит

раньше, чем организация «Земля и воля» распалась на «Народную волю» и «Черный передел», что произошло в августе 1879 года. Извещение было, вероятно, подписано только «Исполнительный комитет» или «Исполнительный комитет социально-революционной партии», как обычно подписывались землевольцами извещения о террористических актах.

...Щедрин мне вернул его. — Рассказ этот — «Эпизоды из жизни искателя». Возвращая автору рукопись, Щедрин сказал: «Зелено еще, зелено». Рассказ был напечатан позднее в журнале «Слово» (1879, кн. 7), за подписью Кенко.

...29 февраля 1879 года обыск повторился. — Дата 29 февраля автором указана ошибочно, так как 1879 год не високосный. Согласно официальным данным первый обыск у Короленко был произведен 28 февраля, а второй, закончившийся арестом, — 4 марта.

...младший двоюродный брат — Александр Казимирович Туцевич.

Виноградов Дмитрий Дмитриевич (род. в 1861 г.) — студент Технологического института в Петербурге. Был арестован в январе 1879

года по обвинению в принадлежности к петербургскому народническому кружку и в пропаганде среди рабочих фабрики Шау.

У Глеба Ивановича — Успенского.

Битмит Николай Егорович (1842–1886) — великобританский подданный. В 1876 году привлекался к дознанию по обвинению в принадлежности к «Обществу для противоправительственной пропаганды в Москве и в Вологодской губернии». Арестован 16 января 1879 года в Петербурге и выслан за границу без права въезда в Россию.

«Нас венчали не в церкви» — первая строка романса «Свадьба» (1843) — слова д. В. Тимофеева (1812–1883), музыка А. С. Даргомыжского (1813–1869).

Лесевич Владимир Викторович (1837–1905) — философ-позитивист, позднее последователь Авенариуса, был связан с народниками. В 1879 году арестован по делу о тайной типографии, выслан в Восточную Сибирь. В 1882 году вернулся в Европейскую Россию, жил в Полтавской губернии.

...написал прокурору, требуя... освобождения. — Заявление Короленко (адресованное

не прокурору, а шефу жандармов) датировано 24 марта 1879 года.

Гире Дмитрий Константинович (1836–1886) — писатель; издавал в 1878–1880 годах газету «Русская правда», в которой писал фельетоны под псевдонимом «Добро-Глаголь».

Грибоедов Николай Алексеевич (1842–1901) — в начале 70-х годов состоял в народническом кружке «чайковцев». Принимал участие в выработке плана освобождения Н. Г. Чернышевского, ездил для этого в Сибирь. Содействовал побегу Г. А. Лопатина.

Чигиринское дело — попытка вызвать вооруженное восстание крестьян Чигиринского уезда, Киевской губернии, предпринятая в 1877 году народниками Я. В. Стефановичем, Л. Г. Дейчем и И. В. Бохановским. По доносу одного крестьянина организация была обнаружена. Арестовано много крестьян, а затем были арестованы также Стефанович, Дейч и Бохановский. В ночь на 27 мая 1878 года они бежали из киевской тюрьмы с помощью М. Ф. Фроленко, для организации побега поступившего в тюремные надзиратели.

Чарушников Александр Петрович (1853–1913) — сын глазовского купца. В 1879 году служил приказчиком в Петербурге. Арестован был в апреле того же года за хранение номеров газеты «Земля и воля». Выслан в августе на родину в Вятскую губернию под надзор полиции. Во время пребывания в Глазове поддерживал близкое знакомство с Короленко. В январе 1880 года глазовский исправник писал губернатору: «Короленко, как человек развитой в литературном отношении, при имеющей закоренелой наклонности к противу правительствующим идеям, был с Чарушниковым в самых дружеских отношениях, просиживая у него целые ночи и, как заметно, своими идеями восстанавливал Чарушникова, при начале всех его неблагонадежных действий, оставляя после себя хитрозлодную кротость, которая не могла быть замечена только при единоличной его жизни в ссылке, но при общественности с подобными ему ссыльными она проявляется в твердо уклончивом и хитростном вреде на каждого, имеющего короткое с ним сношение». В декабре 1879 года Чарушников был переведен в Ур-

жум, Вятской губернии, где пробыл в ссылке еще около двух лет. В ноябре 1882 года, по освобождении, уехал в Москву. Впоследствии — известный издатель.

Симоновский Николай Петрович (род. в 1854 г.) — был не окулистом, а специалистом по болезням уха, горла и носа.

Линовский Николай Осипович (род. в 1844 г.). — По распоряжению петербургского генерал-губернатора в 1879 году был выслан в Олонецкую губернию по обвинению «в сообществе с главными участниками и распространителями изданий Вольной типографии». Впоследствии беллетрист и публицист. Псевдонимы: Трофимов и Н. Пружанский.

Гамма — псевдоним публициста Градовского Григория Константиновича (1842–1920).

Соловьев Александр Константинович (1846–1879) — выйдя из университета со второго курса юридического факультета, был в конце 60-х и начале 70-х годов учителем уездного училища в Торопце, Псковской губернии. В 1874 году покинул школу и ушел «в народ». 2 апреля 1879 года на Дворцовой площади произвел три выстрела в Александра II, но

промахнулся. Приговорен верховным уголовным судом к смертной казни и 28 мая 1879 года повешен.

...туманное пятно над Петербургом вскоре исчезло на горизонте. — Высылка Владимира Галактионовича и его брата Иллариона в Глазов, Вятской губернии произошла 13 мая 1879 года. В препроводительной бумаге петербургского градоначальника (от 10 мая за № 6154) на имя вятского губернатора говорится:

«III отделение собственной е. и. в. канцелярии, ввиду имеющихся сведений о дворянах Илларионе и Владимире Короленко, пришло к заключению, что лица эти, в числе прочих, оказываются несомненно виновными в сообществе с главными революционными деятелями, а равно в участии по печатанию и распространению революционных изданий Вольной типографии. Несмотря, однако, на столь важные указания, основанные на тщательной проверке действий и отношений названных лиц, они по отношению юридических данных к обвинению не могут быть при-

влечены к ответственности по суду и даже к дознанию, производимому об их главных сообщниках, так как успели при своей изворотливости скрыть следы преступных деяний. III отделение, ввиду изложенного, предав названных братьев Короленко в мое распоряжение, присовокупило, что, кроме означенного общего обвинения, о них имеются еще следующие указания: они совещались между собой убить одного из секретных агентов; но злодеяние свое не успели привести в исполнение, так как об этом получены были заблаговременно сведения и агент от грозившей ему опасности охранен. По докладу об этом С.-Петербургский временный генерал-губернатор, на основании высочайше предоставленной ему власти, определил: „Выслать Короленко в Вятскую губернию под надзор полиции“»

(дело канцелярии вятского губернатора 1879 года № 544, лист 1 и 2). (Цитируется по тексту, помещенному в журнале «Вятская жизнь», 1924, № 1.)

...вызывало яркие и сильные впечатления.

— Впечатления, испытанные Короленко по пути в ссылку, занесены им в его записную книжку того времени (см. В. Г. Короленко, «Записная книжка 1879 г.» Краевое изд-во, г. Горький, 1933) и описаны в двух письмах: к родным от 18 мая 1879 года (из Костромы) и к В. Н. Григорьеву от 31 мая (из Вятки). «Знаете ли, после Питера эта невольная поездка, ну, просто на праздник похожа, — писал он последнему. — Смена мест, картин, впечатлений, поверхностное хотя, но все-таки же знакомство с новыми местами, с новыми людьми — все это после тюремного затишья настоящий праздник... Временами настроение бывало даже уже слишком радостное для ссылки, так что в виде реакции хочется наконец попасть на место в уездный какой-нибудь городишко, лицом к лицу с действительностью не столь приветливой, быть может, но зато трезвой, истинной; да, скорее бы, скорее. Жду многого от этого года. Да, если уже узелок разрезан без моего участия, даже вопреки желанию, то надо уж взять, что далось, а далось, конечно, в виде отъезда из Питера, от корректуры и т. д. многое. Вы помните, что

я мечтал о летнем путешествии, ну, вот хоть на привязи, а путешествую».

...где я испытал... первое заключение. — Здесь ошибка памяти Короленко. Как видно из упомянутой выше записной книжки 1879 года, он был доставлен в Москве не в Басманную, а в Рогожскую часть. Вторично в Басманной части ему пришлось сидеть позднее, в феврале 1880 года после его ареста в Березовских Починках Вятской губернии, откуда он был препровожден в вышневолоцкую пересыльную тюрьму для дальнейшего следования в Восточную Сибирь.

«Червонные валеты» — участники мошеннической организации, в которую входили преимущественно лица, принадлежавшие к привилегированным классам.

...зарисовал... фигуры... мушкетеров. — Рисунки эти воспроизведены в ряду других путевых зарисовок Короленко в упомянутом выше (см. примеч. к стр. 254) издании его записной книжки 1879 года.

...Пугачев. — Личность Пугачева всегда очень интересовала Короленко, и его образ долго владел воображением писателя. Как из-

вестно, Короленко задумывал исторический роман из времен пугачевщины и произвел с этой целью большую подготовительную работу (см. III том настоящего собрания сочинений, примечание к рассказу «Художник Алымов»). Написанные Короленко отрывки задуманного произведения, конспекты, путевые записи и зарисовки пугачевских мест в уральских записных книжках частично опубликованы в книге В. Г. Короленко, «Записные книжки 1880–1900», Гослитиздат 1935. См. также статью Короленко «Пугачевская легенда на Урале» в VIII томе настоящего собрания сочинений и «Избранные письма», т. I, изд. «Мир», 1932 г.

...и мы на месте... в Глазове, Вятской губернии. — В Глазов Владимир Галактионович с братом прибыли 3 июня. В письме его к ровным, писанном на следующий день по приезде, читаем: «Наконец, порядочно усталые, промокшие, прикатили и в самый Глазов. Городок маленький, довольно мизерный, кажется, — ну, да это ничего. Из столицы выехали, так не в столицу же опять приехать: да и бог с ней. Признаться, так и хотелось мне —

поглуше куда-нибудь. Если бы, в виде особой милости, в Вятке оставили, право, не был бы за эту милость особенно благодарен».

Очерк «Ненастоящий город» был написан в 1880 году на арестантской барже, по пути автора из Тобольска в Томск (1–9 августа), и в том же году напечатан в журнале «Слово».

Стольберг Карл-Август Федорович (род. около 1852 г.) — слесарь. В конце 1877 года был арестован по делу «Общества друзей» (пропаганда землевольцев среди петербургских рабочих) и выслан в Глазов. Остался в ссылке до конца 1884 или начала 1885 года. Первые три месяца по приезде в Глазов Короленко прожил в квартире Стольберга.

Работа закипела. — В письме к родным от 11 сентября 1879 года Короленко рассказывает о своей глазовской жизни: «Я сейчас с работы. Часов 7 вечера... На дворе темень, у нас в комнате светло, идет работа. Комнатка у нас не велика, но и не мала (размеры приблизительно нашей бывшей комнаты на Невском); значительная часть ее занята русской печкой, верстаком, токарным станком и т. д. Кроватьей нет, мы спим на полатях, вчетвером.

Сначала, после переселения с сеновала в комнату, было душно, вообще непривычно спать на полатах, — теперь ничего, привыкли все. У верстака, как я уже сказал, работают товарищи. Перчика (семейное прозвище Иллариона Галактионовича. — *Ред.*) в данную минуту нет, ушел к знакомым; когда он дома, понятно, он работает тоже. Вообще работается, особенно в последнее время, усердно, и Перец делает большие успехи. Среди нашей рабочей братьи он хотя и не все еще знает, но работник не из последних, далеко. Я по временам тоже принимаю в свободные часы участие в этих работах, — точу, по жести кое-что делаю, но мало. Теперь, впрочем, задумав окончательно переехать в отдельную квартирку, обзавожусь хозяйством, сделал себе лампу, готовлю жестяные коробки для шпильков сапожных, точу себе напильники и т. д. Праздного времени не бывает, следовательно, скуки не бывает также.

Итак, сижу за столиком и пишу. В комнате визжит пила, стучит молоток, огонь потрескивает в широкой русской печке, но это не мешает мне уединиться в своем углу и бесе-

довать с вами, мои дорогие. Вообще, я теперь значительно менее чувствую недостаток уединения, но все же, как уже писал вам, перехожу. Вопрос только в подходящей комнатке.

...Устроиться думаю совершенно изолированно в хозяйственном отношении. Если попадется квартирка с отоплением — ладно, если нет — сам буду топить печку, сам готовить себе обеды и т. д. Здесь это не в редкость, а мне этого очень хочется попробовать».

...преподать мне тайны своего... искусства. — Некоторые черты сапожника Нестора Семеновича воспроизведены были Короленко впоследствии в образе сапожника Андрея Ивановича в рассказах «За иконой», «Птицы небесные», «Ушел!» О нем говорится также в очерке «Ненастоящий город».

...поселился отдельно... в рабочей слободке. — О своем отдельном жилье в слободке Короленко писал родным в сентябре 1879 года: «Я нашел себе маленькую комнатку невдалеке от прежнего места жительства, в той же слободке. Комнатка мне очень нравится, правда, о ней нельзя составить ни малейшего поня-

тия по тем комнаткам, какие нанимаются у вас в Питере. У меня стены бревенчатые, нештукатуренные, не особенно изящно. На середину выползла широкая русская печь, у дверей устроен даже курятник. Как видите, полное хозяйство и действительно полное. Вы могли бы увидеть у меня и свои горшки, и чашки, и даже ухват. Дрова мои, — сам покупаю, сам колю, сам печку топлю, сам буду и варить, хотя и не особенно часто. Боюсь, что вы, мамаша, посмотрите на эту обстановку с своей точки зрения, пожалуй, и всплакнете даже: „Каково-то, мол, ему приходится!“ А приходится мне отлично, и если бы вы посмотрели с моей точки зрения, то остались бы вместе со мною очень довольны. Кстати, и к порядку приучаюсь».

...принес ему для пересылки губернатору жалобу. — Полный текст заявления Короленко вятскому губернатору Тройницкому опубликован в ряду других документов о вятской ссылке Короленко в журнале «Каторга и ссылка», 1933, кн. I (98) и перепечатан в книге В. Короленко, «Письма из тюрем и ссылок. 1879–1885», Огиз, Горьковское изд., 1935.

...послал министру внутренних дел. — Как видно из докладной записки Короленко на имя вятского губернатора (см. журнал «Каторга и ссылка», 1933, кн. № 1 (98), стр. 71), жалоба Владимира Галактионовича министру, текст которой не сохранился, была датирована 30 июля 1879 года.

...исправник торжествовал. — Высылка Короленко в Березовские Починки (25 октября 1879 года) явилась следствием доноса на него глазовского исправника вятскому губернатору. В своем доносе исправник просил выслать Короленко из города на жительство в уезд в «отвращение влияния его самостоятельных и дерзких наклонностей на других политических ссыльных, имеющих молодые лета». Полный текст доноса опубликован в журнале «Каторга и ссылка», 1933, кн. 1 (98). Рапорт исправника поступил к губернатору 17 октября, на нем была наложена резолюция: «Перевести в Бисеровскую волость».

Пила и Сысойка — действующие лица в известной повести Решетникова «Подлиповцы», рисующей ужасный быт сельского население, погибающего от нищеты и невеже-

ства.

Плеве В. К. (1846–1904) — получил известность еще в бытность его прокурором Варшавской судебной палаты как ярый враг революционного движения. С 1881 года — директор департамента полиции и с 1902 года — министр внутренних дел и шеф корпуса жандармов. Его политика свирепых репрессий по отношению к революционному движению и ко всякому проявлению общественной деятельности вызывала ненависть широких народных масс. Убит Е. С. Сазоновым.

Это подтвердил и урядник. — Фамилия этого урядника — Кондратьев. Во время пребывания Короленко в Березовских Починках урядник послал на него ложный донос, имевший для Короленко серьезные последствия.

Дурафей Иванович — настоящее имя этого крестьянина — Павел Дорофеевич Шмырин.

Ко мне подошел староста. — Староста в Березовских Починках, Яков Ефимович Кытманов, выведен в «Истории моего современника» под именем Якова Молосного.

...я закончил письмо — письмо Короленко к матери и сестрам от 29 октября 1879 года

опубликовано в посмертном собрании сочинений («Письма», кн. 1, Госиздат Украины, 1923) и в позднейшем издании: В. Короленко, «Письма из тюрем и ссылки. 1879–1885», Огиз, Горьковское изд., 1935.

Примечания

1

Кажется, впрочем, тогда он назывался иначе.

[^^^]

2

Теперь Забалканский проспект.

[^^^]

3

Вольнодумка (от *фр.* esprit fort). — *Ред.*

[^^^]

С похмелья (*нем.*). — *Ред.*

[^^^]

5

Который час? (*искажен. нем.: Wieviel Uhr ist es?*) — *Ред.*

[^^^]

6

Говорите ли вы по-немецки? (нем.: Sprechen Sie deutsch?) — *Ред.*

[^^^]

Три часа... (нем.: Es ist drei Uhr.) — *Ред.*

[^^^]

Факт этот оглашен в книжке Н. Ф. Хованского «Очерки из истории г. Саратова и Саратовской губ.», в биографии С. С. Гусева.

[^^^]

Цитирую по памяти.

[^^^]

Знаменитых дел (*фр.*). — *Ред.*

[^^^]

Теперь, впрочем, не ручаюсь, что называю точно.

[^^^]